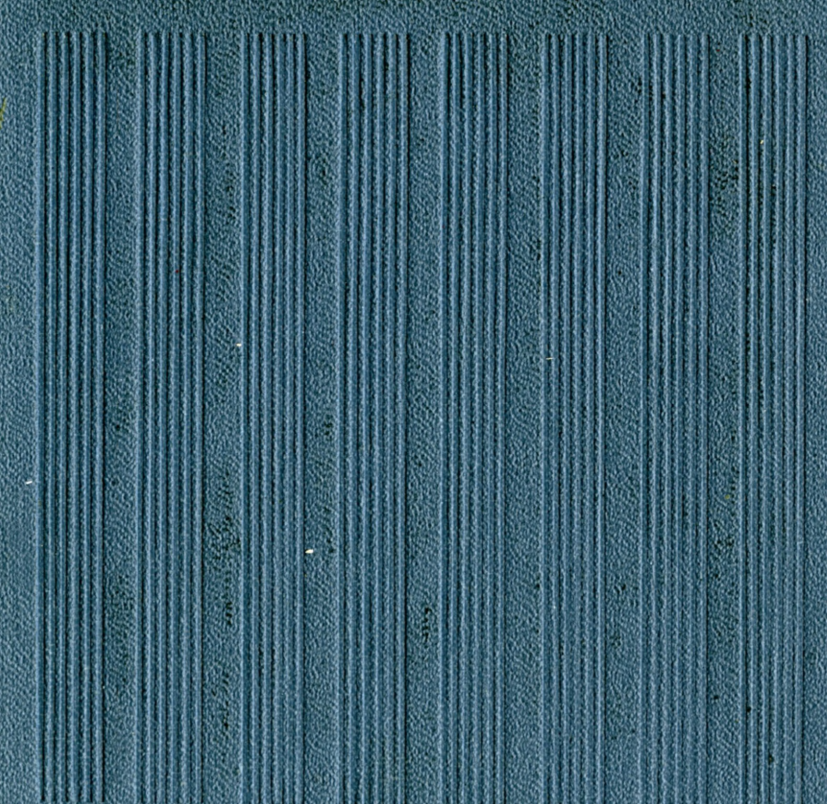
Л. ПЛОТКИН

О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ



О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ Л. ПЛОТКИН

Л. ПЛОТКИН

О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

А. И. ГЕРЦЕН

*

И. С. НИКИТИН

*

Д. И. ПИСАРЕВ



ЛЕНИНГРАД
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1986

ББК 83.3Р1
П 39

Рецензент:
канд. филол. наук Л. А. ГЛАДКОВСКАЯ

Вступительная статья
М. Б. ХРАПЧЕНКО

Оформление
А. Г. и Е. Н. САВИНОВЫХ

П $\frac{4603010201-064}{028(01)-86}$ 208-86



ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И ЕГО ЦЕННОСТИ

Талантливый ученый и критик — Лев Абрамович Плоткин (1906—1978) завоевал признание научной общественности, широкого круга читателей своими исследованиями, посвященными русской классической литературе, и трудами, в которых раскрываются процессы развития литературы Советского Союза. Им созданы работы о Дельвиге, Кольцове, Герцене, Никитине, Писареве, Тургеневе, Чехове, Горьком, об отражении революции 1905 года в русской литературе. Л. А. Плоткин опубликовал книги: «Партия и литература», «Литература и война», «Творчество Веры Пановой», «Даниил Гранин», многие статьи о современном литературном процессе.

Изучение русской классической литературы оказало плодотворное влияние на деятельность Льва Абрамовича как литературного критика. Оно позволило отчетливее, глубже понять современные литературные явления в их исторической перспективе. В свою очередь, аналитическое рассмотрение тенденций роста советской литературы, ее проблем открывало возможности яснее видеть духовные связи классической русской литературы с современностью.

В нынешний сборник статей Л. А. Плоткина вошли лишь некоторые, наиболее крупные его работы о русской литературе XIX века. Каждая из них представляет собой значительный интерес, который обусловлен живым и глубоким анализом творчества самобытных, ярких писателей, разработкой важных проблем истории отечественной словесности.

Литературную деятельность Герцена, Никитина, Писарева так же, как и других мастеров литературы, о которых писал Л. А. Плоткин, ученый рассматривает в трех основных аспектах, составляющих единое целое: своеобразие художника слова, критика и общественного деятеля, их связи со временем, в котором они выросли, творили, и затем их место в историческом движении русской литературы и культуры.

Характеризуя идейный путь Герцена, внимательно анализируя различные стороны его литературно-художественного творчества, в

котором нашли свое отражение большие проблемы эпохи, Л. А. Плоткин высоко оценивает значение художественного наследия Герцена. Он пишет: «Развивая дальше лучшие традиции критического реализма Гоголя, внося в него публицистический пафос, «могущество мысли» и резкость сатирических красок и обобщений, Герцен открывал дорогу и политическому роману Чернышевского и политической сатире Щедрина». Но этим Л. А. Плоткин не ограничивает его роль в развитии литературного творчества. «В художественной прозе Герцена блестяще сказалось то, что создало мировую славу русской литературы — человечность, непрестанное, тревожное искание справедливости в социальных отношениях, борьба против порабощения человека в труде, семье, в быту».

В отличие от статьи «Герцен-беллетрист», в которой рассматривается очень важная, но лишь одна сфера огромной общественно-литературной деятельности революционера, художника, мыслителя,— разделы о Никитине и Писареве носят монографический характер — в них исследуются события жизни, этапы творчества этих активных творцов русской культуры.

Жизнь и литературная деятельность И. С. Никитина далеко не всегда получает должное освещение в различного рода трудах по истории русской литературы. Тем большую ценность имеет обстоятельная работа Л. А. Плоткина об этом писателе, в которой творчество его анализируется с позиций современности. В произведениях И. С. Никитина отчетливо проявились глубоко прогрессивные, сильные начала его творческой деятельности и некоторые идиллическо-консервативные ее тенденции.

Рассматривая поэзию И. С. Никитина в ее реальном движении, в сочетании неоднородных свойств, выраженных в ней, автор статьи подробно характеризует наиболее значительные идейно-художественные завоевания писателя. Л. А. Плоткин отмечает: «Никитин вступил в поэзию с чувством протеста против зла мира, с чувством скорби по поводу человеческих страданий и с горячей и страстной жаждой счастья «и для себя и для других».

В живом единстве с основным пафосом творчества И. С. Никитина Л. А. Плоткин уделяет внимание анализу особенностей его лирики природы, которая неизменно увлекала поэта.

Оценивая связи И. С. Никитина с современной ему литературой, Л. А. Плоткин раскрывает внутренние соотношения его творчества с поэзией Кольцова и Некрасова. Автор пишет: «Среди современников Никитина были и более искусные и тонкие мастера. И все же голос поэта дошел до наших дней именно потому, что Никитин чутко и отзывчиво вслушивался в думы и чаяния народных масс и сумел их выразить словами, которые шли от самого сердца».

Работа о Д. И. Писареве была опубликована отдельной книгой. По богатству своего содержания, ясности и убедительности мысли,

компактности изложения книга эта принадлежит к числу лучших исследований Л. А. Плоткина.

Оно выразительно раскрывает многообразие и напряженность интеллектуального труда Д. И. Писарева, выдающиеся результаты его научно-публицистического творчества, которых он достиг за немногие годы. В книге нарисован обаятельный и в немалой степени противоречивый облик этого талантливейшего деятеля русского освободительного движения. Споры Писарева с журналом «Современник», которым руководил Некрасов, определенные его разногласия с Добролюбовым и Чернышевским — доказывает ученый — не могут заслонить того исторического факта, что в решении коренных философских проблем, вопросов социального развития Писарев был близок к позициям основоположников русской революционной демократии. Он являлся одним из крупных выразителей ее идей и принципов, внося свой очень ценный вклад в ее формирование и развитие.

Особое место в критической деятельности Писарева занимает так называемое «разрушение эстетики». Подчеркивая значение литературы в просвещении народа, общества, он отрицал «полезность» других видов искусств. Исходя из принципа утилитарности, Писарев критиковал Пушкина, Салтыкова-Щедрина. И это, бесспорно, слабая сторона его воззрений, его критической практики.

Вместе с тем статьи и высказывания Писарева о ряде крупных русских и западноевропейских художников слова показывают его проницательное понимание особенностей их творчества, его умение выявить и проанализировать эти особенности. «В числе «полезных» писателей, — отмечает Л. А. Плоткин, — у него были Тургенев, Достоевский, Толстой, Помяловский, Некрасов, Слепцов, Чернышевский, Данте, Шекспир, Гете, Шиллер, Гейне, Беранже, Гюго, Диккенс».

В работе Л. А. Плоткина Писарев предстает крупной, яркой и сложной фигурой. При всех противоречиях его литературно-публицистической деятельности заслуги Писарева перед отечественной культурой и литературой велики, и они верно и убедительно охарактеризованы ученым.

К работам, включенным в этот сборник, тесно примыкает большая статья Л. А. Плоткина «Революция 1905 года и русская литература», из-за недостатка места, к сожалению, не вошедшая в его состав.

Л. А. Плоткин справедливо отмечает: «В свете событий 1905—1907 годов можно полнее понять историческое значение русского критического реализма, силу воздействия прогрессивных писателей России». В подготовке русской революции «выдающуюся роль сыграла передовая русская литература, творчество Радищева и Грибоедова, Пушкина и Лермонтова, Некрасова и Чернышевского,

Чехова и Толстого». Эта мысль составляет методологическую основу работы. Одновременно исследователь раскрывает влияние грозовой атмосферы кануна 1905 года, революционных событий периода 1905—1907 годов на литературное творчество.

Рассматривая произведения, созданные непосредственно перед революцией 1905 года, Л. А. Плоткин обращается к творчеству Куприна, Короленко, Вересаева, Горького, к его «Песне о Буревестнике», пьесам «На дне» и «Дачники». Существенное место в работе уделено развитию сатирической литературы. Но особое внимание ученого привлекает творчество Горького, его поразительная активность в дни революции. В 1905 году Горький написал очерк «9 января», пьесы «Дети солнца» и «Варвары», в 1906 году — повесть «Мать», пьесу «Враги», сатирические циклы «Город Желтого дьявола» и другие произведения. Революция 1905—1907 годов оказала глубокое воздействие на формирование творческого credo основоположника социалистического реализма. Заметную роль она сыграла в творческой эволюции Серафимовича, Вересаева и других писателей горьковского круга. Революция 1905 года составила важный рубеж в развитии русской литературы конца XIX — начала XX века.

Хочу высказать надежду на то, что мысли, наблюдения, исследовательские выводы покойного ученого, высказанные в сборнике его статей, привлекут к себе внимание любителей русской литературы. Желаю этой книге полного читательского успеха.

М. Храпченко



ГЕРЦЕН-БЕЛЛЕТРИСТ

1

В блестящей и многообразной деятельности Герцена поражает одна черта: то, что при жизни он был сопричастен разным поколениям, разным историческим эпохам. Герцен умер, в сущности говоря, еще не старым человеком — пятидесяти восьми лет от роду. Мы знаем немало писателей, которые прожили гораздо более длительную жизнь. Но многие из них прочно вошли в историю как выразители одной какой-либо исторической полосы. Вяземский умер в 1878 году. Но кто воспримет его иначе, чем поэта пушкинской плеяды? Критик и публицист Антонович умер в 1918 году, однако всю жизнь он оставался только шестидесятником. Совершенно иначе обстоит дело с Герценом. И сороковые, и пятидесятые, и шестидесятые годы — периоды ярко и индивидуально окрашенные — не только связаны с Герценом, но в какой-то мере неотделимы от него и без него непонятны.

Это объясняется не одной лишь гениальной одаренностью Герцена и тем, что каждая его работа оставляла яркий след в духовной жизни любого исторического периода, а главным образом глубоко характерной для Герцена особенностью — его устремленностью в грядущее, его неутомимыми и непрестанными исканиями истины. Герцен весь в движении, в преодолении настоящего, в тревожных и пытливых поисках, весь в предвосхищении будущего. Герцен был «своим человеком» для разных поколений, потому что он жил их передовыми стремлениями. Генетически связанный с декабристами, Герцен на последнем этапе своей деятельности идейно соприкасался с Первым Интернационалом. Декабристы и Первый Интернационал — таковы крайние вехи эволюции Герцена, в пределах которых развивались

политические, философские и художественные его взгляды, эволюции сложной и противоречивой, с мучительными разочарованиями и гениальными прозрениями, с ошибками и с пророческими предвидениями.

Герцен мозаичен, но в сложной и контрастной мозаичности Герцена есть своя логическая закономерность, есть своя целостность. Горький писал, что, основываясь на сочинениях Герцена, доказывали самые разноречивые положения: «Консерваторы утверждали не раз, что Герцен консерватор, славянофилы признают его своим, социалисты называют первым русским социалистом»[1]. Эти взаимоисключающие оценки возникали в результате того, что в расчет брались отдельные стороны, отдельные черты в мировоззрении Герцена, в то время как научный анализ требует исследования воззрений Герцена в их внутренней логике, в их движении, в целостности. Такой анализ был дан Лениным.

В обширной литературе о Герцене особое место занимает известная статья Ленина «Памяти Герцена», написанная в 1912 году по случаю столетия со дня рождения писателя. Она составила целую эпоху в изучении автора «Былого и дум». Впервые образ Герцена был воссоздан в ней мастерской рукой во всем своем величии. Для того чтобы в полной мере осознать всю историческую значительность ленинской статьи, надо понять, в какой конкретной обстановке статья эта появилась.

Отношение к Герцену со стороны либеральной и правой печати с сороковых годов до 1912 года претерпело значительную эволюцию. В 1846 году Шевырев в «Москвитянине» издевался над Искандером, поучая его благонравию и житейской мудрости. В 1859 году в Берлине была издана анонимная брошюра «Искандер Герцен», принадлежавшая Елагину, чиновнику особых поручений при Главном управлении цензуры. Предвосхищая будущий поход литературных реакционеров против Герцена, автор с циничной откровенностью сетовал:

«Право, жаль, для блага самого г. Герцена, что русская полиция не послала его куда-нибудь дальше Вятки и не отняла у него способов вредить другим и себе»[2].

---

[1] Горький М. История русской литературы. М.: Гослитиздат, 1939, с. 206.

[2] Искандер Герцен. Берлин, 1859, с. 239.

Особенно обильно антигерценовская литература была представлена в шестидесятые годы. В эту пору выходит брошюра Шедо-Ферроти, за полемику с которой Д. И. Писарев поплатился заключением в Петропавловскую крепость.

В 1862 году появляется пасквиль Каткова «Заметка для издателя „Колокола“» [1]. Один подбор эпитетов характеризует подлинную суть этого литературного доноса. Произведения Герцена определены как «мозгобесие», «сатурналия полумыслей и полуобразов», Герцен объявлен был виновником революционных выступлений, который из своего безопасного далека посылает молодежь на верную гибель. Выступление Каткова не осталось одиноким. Его примеру последовали и другие. В «Вестнике юго-западной и западной России» была напечатана статья с характерным заглавием: «Ворона в соколиных перьях». Автор ее — А. Горошковский — писал: «Господин Герцен со всеми своими доблестными сотрудниками и в качестве родоначальника шайки поджигателей и разбойников, именующейся «Молодая Россия», есть не что иное как безобразная злокачественная изверженность русской земли» [2].

Немало продажных перьев было мобилизовано для «изобличения» великого изгнанника; на Герцена изливались потоки лжи и клеветы. Даже смерть его этого потока не остановила. «Всеобщая газета» в своем некрологе не без основания писала: «Многие русские газеты, послав проклятья на свежую могилу Искандера, который всю жизнь всем существом своим отдавался на служение родине, уже исполнили свое дело. Но имя Герцена слишком велико для того, чтобы эти проклятья злобы и ненависти могли набросить хотя какую-нибудь тень на его далекую от нас могилу» [3].

Еще в 1885 году печатались воспоминания о Герцене с такими сентенциями: «Это тот же Стенька Разин пером; ни в одном европейском публицисте, в какой бы оппозиции он ни был со своим правительством, не найдете этой дикой необузданности пера, как в Герцене» [4].

Но уже в первый герценовский юбилей (тридцатилетие со дня его смерти), в 1900 году, оправдались

---

[1] Рус. вестник, 1862, № 6, с. 834—852.
[2] Вестник юго-западной и западной России, 1863, кн. VII, с. 3.
[3] Всеобщая газета, 1870, 21 янв., № 13.
[4] Рус. архив, 1885, кн. 9, с. 97.

вещие слова Ленина о том, что «угнетающие классы», которые при жизни великих революционеров платят им бешеной ненавистью и дикой злобой, стремятся после смерти превратить этих революционеров в безвредные иконы. «Рыцари либерального российского языкоблудия» — как их называл Ленин — предприняли все для того, чтобы обезвредить Герцена, выхолостить революционную сущность его деятельности, превратить его в плоского, ординарнейшего либерала и в таком фальсифицированном виде сделать его приемлемым для «благомыслящей» России. Можно привести множество фактов, подтверждающих это.

«Герцен,— писала «Неделя»,— в самой сути своего мировоззрения был несовместим с теми крайностями, с той узкой партийностью, с тем произволом над жизнью, которыми страдали и страдают многие, думавшие быть его продолжателями» [1].

«Мысль Герцена — психологический мост между русским либерализмом и славянофильством», — утверждало «Новое время» [2].

«Сейчас у Герцена нет врагов в России»,— писала газета «Россия» [3].

Особенно широко развернулась эта фальсификаторская деятельность в 1912 году — в столетие со дня рождения Герцена. И правая печать, и либеральные ренегаты пытались в Герцене найти оправдание своему трусливому походу против революции. Струве в своей речи на заседании кружка имени Герцена 27 марта 1912 года утверждал, что Искандер разочаровался в революции, потому что не мог совместить с ней аристократическую мечту о преображенном мире. Герцена Струве рисует как эволюциониста, смело отбрасывающего «ложь революционной фразеологии» [4].

А. Кизеветтер видел в Герцене «надежнейшее лекарство и от политического мечтательного романтизма, и от бесплодной прострации, порождаемой временными политическими разочарованиями» [5]. Под «политическим мечтательным романтизмом» он разумел, естественно, веру в революцию. Примерно в тех же выражениях закончил свой доклад П. Милюков: «Герцен одинаково

[1] Неделя, 1900, 16 янв., № 3.
[2] Новое время, 1900, 4 янв., № 8568.
[3] Россия, 1900, 9 янв., № 254.
[4] Рус. мысль, 1912, кн. IV, с. 138.
[5] Рус. ведомости, 1912, 25 марта, № 71.

спасителен как от мистической туманной романтики, так и от наивного революционизма»[1].

Лидер кадетов Ф. Родичев силился доказать, что либеральная буржуазия следует заветам Герцена. По этому поводу Демьян Бедный написал басню «Кукушка», в которой «хвастливая болтушка» убеждала птиц, что «Орел — не более, как крупная кукушка». Поэт в заключительных строках писал:

Так, оскорбляя прах бойца и гражданина,
Лгун некий пробовал на днях морочить свет,
Что, дескать, обсудить — так выйдет все едино
И разницы, мол, нет,
Что Герцен — что кадет.

Так буржуазные политиканы старались использовать великое имя Герцена в своей нечистой игре. И только ленинская статья, разрушившая легенду о Герцене, раскрыла все величие и силу его как писателя и революционера.

2

Работа Ленина появилась в самый разгар юбилейного славословия. Она прозвучала убедительным ответом тем, кто пытался незаконно присвоить себе Герцена, тем, кто похоронил в мусоре лицемерных фраз то подлинно великое и бессмертное, что было в деятельности Искандера. В ленинской статье революционный пролетариат определил свое отношение к герценовскому наследию с исчерпывающей глубиной и убедительностью.

Ленин исходил из того, что Герцен принадлежал к поколению русских революционеров, рожденных в помещичьей среде, в среде палачества и раболепия, и разбуженных к новой жизни декабристами. «Декабристы — наши великие отцы...— писал Герцен в статье «Еще раз Базаров».— Мы от декабристов получили в наследство возбужденное чувство человеческого достоинства, стремление к независимости, ненависть к рабству, уважение к Западу и революции... юность и непочатость сил»[2]. Память об орудийных залпах на Сенатской площади, память о героических воинах-сподвижниках,

---

[1] Речь, 1912, 29 марта, № 85.

[2] Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем. М.; Л., 1923, т. 31, с. 234. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте; первая цифра обозначает том, вторая — страницу.

вышедших сознательно на явную гибель во имя свободы родины и человечества, сохранилась у него на всю жизнь. Недаром на заглавном листе «Полярной звезды» над плахой и топором на фоне зловещей мглы изображены профили пяти казненных вождей декабрьского восстания.

Но Герцен знаменовал собой дальнейший шаг в русском освободительном движении и во всем духовном развитии России. «Герцен — первый русский мыслитель,— писал Горький,— до него никто не смотрел так разносторонне и глубоко на русскую жизнь» [1]. В этом утверждении есть некоторое преувеличение. И до Герцена были в России такие выдающиеся мыслители. Вспомним хотя бы его предшественника Радищева и его современника — Белинского.

Но творчество Герцена, действительно, составило целую эпоху в умственном движении России. С гениальной прозорливостью он сумел в философии Гегеля разглядеть живой родник революционной мысли. Характерно, что еще в тридцатых годах XIX века Гегеля в России понимали упрощенно. Он был объявлен защитником существующего порядка вещей; в качестве основного и решающего видели в его учении консервативный элемент, а не революционный метод. Герцен же, напротив, резко порицал то специфическое гегельянство, которое «взвинчивает свою философию над земным уровнем и держится в среде, где все современные интересы и страсти становятся довольно безразличны, как здания и села с воздушного шара». Он преклоняется пред тем Гегелем, который «не ведет ни к индийскому квиетизму, ни к оправданию существующих гражданских форм, ни к прусскому христианству». Гегеля он ценил в той мере, в какой философия немецкого мыслителя содействовала освободительной борьбе человечества. «Философия Гегеля,— писал Герцен,— алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя».

Герцен, однако, не остановился на Гегеле. Он эволюционировал к материализму. «Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед — историческим материализмом» [2].

---

[1] Горький М. История русской литературы, с. 206.
[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 256.

Вот почему Ленин говорит о Герцене, что «в крепостной России 40-х годов XIX века он сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени» [1].

В ленинской статье образ Герцена воссоздан во всех его трагических противоречиях. Выступив против российского самодержавия во имя демократии и социализма, всей душой ненавидя и крепостнический произвол и пошлость буржуазного мира, Герцен воспрянул духом при первых раскатах революционной грозы 1848 года.

«Удивительное время,— писал он в письме из Рима от 20 апреля 1848 года,— у меня дрожит рука, когда я принимаюсь за газеты: всякий день какая-нибудь неожиданность, какой-нибудь громовой раскат; или светлое воскресенье или страшный суд возле. Новые силы пробудились в душе, старые надежды воскресли и какая-то мужественная готовность на все снова взяла верх» (6, 50).

Революция потерпела жестокое поражение. Герцен видел, как мещане мстили революции, «подло, безопасно, втихомолку», он был свидетелем разнузданного беснования реакции.

«Вечером 26 июля, после победы, мы слушали правильные залпы с небольшими расстановками и с барабанным боем... Ведь это расстреливают! — сказали мы в один голос и отвернулись друг от друга. Я прижал лоб к стеклу окна и молчал; за такие минуты ненавидят десять лет, мстят всю жизнь».

Поражение революции вызвало глубокий духовный кризис Герцена. «Остановившись» перед историческим материализмом, не сумев понять подлинного развития творческих сил истории, Герцен впал в пессимизм. «С половины 1848 года мне нечего рассказывать, кроме мучительных испытаний, неотмщенных оскорблений, незаслуженных ударов. В памяти одни печальные образы, собственные и чужие ошибки: ошибки лиц, ошибки целых народов. Там, где была возможность спасенья, там смерть переехала дорогу...» — писал он в «Былом и думах».

«Внутри все было оскорблено, все опрокинуто, очевидные противоречия, хаос; снова ломка, снова ничего нет. Давно оконченные основы нравственного быта превращались опять в вопросы; факты сурово подымались

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 256.

со всех сторон и опровергали их. Сомнение заносило свою тяжелую ногу на последние достояния, оно перетряхивало не церковную ризницу, не докторские мантии, а революционные знамена».

В эмигрантский период Герцен создал свою теорию «крестьянского социализма», содержавшую много утопического. Но в системе взглядов, которую развивал Герцен в пятидесятых и шестидесятых годах, были и черты, обнаруживающие в нем поистине пророческую прозорливость гения. Это был великий провидец. Он мог ошибаться в частностях, он разделял немало заблуждений, которые свойственны были людям его времени. Но в главном и решающем он был прав, и эту правоту его целиком и безоговорочно подтвердила история. Мы имеем в виду его мысли о возрастающей роли России в социальном обновлении мира.

Предчувствие большого и славного исторического будущего России — черта, присущая многим выдающимся деятелям русской культуры.

Но можно со всей уверенностью заявить, что в кругу революционной демократии с наибольшей отчетливостью мысли о мировом призвании русского народа выразил именно Герцен. Чем это объяснить?

Самое первое объяснение, несмотря на всю свою кажущуюся парадоксальность, состоит в том, что только за границей Герцен мог полным голосом сказать о великих возможностях и великой силе России. Патриотические убеждения Герцена неотделимы от его революционных взглядов, и говорить о роли русского народа в борьбе за социальное преобразование жизни можно было только вдалеке от цензоров Николая I и Александра II. Так, иронией судьбы, выразить свою любовь к России и русскому народу Герцен смог, только находясь в эмиграции.

Но эта жизнь в изгнании имела, как нам представляется, и другое, принципиальное значение. Пребывание Герцена за границей совпало с началом великого процесса, определившего на долгие десятилетия судьбы мира — с перемещением центра революционной борьбы с Запада на Восток. Из великих деятелей революционной демократии один только Герцен имел возможность так длительно и так подробно изучить Западную Европу и, так сказать, чисто эмпирически, а не только умозрительно почувствовать на опыте истории перемещение

революционного центра мира. Именно под влиянием этих обстоятельств мысли «о полной силы национальности», которые разделял Герцен еще будучи в России, сложились в заграничный период в систему взглядов и приобрели остроту и законченность.

В чем же заключались эти взгляды?

Герцен всячески оттенял ту мысль, что любовь к русскому народу основана у него не только на чувстве кровной принадлежности к нации, а и на сознании высокой социальной миссии России, причем любовь к своему народу сочеталась у него с уважением ко всему человечеству.

Герцен без пощады преследовал все темное и жестокое в русской жизни, а когда царское правительство зверски подавило восстание в Польше, Герцен поднял голос протеста и тем самым, по выражению Ленина, спас честь русской демократии. В Герцене гармонически сочетались качества великого патриота и великого гуманиста.

Во взглядах Герцена много противоречивого и немало иллюзорного. Герцен не предлагал готовых решений, да и не всегда эти решения были ему ясны: слишком сложны и мучительны были вопросы, поставленные эпохой.

Герцен исходил из того, что для всего мира наступает новая эпоха; и в ней Россия призвана играть новую роль. К этой мысли он возвращался неоднократно и в разных вариантах доказывал ее справедливость. В том же году в статье «Россия» он писал: «Перед лицом Европы, силы которой за долгую ее жизнь истощились в борьбе, становится народ, который только что начал жить...» (5, 360). А в статье, которая так и называется «Еще вариация на старую тему», он писал: «Весьма может быть, что вся творческая способность западных народов истратилась, истощилась, создавая свой общественный идеал, свою науку...» (8, 487). И он подчеркивает, что «середь мрачного, раздирающего душу реквиема, середь темной ночи, которая падает на усталый, больной Запад, отворачиваюсь от предсмертного стона великого бойца, которого уважаю, но которому помочь нельзя, и с упованием смотрю на наш родной Восток, внутри радуясь, что я русский» (8, 492). Возражая против возможных упреков в фатализме, он замечает: «Говоря о возможном развитии, я не говорю о его *неминуемой необходимости;* что из возможного

осуществится, что нет — я не знаю, потому что в жизни народов многое зависит от лиц и воли» (8, 493—494). Но со всей силой убеждения он добавляет к этому: «Я чую сердцем и умом, что история толкается именно в наши ворота...» (8, 494).

На чем же основано было это предчувствие Герцена? Конечно же не в мистической интуиции заключалось все дело. Герцен сам отмечал, так сказать, логические основания своих выводов («чую сердцем и умом»). Этот вопрос тем более существен, что Герцен эти взгляды пропагандировал и в 1849 году, и в конце пятидесятых, и в шестидесятых годах. Мы эти даты приводим не случайно. Прежде всего Герцен утверждает, что Западная Европа начинает утрачивать ту руководящую роль в социальном переустройстве мира, которая некогда ей принадлежала. Высокие и благородные принципы французской революции уступают место реакционной благонамеренности, пошлому консерватизму буржуазии. Создается впечатление, что дух дерзания и молодости покинул буржуазную Европу. В статье «Русский народ и социализм» Герцен ставит вопрос об исторической функции Европы. Мир идет навстречу великим социальным потрясениям, и перед всеми возникает вопрос, какую роль призвана сыграть Европа. «Гроза приближается,— пишет Герцен,— этого отвергать невозможно... С возрастающим беспокойством все задают себе вопрос, достанет ли силы на возрождение старой Европе, этому дряхлому Протею, этому разрушающемуся организму? Со страхом ждут ответа, и это ожидание ужасно» (6, 435). Характеризуя состояние Европы, которая переживает «шабаш реакции», Герцен с недоумением и горечью спрашивает: «Неужели это та самая Европа, которую мы когда-то знали и любили?»

Европа, доказывает Герцен, истощила свои силы. На смену ей идет молодая, полная сил и энергии страна. Это могло показаться странным: в 1849 году Николай I, подавив своими войсками революционное движение в Венгрии, показал себя перед всем миром как всеевропейский жандарм. Крымская война, продемонстрировав отвагу и стойкость русского солдата, вместе с тем была красноречивым свидетельством военной и экономической отсталости России. И вот в глухую и темную пору царствования Николая I, равно как и в период противоречивой, колеблющейся и в основе сво-

ей реакционной политики Александра II, Герцен говорил о мировой освободительной миссии России.

Но вся сила и вся проницательность Герцена в том и заключалась, что он не отождествлял самодержавие с Россией и что за угрюмым казенным фасадом абсолютистской империи он видел мощные, живые и растущие силы молодого народа, полного энергии и страстной жажды свободы и справедливости. Вера в будущее русского народа основана была у Герцена на изучении его исторического своеобразия. В 1867 году, подводя, в известной мере, итоги своей революционной пропаганды, Герцен писал: «Начиная с 1848 года мы проповедовали, что под Россией военно-деспотической, завоевательной и агрессивной, спасающей Австрию и помогающей реакции, есть другая Россия, в процессе зарождения, что подземные течения веют совсем иным воздухом, нежели воздух официального Петербурга.

Все предавались отчаянию и не внимали этому слову утешения» (20, 70).

Указание на «слово утешения» здесь имеет особый, знаменательный смысл. Мир никогда не отрицал огромной силы русского народа. Но поверхностным и недальновидным наблюдателям казалось, что это — сила подчинения, что ее использует реакционный царизм в своих целях и что Россия всегда будет оплотом обскурантизма и тирании. «Слово утешения», по Герцену, и заключается в том, что он давно указывал на зреющие в народе силы, которые из оплота реакции сделают Россию передовой страной и поставят ее в авангарде освободительной борьбы человечества.

Таким образом, в исторической молодости народа, в исторически сложившихся национальных особенностях, а не в мистических свойствах крови видел Герцен залог великого будущего русского народа.

В анализе духовной эволюции Герцена сказались широта революционной мысли Ленина и пошлое скудоумие либеральных фразеров. Либеральная печать всячески прославляла ошибки и слабости Герцена. Она поднимала эти ошибки на щит, чтобы прикрыть свою собственную контрреволюционность. «У этих рыцарей, — писал Ленин, — которые предали русскую революцию 1905 года, которые забыли и думать о великом звании *революционера*, скептицизм есть форма перехода от демократии к либерализму,— к тому холуйскому, подлому, грязному и зверскому либерализму, который

расстреливал рабочих в 48 году, который восстановлял разрушенные троны, который рукоплескал Наполеону III и который *проклинал*, не умея понять его классовой природы, Герцен» [1].

Явлением иного порядка был скептицизм Герцена. Ленин видел слабые стороны великого русского революционера. Владимир Ильич показал ограниченность герценовского социализма, эту прекраснодушную фразу, доброе мечтание, в которое облекала свою тогдашнюю революционность буржуазная демократия, а равно невысвободившийся из-под ее влияния пролетариат. Ленин показал и утопичность народнического социализма Герцена, в котором не было ни грана социализма и сущность которого заключалась в том, что он формулировал революционные стремления к равенству со стороны крестьян, борющихся за полное свержение помещичьей власти, за полное уничтожение помещичьего землевладения. Ленин видел, наконец, колебания Герцена, и именно в этих колебаниях он усматривает причину столкновений между Герценом и революционными разночинцами шестидесятых годов [2]. Но Ленин вскрывал существенные и ведущие тенденции в деятельности Герцена. Вот почему он писал, что, «при всех колебаниях Герцена между демократизмом и либерализмом, демократ все же брал в нем верх» [3]. «Не вина Герцена,— писал Ленин,— а беда его, что он не мог видеть революционного народа в самой России в 40-х годах. Когда он увидел его *в 60-х* — он безбоязненно встал на сторону революционной демократии против либерализма. Он боролся за победу народа над царизмом, а не за сделку либеральной буржуазии с помещичьим царем. Он поднял знамя революции». Вот почему, противопоставляя Герцена либеральным ренегатам, Ленин видел в его скептицизме форму перехода «от иллюзий «надклассового» буржуазного демократизма к суровой, непреклонной, непобедимой классовой

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 256—257.

[2] Эти столкновения, кстати сказать, всячески преувеличивала и либеральная, и правая печать. Еще при жизни Герцена «Биржевые ведомости» злорадствовали: «Жалкое положение! России Герцен стал смешон... кучка его учеников обвиняет его в недобросовестности; все отступились, все бросили его, этого пророка России и учителя мира, бросили, как пустомелю, ни на какое дело не способного» (Бирж. ведомости, 1869, 16 марта, № 73).

[3] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 259.

борьбе пролетариата»[1]. В качестве доказательства Ленин приводил письма «К старому товарищу», адресованные Бакунину, в которых Герцен с надеждой обращал свои взоры к Первому Интернационалу.

Необходимо отметить, что идеи, выраженные в этих письмах, крайне важные для понимания исторического значения Герцена, не явились для него случайными. Они были подготовлены предшествующим и подсказаны и личным и историческим его опытом. В «Письмах из Франции и Италии» (письмо из Ниццы от 1 июня 1851 года), в разгар реакции, мучительно переживая крушение своих былых верований, со злобой и горечью бичуя бессилие и дряблость буржуазной демократии, Герцен, однако, с необыкновенной силой убеждения пишет о том, что революционное движение народа не остановилось, что оно вступило лишь в новую фазу. «...С июньских дней,— пишет он,— народ расстается с революционерами, именно потому, что остается верен революции. Призрачный мир политики и внешних перестроек тюрьмы вдруг исчез для него и утратил весь интерес свой... Но революция не остановилась. Вместо неосторожных попыток и заговоров работник думает крепкую думу... Всего вероятнее, что действительная борьба богатого меньшинства и бедного большинства будет иметь характер резко коммунистический» (6, 121).

То, что для Герцена проблема пролетариата была узловым вопросом исторического развития, доказывает книга «С того берега», где он утверждает, что никакой реакции не удастся остановить движение масс.

Через тяжелые, трагические сомнения и разочарования Герцен приходит к выводу о грядущих социальных битвах, в которых решающее слово будет принадлежать рабочему классу. Еще в письме из Парижа от 1 сентября 1848 года Герцен писал: «Лишь бы достало терпения великому парижскому народу, пусть он сойдет теперь со сцены, облитой его кровью, пусть не смотрит на события, не слушает оскорблений и в тиши собирает свои силы. Не знаю, придется ли ему водрузить хоругвь социализма на парижской бирже, но знаю, что он отомстит за июньские дни, за апрельскую измену, за обман в ратуше, за ложное воззвание Кавеньяка. Войну, начатую июньскими днями, остановить невоз-

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 261.

можно. Вся Европа вовлечена в нее. Трудно переродиться старому Адаму,— социализм слишком широк для изношенных людей и слишком несовместен с обветшалыми формами, в которых держится старая жизнь Западной Европы» (6, 79).

В «Былом и думах» Герцен называл рабочих «искренним и настоящим элементом революции». А в «Письмах к старому товарищу» он пророчески заявлял: «Ясно видим мы, что дальше дела не могут идти так, как шли, что, наконец, исключительному царству капитала и безусловному праву собственности так же пришел конец, как некогда пришел конец царству феодальному и аристократическому. Как перед 1789 обмиранье мира средневекового началось с сознания несправедливого подчинения среднего сословия, так и теперь переворот экономический начался сознанием общественной неправды относительно работников. Как тогда упрямство и вырождение дворянства помогло собственной гибели, так и теперь упрямая и выродившаяся буржуазия тянет сама себя в могилу» (21, 435).

«Письмам к старому товарищу» Ленин придавал большое значение: Владимир Ильич расценивает их как свидетельство очень существенных сдвигов в мировоззрении Герцена. «Правда, Герцен видит еще в этом разрыве только разногласие в тактике,— пишет Ленин,— а не пропасть между миросозерцанием уверенного в победе своего класса пролетария и отчаявшегося в своем спасении мелкого буржуа. Правда, Герцен повторяет опять и здесь старые буржуазно-демократические фразы, будто социализм должен выступать с «проповедью, равно обращенной к работнику и хозяину, земледельцу и мещанину». Но все же таки, разрывая с Бакуниным, Герцен обратил свои взоры не к либерализму, а к *Интернационалу*, к тому Интернационалу, которым руководил Маркс,— к тому Интернационалу, который начал *«собирать полки»* пролетариата, объединять *«мир рабочий»*, „покидающий мир пользующихся без работы!“»[1].

В «Письмах к старому товарищу» звучат слова, исполненные пророческой силы.

Объединению пролетариата Герцен придал в грядущем социальном перевороте исключительное значение. «Работники, соединяясь между собой... составят первую

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 257.

сеть и первый всход будущего экономического устройства» (31, 439).

Пророческое предвидение мировой роли *России* в грядущем социальном освобождении человечества и мысли о всемирно-историческом значении освободительной борьбы пролетариата не соединялись у Герцена в единое учение. Этот теоретический синтез достигнут был Лениным и практически осуществлен в Великой Октябрьской социалистической революции. Но то, что Герцен хотя и в общих еще чертах видел направление, в каком развивается мировая история, не подлежит сомнению.

Нет ничего удивительного, что Ленин дал Герцену высочайшую оценку: он назвал его писателем, сыгравшим великую роль в подготовке русской революции.

3

Великая роль Герцена в подготовке русской революции проявилась во всех решительно областях его творческой деятельности — и в философских этюдах, и в разоблачительных заметках «Колокола», и в беллетристических произведениях. Н. Огарева рассказывает в своих воспоминаниях, что Герцен в беседе с художником Ивановым так определил задачи искусства: «Ищите новые идеалы в борьбе человечества за идеи свободы, за человеческое достоинство, за его постоянное совершенствование, за вечный прогресс; вот где должна быть нынешняя руководящая мысль для искусства...» [1] Эта руководящая мысль была определяющей для беллетристики Герцена.

В литературе о Герцене существует ходячее мнение, приобретшее силу предрассудка: беллетристика — случайная прихоть Герцена, творческий гений его никак не проявился в романе, повести и рассказе. Совершенно безапелляционно это мнение выразил Амфитеатров в лекциях о Герцене в «Collège Russe d'études sociales».

Угроза устарелости, писал он, «опасна только для юных произведений Искандера... и в особенности — для его беллетристики. Здесь, действительно, уже устарело все: язык, типы, ситуации, литературные приемы. «Кто виноват?» жестоко разочаровывает читателя... и даже интерес доктора Крупова оказывается ниже его славы...

[1] Герцен в воспоминаниях современников. М., 1956, с. 194.

Герцен не имел истинно беллетристического таланта, и в повестях хороши и значительны только те страницы, где он, отбрасывая в сторону условные требования старинной художественности и традиции «хорошего литературного вкуса», дает полную свободу могучей силе своего публицистического ума и покоряет читателя неотразимой логикой своих блестящих силлогизмов» [1].

И в других работах можно нередко встретить утверждения подобного рода. Согласиться с ними никак невозможно. Конечно, беллетристика Герцена — явление своеобычное, зачастую нарушающее общепринятые каноны. Но еще Толстой со свойственным ему отрицанием догматических правил утверждал, что, по сути дела, все выдающиеся произведения русской литературы XIX века представляют собой целую цепь таких нарушений.

В статье «Несколько слов по поводу книги „Война и мир"» он писал: «Что такое «Война и мир»? Это не роман, еще менее поэма, еще менее историческая хроника. «Война и мир» есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось... Такое заявление о пренебрежении автора к условным формам прозаического художественного произведения могло бы показаться самонадеянностью, ежели бы оно было умышленно и ежели бы оно не имело примеров. История русской литературы со времени Пушкина не только представляет много примеров такого отступления от европейской формы, но не дает даже ни одного примера противного. Начиная от «Мертвых душ» Гоголя и до «Мертвого дома» Достоевского, в новом периоде русской литературы нет ни одного художественного прозаического произведения, немного выходящего из посредственности, которое бы вполне укладывалось в форму романа, поэмы или повести» [2].

Таким отступлением от традиционной формы была и художественная проза Искандера.

Но, разумеется, своеобразие беллетристики Герцена должно быть объяснено. Нельзя представлять дело таким образом, будто она — исключение, необъяснимый и одинокий феномен.

В истории русской литературы герценовская проза представляет собой очень важный и закономерный этап,

---

[1] Двадцатый век, 1906, 20 мая, № 52.

[2] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. (Юбилейное). М., 1913, т. 7, с. 278.

и задача заключается в том, чтобы выяснить ее историческое место и значение. Первыми художественными опытами Герцена, если не считать нескольких прозаических этюдов, частично использованных в более поздних произведениях, были стихотворные драматические произведения «Вильям Пен» и «Лициний». В них Герцен показывает «разрыв двух миров», «столкновение старого с возникающим юным, борьбу двух нравственностей». Эти произведения содержали немало предрассудков. Сам Герцен писал, что в них ясно виден остаток религиозного воззрения и путь, которым оно перерабатывалось не в мистицизм, а в революцию, в социализм».

«Вильям Пен» и «Лициний» большого художественного значения не имеют. Они показательны только для идейной эволюции писателя. Сила Герцена была не в стихотворном искусстве. Сам он весьма иронически говорил о рубленой прозе своих драматических отрывков.

Среди первых опытов Герцена обращает на себя внимание написанный в начале тридцатых годов набросок «Толпа». Этот набросок характерен, во-первых, тем, что в нем применена излюбленная писателем форма развернутого диалога: «Толпа» имеет подзаголовок «Разговор на площади». Во-вторых, здесь мы видим столкновение двух принципов жизни: с одной стороны, насмешливого и едко иронического отношения к пошлости и уродству «толпы», а с другой — любви к человечеству, страстной романтической мечты о будущей гармонии. Первый — воплощен в собеседнике, который назван Владимиром, носителем второго принципа выступает Леонид.

Владимир с презрением обозревает толпу. Он говорит Леониду: «...взгляни на все эти лица: посмотри на этих суетящихся лавочников, заметь это желание воспользоваться хоть копейкою барыша... посмотри на эту толстую рожу осанистого купца, который с самодовольным видом выступает, поглаживая бородку, как будто бы его везли на сундуках с золотом... посмотри на этого барина, который со всей дворянскою важностью отправляется забирать как можно больше вещей — в долг. Ну скажи, Леонид, не смешны ли все эти фигуры?»

Леонид тоже видит всю пошлость и ничтожество толпы. Но, в отличие от Владимира, она вызывает в нем не насмешку, а чувство горечи и боли, страстное

стремление пожертвовать всем, чтобы создать гармоническое целое, где «труд для блага общего был бы единым уровнем людей». Восторженные мечты Леонида встречают скептическую насмешку Владимира.

Набросок «Толпа» примечателен тем, что многие мысли, высказанные в нем, и даже внутренний конфликт между Владимиром и Леонидом и в дальнейшем привлекали пристальное внимание зрелого Герцена.

Первые прозаические опыты Искандера были выдержаны в традиционном романтическом стиле. В его ранних произведениях без труда обнаруживается влияние и Шиллера и Жан-Поль Рихтера. В известной мере плодом романтических увлечений молодого писателя была его неоконченная повесть «Елена» (1838). Уже здесь Герцен выступает в защиту поруганного человеческого чувства, против уродливых социальных и эстетических норм. Но разработка темы была далеко не зрелая. Блестящий князь, барич екатерининских времен, человек необузданных страстей, покидает женщину, беззаветно любящую его, и женится на другой. Женщина эта вскоре умирает, и князь, не выдержав мучительных угрызений совести, сходит с ума. Отсутствие реалистических мотивировок, демонический характер князя, взвинченная патетика языка с такими метафорами, как «бурные тучи страстей», «бесчувственный взор толпы», «душа влечется в пропасть, на дне которой чудовище с укоризненным взглядом»,— естественно, не могли удовлетворить Герцена. Впоследствии он признавал, что в этом произведении «бездна натянутого».

Художественное дарование Герцена проявилось в его первом крупном прозаическом произведении — «Записках одного молодого человека».

Мысль написать автобиографическое произведение занимала Герцена с первых шагов его литературной деятельности. Еще в 1836 году он писал: «Я решительно хочу в каждом сочинении моем видеть отдельную часть жизни души моей. Пусть их совокупность будет иероглифическая биография моя». В 1837 году он еще более определенно подчеркивает свое пристрастие к жанру воспоминаний: «Нет статей более исполненных жизни и которые было бы приятнее писать, как воспоминания. Облекая эти воспоминания во что угод-

но, в повесть или другую форму, всегда они для самого себя имеют запах, приятный для души».

«Записки одного молодого человека» — первое крупное произведение, в котором Герцен осуществил эти свои творческие устремления. Отдельные фрагменты «Записок» задуманы были еще в 1836 и 1837 годах, но приступил он к ним лишь в 1838 году в период владимирской ссылки. В предисловии к «Былому и думам» Герцен так описывает историю их возникновения:

«Мне было лет двадцать пять, когда я начинал писать что-то вроде воспоминаний. Случилось это так: переведенный из Вятки во Владимир, я ужасно скучал. Остановка перед Москвой дразнила меня, оскорбляла; я был в положении человека, сидящего на последней станции без лошадей.

В сущности, это был чуть ли не самый «чистый, самый серьезный период оканчивавшейся юности». И скучал-то я тогда светло и счастливо, как дети скучают накануне праздника или дня рождения. Всякий день приходили письма, писанные мелким шрифтом (имеются в виду письма Н. А. Захарьиной.— *Л. П.*). Я был горд и счастлив ими, я ими рос. Тем не менее разлука мучила, и я не знал, за что приняться, чтоб поскорее протолкнуть эту *вечность* — каких-нибудь *четырех* месяцев... Я послушался данного мне совета (Натальи Александровны.— *Л. П.*) и стал на досуге записывать мои воспоминания о Крутицах, о Вятке. Три тетрадки были написаны... В 1840 Белинский прочел их; они ему понравились, и он напечатал две тетрадки в «Отечественных записках» (первую и третью), остальная и теперь должна валяться где-нибудь в нашем московском доме, если не пошла на подтопки».

Было бы неверно рассматривать «Записки» только как ранний вариант «Былого и дум». Разумеется, с точки зрения художественной завершенности гениальные мемуары не могут идти в сравнение с «Записками». Но они имеют и свое познавательное значение, наглядно показывая процесс формирования мировоззрения Герцена, и свое литературное обаяние. Сам Герцен писал, что это «поэма юности, и она хороша, юноша ее не прочтет хладнокровно... Я перелистываю и радуюсь: ничего темного и ничего пошлого, моя юность прошла хорошо».

Автор прекрасно сознавал, что «Былое и думы» не покрывают «Записок». Недаром он поместил их между

четвертой и пятой частями «Былого и дум» (лондонское издание, т. III, 1862 г.) и отметил, что «Записки одного молодого человека» «как чертеж сравнительной анатомии или лафатеровские профили — они показывают наглядно изменения, вносимые в физиогномию мысли и слова двадцатью такими годами, которые я прожил между записками молодого человека, набросанными в 1838 г. во Владимире на Клязьме, и думами пожилого человека, помеченными в Лондоне на Темзе».

Литературный талант Герцена в «Записках» определился как талант сатирический. Сам автор признавал, что в «Записках» сказалось сильное влияние гейневских «Путевых картин». Оно выразилось в автобиографизме «Записок», носившем принципиальный характер: человеческая личность, ее раздумья и сомнения, ее встречи и переживания столь значительны сами по себе, что могут претендовать на внимание читателя, даже если ничего эффектного и особенного с этой личностью и не случилось.

Оно сказалось в самом стиле «Записок», в лиризме и в свободном и прихотливом ведении рассказа, в характере пейзажа, в иронической интонации, пронизывающей произведение.

Смерти Наполеона «всех больше радовалась одна богомольная старушка, скитавшаяся из дома в дом по бедности и не работавшая по благородству,— она не могла простить Наполеону пожар в Звенигороде, при котором сгорели две коровы ее, связанные с нею нежнейшей дружбой».

«Карл Карлович был так тонок и гибок, что походил на развернутый английский фут, который на каждом дюйме гнется в обе стороны».

«День был южно палящий жаром, все ликовало, жужжа летали пчелы, тонко перетянутые; молча и с величайшей грацией танцевали по воздуху пестрые бабочки с широкими рукавами, как барышни. Солнце благосклонно приветствовало гостей дома, отогревало сырую землю, эмалью покрывало листики цветков, радостью наполняло все живущее и копошащееся в траве, на воздухе закуривало сигары и гордо не дозволяло себе смотреть в глаза».

В парадоксальности и ироничности этих отрывков нетрудно разглядеть характерные интонации гейневской прозы.

В «Записках» целая глава посвящена описанию патриархальных нравов провинциального города Малинова. Глава эта весьма характерна для Герцена. Здесь ироническая усмешка уступает место открытому сатирическому обличению. Белинский писал: «Главное орудие Искандера, которым он владеет с таким удивительным мастерством,— ирония, нередко возвышающаяся до сарказма...» [1] В очерке города Малинова эта черта проявилась очень отчетливо. Благочестивый город Малинов изображен зло и резко, без двусмысленной словесной игры и полутонов. Вещи названы своими именами. Провинциальное общество представлено зловещими монстрами.

Вот хозяин самого большого дома в городе, «холостой человек лет сорока пяти, отрастивший большие бакенбарды для того, чтобы жениться, болтун и дурак». Вот «старик подслепый, с Анной в петлице нанкового сюртука, отставленный член межевой конторы». Вот «бледная семинарская фигура с тем видом решительного идиотизма, который мы преимущественно находим у так называемых «ученых»,— и в самом деле это был учитель малиновской гимназии». «Во всем Малинове было три глаза выразительных: два из них принадлежали одной приезжей барышне, третий — кривой болонке губернаторской». Обобщающая оценка Малинову дана героем «Записок»: «Бедная, жалкая жизнь! не могу с нею свыкнуться... Пусть человек, гордый своим достоинством, приедет в Малинов посмотреть на тамошнее общество — и смирится. Больные в доме умалишенных меньше бессмысленны, толпа людей, двигающаяся и влекущаяся к одним призракам, по горло в грязи, забывшая всякое достоинство, всякую доблесть, тесные, узкие понятия, грубые, животные желания. Ужасно и смешно!»

В описании нравов города Малинова ярко сказался сатирический характер герценовского таланта. Эти главы были наиболее органичны для него. Не случайно успех выпал именно на долю очерков Малинова. Любопытно отметить, что этот успех, по словам самого Герцена, побудил его взяться за роман «Кто виноват?».

Сатирическая устремленность «Записок», обличение духовной нищеты, убожества и бессмысленности помещи-

---

[1] Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13-ти т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953—1959, т. 10, с. 325.

чьей и чиновничьей жизни включали Герцена в основной поток русской литературы сороковых годов, роднили его с физиологическим очерком, с натуральной школой и ее вождем Гоголем.

Те черты герценовского творчества, которые сближали его с Гоголем, наиболее полно проявились в романе «Кто виноват?». Для того чтобы отчетливей осознать соотношение творчества двух этих писателей, надо понять, какие стороны в художественной деятельности Гоголя считал Герцен решающими и наиболее ценными. В Гоголе Герцен ценил беспощадный показ уродливой и страшной помещичьей, бюрократической России. Произведения Гоголя воспринимались Герценом как обвинительный документ огромной силы, безжалостно вскрывающий несостоятельность всей самодержавной Руси.

11 июня 1842 года он записывал в своем дневнике: «...«Мертвые души» Гоголя — удивительная книга, горький упрек современной Руси, но не безнадежный. Там, где взгляд может проникнуть сквозь туман нечистых, навозных испарений, там он видит удалую, полную силы национальность. Портреты его удивительно хороши, жизнь сохранена во всей полноте; не типы отвлеченные, а добрые люди, которых каждый из нас видел сто раз. Грустно в мире Чичикова, так, как грустно нам в самом деле; и там и тут одно утешение в вере и уповании на будущее» (3, 29).

«Переход от Собакевичей и Плюшкиных...— записывает он в дневнике через полтора месяца,— ...обдает ужас, вы с каждым шагом вязнете, тонете глубже, лирическое место вдруг оживит, осветит и сейчас заменяется опять картиной, напоминающей еще яснее, в каком рве ада находимся... «Мертвые души» — поэма, глубоко выстраданная. «Мертвые души» — это заглавие само носит в себе что-то наводящее ужас».

В письме к Тургеневу от 1857 года он называет «Шинель» «колоссальным произведением» (8, 399). В статье «О романе из народной жизни» (1857) он так оценивает «Мертвые души»: «Большая поэма в прозе «Мертвые души» произвела в России такое же впечатление, какое во Франции вызвала «Свадьба Фигаро». Можно было с ума сойти при виде этого зверинца из дворян и чиновников, которые слоняются, в глубо-

чайшем мраке, покупают и продают «мертвые души» крестьян» (9, 97).

И, наконец, в 1864 году он писал о «Мертвых душах», что это произведение Гоголя представляет «практический курс России. Это — ряд патологических очерков, взятых с натуры и написанных с огромным и совершенно оригинальным талантом» (17, 231).

Итак, изображение «зверинца» из дворян и чиновников, сатирические очерки быта, упрек России и вместе с тем вера в ее силы — вот что видел в Гоголе Герцен. Именно эти элементы и развивал он дальше, обогащая русскую литературу, расширяя ее горизонты, усиливая средства ее социального воздействия.

Беллетристические произведения Герцена были восприняты многими не как социальные полотна, а как психологические этюды. П. С. Богословский, например, полагает, что герценовская художественная проза — «это памятники эпохи, когда русский интеллигент пытался объяснять «роковые вопросы» не дефектами общественного порядка, а внутренним миром отдельной личности» [1]. Такое понимание позволяло сближать Герцена не с Гоголем, а с Тургеневым. Вряд ли это, однако, справедливо. Любопытно, что Тургенев не был для Герцена принципиально новым явлением. Сам Тургенев был для него явлением гоголевской школы, хотя и несколько иной устремленности. «Тургенев,— писал он,— занялся преследованием другой дичи: помещика, его жены, его кабинета, управляющего и старосты. Никогда еще раньше внутренняя жизнь помещичьего дома не выставлялась в таком виде на всеобщее посмеяние, ненависть и отвращение» (9, 99).

Если можно говорить о близости художественной прозы Герцена к прозе Тургенева, то только в той мере, в какой Тургенев являлся последователем и продолжателем традиций Гоголя. Внесение элементов психологизма в портретную живопись, преследование «другой дичи», раскрытие внутренней жизни помещичьего дома, внимание к проблеме «лишнего человека» — все это были черты, родственные литературным интересам Герцена. И все же, думается нам, Герцену был ближе сатирический пафос Гоголя, нежели психологизм тургеневской школы.

---

[1] Герцен А. И. Кто виноват? М.; Л., 1933, с. 286. Послесловие.

Когда мы говорим о том, что художественная проза Герцена была дальнейшим развитием гоголевских традиций, это не значит, что мы имеем в виду точное стилевое сходство. Герцен, естественно, не являлся простым подражателем Гоголя, хотя перекличка даже в деталях несомненна:

«Молодой человек все это время молчал, краснел, перебирал носовой платок и что-то собирался сказать; у него шумело в ушах от прилива крови; он даже не вовсе отчетливо понимал слова генерала, но чувствовал, что вся его речь вместе делает ощущение, похожее на то, когда рукою ведешь по моржовой коже против шерсти». Это гротескное сравнение напоминает известное место в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: «Иван Иванович имеет необыкновенный дар говорить чрезвычайно приятно. Господи, как он говорит! Это ощущение можно сравнить только с тем, когда у вас ищут в голове или потихоньку проводят пальцами по вашей пятке».

Или взять колоритное описание помещичьего экипажа: «Потом проехала какая-то коляска странной формы, похожей на тыкву, из которой вырезана ровно четверть; тыкву эту везли четыре потертых лошади; гайдук, форейтор и седой сморщившийся кучер были одеты в сермягах, и сзади трясся лакей в шинели с галунами вер-антик. В тыкве сидела другая тыква — добрый и толстый отец семейства и помещик с какой-то специальной ландаркой из синих жил на носу и щеках; возле — неразрывная спутница его жизни, непохожая на тыкву, а скорее на стручок перца, спрятанный в какой-то тафтяной шалаш, надетый вместо шляпки; против них — приятный букет из трех граций — вероятно, сладостная надежда маменьки и папеньки, сладостная, но исполняющая заботой их нежные сердца. Проехал и этот подвижной огород». Гоголевская метафоричность этого отрывка несомненна. И таких мест можно у Герцена насчитать немало[1]. Но дело заключается не в совпадении частностей, а в более глубокой и принципиальной преемственности. «Кто виноват?» развертывается в двух планах: во-первых, писатель рисует историю трагической любви

---

[1] Алексей Веселовский, упоминая в книге «Герцен-писатель» о гоголевских деталях, неправильно именует Герцена «учеником и подражателем».

Бельтова к Круциферской, составляющую лирические сцены романа, и, во-вторых, он резко и сильно показывает «мертвые души» крепостнической России, он дает изображение людей и нравов. Оба эти плана не существуют раздельно. Они объединены одной мыслью, один план дополняет и объясняет другой. Вслед за Гоголем Герцен в романе «Кто виноват?» показывает страшное обличье скорбной, задавленной, молчаливой России. Со свойственной ему манерой прямого и резкого обобщения он рассказывает о том, как трое бурлаков, затянувшие лихую русскую песню, бросились бежать, как только завидели вышедшего из-под арки будочника: «Почтенный блюститель тишины гордо отправился под арку, как паук, возвращающийся в темный угол, закусивши мушиными мозгами. Тут тишина еще более водворилась; стало смеркаться. Бельтов поглядел, и ему сделалось страшно; его давило чугунной плитой». Настроение Бельтова находит свое оправдание в тех сильных и полных острого социального смысла красках, какими рисует Герцен образ провинциального города.

«Плохо выкрашенная каланча с подвижным полицейским солдатом наверху... собор древней постройки виднелся из-за длинного и, разумеется, желтого здания присутственных мест, воздвигнутого в известном стиле; потом две-три приходских церкви... потом дом губернатора с сенями, украшенными жандармом и двумя-тремя просителями из бородачей; наконец, обывательские дома, совершенно те же, как во всех наших городах. Город был невелик, и пройти его с конца в конец было нетрудно. Та же пустота везде; разумеется, ему и тут попадались кое-какие лица; изнуренная работница с коромыслом на плече, босая и выбившаяся из сил, поднималась в гору по гололедице, задыхаясь и останавливаясь; толстый и приветливой наружности поп в домашнем подряснике сидел перед воротами и посматривал на нее; попадались еще или поджарые подьячие или толстый советник».

Поражаешься остроте и точности этой картины. Каланча с полицейским, церкви, желтые казенные здания, дом губернатора с жандармом и просителями из крестьян в сенях, изнуренная работница, толстые попы и советники — все это воплощало в себе ту «форменную» Россию, забитую и косную, которую жалел и ненавидел Герцен. Недаром Бельтов с тоской и недо-

умением обозревает этот выморочный город. «Что значит эта тишина,— думал Бельтов,— глубокую думу или глубокое бездумье, грусть или просто лень?.. Здесь все давит... здесь тесно, мелко... да где же жители? Приступом, что ли, взяли этот город? Мор, что ли, посетил его?»

В этой тревожной и пугающей тишине разыгрываются будничные и потрясающие человеческие трагедии. Герцен неоднократно подчеркивал свое влечение к биографиям, к человеку и его жизненной судьбе. Еще в «Записках» он солидаризируется с тезисом Гейне, что «каждый человек есть вселенная, которая с ним родилась и с ним умирает». В романе «Кто виноват?» он декларирует свое пристрастие к жизни простых людей; к тем почерневшим и перекосившимся домикам, о которых никто не помянет, «а между тем во всех них развивалась жизнь, кипели страсти, поколения сменялись поколениями, и обо всех этих существованиях столько известно, сколько о диких в Австралии, как будто они человечеством оставлены вне закона и не признаны им».

Пристрастие Герцена к биографиям наложило свой отпечаток и на композиции его вещей. Он неоднократно перебивает повествование для того, чтобы рассказать о поразившей его жизни, Vorgeschichte в его беллетристических произведениях является обычным приемом.

Но именно в этом жадном внимании к человеческим судьбам сказался подлинный пафос творчества Герцена. Белинский считал гуманность главной мыслью романа. Рассказывая о людях, писатель вскрывает всю трагическую путаницу, всю мучительную жизненную неразбериху, которая уродует, калечит и губит в конечном счете человека. Люди, утверждает Герцен, не властны в своей судьбе, ими управляет неумолимая и роковая сила. «Как все перепутано, как все странно на белом свете». Некоторые поняли такое изображение жизненных явлений как отказ от поисков «конкретных носителей зла».

«Заглавие романа,— писал «Сын отечества»,— спрашивает: «Кто виноват?». Тронутый до слез читатель отвечает: одна *судьба!*.. Слава богу, что виноваты *не* люди, а судьба!»[1] Выраженный с такой трогательной откровенностью, взгляд этот дожил до наших дней. Ра-

[1] Сын отечества, 1847, № 4, с. 33.

зумеется, ничего общего с подлинной сущностью романа он не имеет. Как будто имея в виду критиков, способных по своей проницательности сделать именно такие выводы, Герцен дает иронический эпиграф к роману: «А случай сей за неоткрытием виновных предать воле божией, дело же, почислив решенным, сдать в архив. Протокол».

«Конкретный носитель зла» если и не назван прямо, в силу цензурных условий, то о нем дано понять во всем развитии действия романа, во всех ситуациях и в любом образе романа. Решения проклятых вопросов надо скорее искать «в атмосфере, в окружающем, во влияниях и соприкосновениях, нежели в каком-нибудь нелепом психическом устройстве человека». В этой осторожной формуле скрывался ответ на вопрос, кто виноват. Причину надо искать в уродливых общественных отношениях.

И действительно, разве не условия крепостнического рабства и произвола уродовали и губили людей? Герцен эти условия показывает весьма отчетливо. Достаточно вспомнить о засеченном насмерть кучере, о темных и страшных днях оскорбленной, униженной и затравленной Софьи, которая имела несчастье приглянуться любвеобильному барчуку, достаточно вспомнить о войне, которую вел дубасовский уездный предводитель Карп Кондратьевич на конюшне и в гумне против своих рабов,— достаточно вспомнить обо всем этом, чтобы судить об истинной причине человеческих зол и жизненных неурядиц.

Наконец, главная сюжетная линия романа — любовь Бельтова к Круциферской — связана опять-таки с основным источником мучительных жизненных коллизий, о котором мы говорили выше. Подлинной завязкой романа являются «бедствия» Любоньки — ее ложное и унизительное положение полукрепостной девушки в доме Негровых. В поисках выхода, в поисках спасения она выходит замуж за Круциферского, за человека, которого она, по сути дела, не любила. Естественно, что рано или поздно это должно было обнаружиться. Знакомство с Бельтовым и вспыхнувшая страсть открыли ей глаза. Радикально разрешить завязавшийся узел никто из них не отважился. Так, нечеловеческие условия крепостного рабства и тягостные вериги христианской морали погубили трех человек — и Круциферских и Бельтова.

В образе самого Бельтова Герцен с большой прямотой и резкостью показал столкновение сильной, одаренной, деятельной, разумной личности с отвратительным и косным «зверинцем» николаевской Руси. Вряд ли правы были критики, утверждавшие, что вся трагедия Бельтова вытекала из романтического воспитания женевца. Трагедия Бельтова заключалась в невозможности реализовать богатые духовные силы, в невозможности применить эти силы на скудном и жалком поприще.

«Мало болезней хуже сознания бесполезных сил»,— говорит Бельтов Крупову. Эта же мысль повторяется у него в разговоре со старым своим воспитателем Жозефом:

«Моя жизнь не удалась — побоку ее. Я, точно герой наших народных сказок, которые я, бывало, переводил вам, ходил по всем распутьям и кричал: «Есть ли в ком жив-человек?» Но жив-человек не откликался... Мое несчастье! — а один в поле не ратник». Вряд ли сочувствовал Герцен этому сознательному самоустранению Бельтова из жизни. Непривычку к труду и отсутствие стойкости автор порицал в своем герое. Но в целом образ Бельтова, как и все остальные образы романа, должен был звучать резким и страстным протестом против позорной отсталости, против одичания и азиатчины крепостнической России. Этой же цели была подчинена и философская проблематика романа. Как известно, в романе «Кто виноват?» сказалось сильное влияние сенсимонизма.

В «Былом и думах» Герцен писал: «Середь этого брожения, середь догадок, усилий понять сомнения, пугавшие нас, попались в наши руки сенсимонистские брошюры, их проповеди, их процесс, они поразили нас». Поразили Герцена в сенсимонизме, с одной стороны, идея освобождения женщины, признание ее права на общий труд, союз с нею как с равным, с другой — оправдание, искупление плоти.

«Новый мир толкался в дверь, наши души, наши сердца растворялись ему. Сенсимонизм лег в основу наших убеждений и неизменно остался в существенном»,—писал он.

Сенсимонистские идеи в романе «Кто виноват?» приобрели острое революционное звучание. Изображая судьбу Софьи, мучительные переживания Любоньки, Герцен во весь рост поставил проблему освобождения

женщины. «Он первый,— говорит о нем Горький,— резко поставил вопрос о положении женщины в своем романе «Кто виноват?»! Это его идеи развивали впоследствии Тургенев, Авдеев, Марко Вовчок и другие» [1].

Показывая всю тяжесть, весь трагизм женского существования, Герцен недвусмысленно связывает бедственное положение женщины с общими условиями крепостной России.

Не менее острое политическое звучание приобретала в романе сенсимонистская идея «реабилитации плоти». «Человек так себя забил, что не смеет дать воли ни одному чувству»,— говорит Бельтов, и это является одним из итоговых заключений, прямо и непосредственно вытекающих из всей той действительности, которая показана в романе. Идея «реабилитации плоти» воплощала в себе страстную мечту Герцена о полной, радостной, земной жизни человека, мечту о всестороннем развитии его дарований, мечту о выпрямленном человеке, которому незачем таить и душить в себе лучшие свои стремления и потребности. Нет нужды доказывать, как резко контрастировала эта герценовская мечта с угрюмой действительностью, нет нужды доказывать, какой политический вывод из этого контраста напрашивался: чтобы осуществить мечту, надо переделать действительность. Критики реакционного лагеря хорошо почувствовали смысл жизненной программы, которая была развернута в произведениях Герцена, в том числе и в романе «Кто виноват?».

Отношение правительственных сфер и литературных реакционеров к роману нашло свое отражение в доносе Булгарина генералу Дуббельту. Разбирая декабрьскую книжку «Отечественных записок» за 1845 год, где были напечатаны четыре главы первой части романа, Булгарин пишет: «Книжка начинается повестью «Кто виноват?». Тут изображен отставной русский генерал величайшим скотом, невеждой и развратником. Жена его такая же дрянь. Генерал, будучи холостяком, взял к себе крепостную девку, прижил с ней дочь и, женившись, велел девке выйти замуж за камердинера, а дочь сослал в лакейскую. Жена генерала берет ее в комнаты. Эта девушка и учитель генеральского сына, негодяя,— героя повести. Дворяне изображены подлеца-

[1] Горький М. История русской литературы, с. 206.

ми и скотами, а учитель, сын лекаря, и прижитая дочь с крепостной девкой — образцы добродетели... Чтобы дворянство, поставленное в тень, было мрачнее, в книге набросаны социальные идеи». К доносу Булгарина Дуббельт добавил, что он находит «всю повесть предосудительной».

«Сын отечества», восхваляя художественные достоинства романа, очень неодобрительно отнесся к гоголевскому элементу, т. е. к сатирическим сторонам произведения. Со злобными нападками выступил Шевырев. В авторе «Кто виноват?» он видит личность, «излишне развитую во вред русским понятиям и русской речи». Под «русскими понятиями» Шевырев разумел охранительные идеи. «Кто виноват?» наносил этим понятиям сокрушительный удар, и не удивительно, что Шевырев ополчился против Герцена. Чтобы показать вред, наносимый романом русскому языку, Шевырев выписал все не понравившиеся ему выражения и назвал их «искандеризмами». Мысль Искандера, утверждал Шевырев, витает в отвлеченностях: «от нечего делать она будет бесплодно заботиться о том, как бы перестроить домашнюю жизнь людей, как будто бы эта жизнь может вытечь из какого-нибудь отвлеченного процесса... Не поймет она в своем сухом раздумье, что сила жизни нашей соткана из множества самолишений, что в ней все лучшее слагается из тайных самопожертвований... Бессознательно... увидит она в самом процессе жизни насилие и страдание, палача и жертву... Станет она против палача за жертву, но не поймет того, что путь к освобождению заключается не в ненависти к палачу, а в той бесконечной силе Любви, которая таится в жертве; что насилие должно быть обезоружено и побеждено любовью страдания; что не время уже в жертве возбуждать ненависть и гасить еще последнюю любовь, которую она хранит на спасение» [1]. Белинский справедливо увидел в этой «болезненной выходке» Шевырева «неспокойное отношение духа» и скорее больше нелюбви к противнику, нежели любови к русскому языку и литературе» [2].

Итак, философия самолишений и жертвенности, освящающая незыблемость существующих бытовых норм, философия любви к палачам и насильникам —

---

[1] Москвитянин, 1846, т. I, с. 188—189.
[2] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 10, с. 358.

у Шевырева; и философия жизни, разумной и человечной, сочувствие к угнетенным и ненависть к палачам и мертвым догмам христианской морали — у Герцена! Таков был истинный смысл жизненной программы Искандера, воплощенный в романе «Кто виноват?».

4

Великой любовью к человеку, страстными поисками социальной справедливости, жгучей ненавистью к насилию и угнетению, протестом против поруганного человеческого достоинства проникнут роман «Кто виноват?». Этими же особенностями отличаются и другие беллетристические произведения Герцена. В «Сороке-воровке» он с исключительной силой и мастерством показал не только страшные нравы крепостнической России, которые душат талантливого человека, убивают прекрасное и драгоценное в нем. Герцен один из первых в русской литературе показал потрясающую силу внутреннего сопротивления, созревающую в человеке. Во введении к знаменитому своему произведению «С того берега» Герцен восхищался русским народом, «который как-то чудно умел сохранить себя под игом монгольских орд и немецких бюрократов, под капральской палкой казарменной дисциплины и под позорным кнутом татарским, который сохранил величавые черты, живой ум и широкий разгул богатой натуры под гнетом крепостного состояния...» Герцену импонировало то, что в «Мертвых душах» Гоголь не упускает из виду «полную силы национальность». В противовес убеждениям славянофила, выведенного в «Сороке-воровке», что русская женщина покорна и безгласна, Герцен рисует в этой повести замечательный образ крепостной актрисы. В ней как раз и проявились те национальные черты, которые радовали и обнадеживали Герцена. Когда «безмерно отвратительный старик», ее владыка и господин, осмелился посягнуть на ее честь, она полностью оправдала свои слова: «Я слабая женщина, но я могу быть и сильной женщиной». Зная, чтó ожидает ее, она не пошла по унизительному и скорбному пути бесчисленного множества своих подруг. Ее гордость, энергию ее сопротивления, сознание собственного достоинства — Герцен рисует с величайшей симпатией и сочувствием.

Если в героине «Сороки-воровки» писатель показал могущественное обаяние протеста, несгибаемой воли, борьбы за личное достоинство, то в неоконченной повести «Долг прежде всего» Герцен вскрывает трагизм человеческой скованности, беспредельной рефлексии и догматического подчинения душевных порывов и стремлений предустановленному долгу. Повесть задумана была очень широко. В главном герое Герцену хотелось представить человека, «полного сил, энергии, способностей, жизнь которого тягостна, пуста, ложна и безотрадна от постоянного противоречия между его стремлением и его долгом. Он усиливается и успевает всякий раз покорять свою мятежную волю тому, что он считает обязанностью, и на эту борьбу тратит всю свою жизнь. Он совершает героические акты самоотвержения и преданности, тушит страсти, жертвует влечениями и всем этим достигает того вялого, бесцветного состояния, в котором находится всякая посредственная и бездарная натура». Действие повести должно было развернуться на широком историческом фоне. В плане у Герцена фигурируют и екатерининские вельможи, и эпоха Павла I — этого «бенгальского тигра с сентиментальными выходками,— и александровское поколение, и «осеннее царствование» Николая, который «износил, истер, исказил все хорошее» на Руси. Повесть не была закончена, но и те главы, которые написаны, полны такого яростного негодования, такого страстного возмущения крепостной, рабской, тюремной жизнью, что «Долг прежде всего» по праву можно поставить в ряду сильнейших произведений русской обличительной литературы XIX века. Неоконченная повесть представляет собой ряд блестяще выписанных портретов представителей помещичьего дома — Столыгиных. Перед нами опять-таки жуткий «зверинец» из самодуров, похотливых старцев, озверелых и угрюмых деспотов. Первым «ручным» представителем дома Столыгиных, несмотря на всю его «патриархальную дикость», писатель выводит Льва Степановича. Этот «ручной» феодал в «характерные» минуты бил своего камердинера Тита и посылал затем к барыне: «Поди, говорит, покажи ей свою рожу и скажи — вот, мол, как дураков учат, людей делают из скотов». У Льва Степановича не было детей, он сердился на это, как на беспорядок,— пишет Герцен,— и упрекал в минуты досады свою жену довольно оригинальным образом,

говоря: «У меня жену бог даровал глупее таракана; что такое таракан — нечистота, а детей выводит». При этом видно было гордое сознание, что он с своей стороны себя в этом не винит,— да и в самом деле, без вопиющей несправедливости мудрено было винить Льва Степановича, взяв во внимание хоть одно разительное сходство с ним поваровых детей». К бедным родственникам своим он относился «с холодным презрением и с оскорбительным высказыванием своего превосходства. Он их трактовал как мебель или вещь не очень нужную, но к которой он привык». В эпизоде, рисующем смерть Льва Степановича, Герцен открыто демонстрирует свою ненависть и презрение к этому «ручному» обитателю помещичьего зверинца. Лев Степанович однажды, употребивши рассольника с потрохами, жирной индейки и смочив все это кислыми щами, а затем освежившись арбузом и разгорячившись наливкой, пошел в кабинет уснуть. По дороге он застал дворового Митьку, разговаривающего с горничной Настей. Лев Степанович в припадке ревности бросился бить Митьку. Тот, однако, успел убежать. Погоня так потрясла барина, что когда вечером пришли будить его, застали следующую картину: «Старый барин лежал, растянувшись возле кровати, один глаз был прищурен, другой совершенно открыт с тупым и мутно-стеклянным выражением; рот был перекошен, и несколько капель кровавой пены текло по губам».

Такой же позорной и отвратительной рисует Герцен жизнь и смерть брата его, Степана Степановича.

Степан Степанович — образец «буколико-эротического помещика». С четырнадцатилетнего возраста «нежные чувства» поглотили всего его, и он избрал путь, которому остался верен до смерти. «В праздничные дни сгоняли после обедни крестьянских девок и баб на лужок перед домом для хороводов и песен. Степан Степанович, откушавши, выходил в сени в халате нараспашку, окруженный горничными, тут он садился, горничные готовили чай и обмахивали мух павлиновыми перьями. Благодетельный помещик угощал гостей цареградскими стручками, пряниками, брагой и грошовыми серьгами, иногда сам участвовал в хороводах, но чаще засыпал под конец; чай имел на него очень сильное влияние, хотя он и подливал французской водки, чтобы ослабить его действие».

Этот буколико-эротический помещик, посвятивший всего себя сложным взаимоотношениям с горничными, столь колоритно обставлявший свой досуг, употреблявший французскую водку, чтоб ослабить действие чая, был окончательно пленен некоей сельской «Брунегильдой» и женился на ней. Благочестивая жизнь, «страсть к наливкам и сладким водкам» взяли свое. «Лет через семь после бракосочетания синий Степан Степанович, отекший от водяной, полунемой от паралича, отдал богу душу».

Еще более зловещую фигуру представляет собой третий представитель дома Столыгиных — Михаил Степанович. Он был скуп до отвратительности, зверски деспотичен и «скрытно, прозаически, дешево развратен». «При всей своей скупости,— говорит о нем Герцен,— он серьезно имением не занимался, иногда только, без всякой нужды, он врывался в управление моряка (его управляющего), распространял ужас и трепет, брил лбы, наказывал, брал во двор, обременял совершенно ненужными работами — там дорогу велит проложить, тут сарай перенести с места на место».

История дома Столыгиных дана как история постепенного и физического и морального вырождения помещичьего рода. Герцен показывает, что общественный строй, основанный на рабстве, доводит и самих помещиков до последней степени дегенерации и маразма. Человек в этих условиях теряет все человеческое, он низведен до уровня животного. Потрясающий образ столыгинской жертвы, дворового Ефимки — дворника Михаила Степановича — дает писатель. «Пятьдесят второй год пошел с тех пор, как красивый, русый юноша Ефимка вышел в первый раз за эти ворота с метлою в руках и горькими слезами на глазах... Ефимка мел юношей, мел с пробивающимся усом, мел с окладистою бородою, мел с проседью, мел совсем седой и теперь метет с пожелтевшей бородой, с ногами, которые подгибаются, с глазами, которые плохо видят... К старости он сделался кротким, тихим зверем, страдавшим от холода и от боли в пояснице, веселившимся от сивухи и нюхательного табаку, который ему поставлял соседний лавочник за то, что он мел улицу перед лавочкой». Есть что-то наводящее ужас в этом превращении красивого русого юноши в кроткого и тихого зверя. Образ Ефимки органически связан с образами дегенерирующих помещиков. Он показан как

чудовищное следствие всей жизни, всей общественной практики Столыгиных. Рисуя Ефимку, Герцен бросал жгучее обвинение всей крепостнической России, низводящей человека до жалкого и позорного состояния. Слова Тургенева, сказанные по поводу «Былого и дум», вполне применимы к повестям и рассказам Герцена — это, действительно, «горит и жжет».

5

В своих историко-литературных статьях Герцен настойчиво подчеркивал, что он считает наиболее плодотворным и закономерным то течение в русской литературе, которое позднее Горьким названо было критическим реализмом. Герцен исходит при этом не из абстрактных, умозрительных предпосылок, а из конкретного анализа политического своеобразия России. Герцен считал, что литература у народа, не имеющего политической свободы,— единственная трибуна, с высоты которой он может заставить услышать «крик своего негодования и своей совести». Сложившееся таким образом влияние литературы на общество разрастается до размеров, которые литература других стран Европы давно утеряла.

Перед русской литературой, по мнению Герцена, лежали два возможных пути — путь восхваления императорской «цивилизации» и путь беспощадного отрицания. «Это последнее направление единственно соответствовало положению людей, находившихся между двумя нелепыми мирами, среди беспорядочной толчеи настоящего маскарада, где кишели самые вопиющие контрасты, где никто никого не признавал, где смешное переходило лишь в ужасное и свирепое» (17, 222).

Критический реализм «пускает корни в комедиях Фонвизина и достигает своего завершения в горьком смехе Грибоедова, в беспощадной иронии Гоголя и в отрицании новой школы, не знающем ни страха, ни границ» (17, 219). К этой фаланге «великих насмешников» принадлежал и Герцен.

Но критический реализм в понимании Герцена заключал в себе не только отрицание.

В корифеях русской литературы Герцен видел выразителей духовной жизни народа — его ненависти к неравенству и политическому гнету, его жизненной силы и богатых возможностей, его порывов к будуще-

му, его глубокой человечности. В критическом характере русской литературы Герцен справедливо усматривал здоровую и многообещающую силу жизнеутверждения. В нашем литературоведении долго держался взгляд, что критический реализм содержит в себе только элемент *отрицания.*

Образы «лишних людей» рассматривались лишь как трагическое выражение неразумных и нелепых исторических условий абсолютистской России. В высказываниях Герцена мы находим убедительное опровержение этого взгляда. В Онегине и Печорине выражена не только трагическая рефлексия, но и широта запросов, страстное и неукротимое стремление к «иному существованию». Герцен говорит об Онегине: «Это человек, испытывающий жизнь до самой смерти... чтобы посмотреть, не лучше ли она жизни» (17, 228). В беспощадном отрицании русской литературы Герцен видел «громадную силу возрождения». Сложное сочетание «сарказма и негодования» и «веры в будущее» Герцен отмечал в творчестве всех великих русских писателей, и в особенности Гоголя.

В своей борьбе — средствами художественного слова — против крепостной России Герцен продолжал традиции критического реализма. Влияние «Ревизора» и «Мертвых душ» без труда обнаруживается в его беллетристике. Следы этого влияния заметны были и современникам и по-разному оценивались ими. Любопытен в этой связи отзыв «Сына отечества» на роман «Кто виноват?».

«Давно уже не читали мы романа,— пишет рецензент,— который произвел бы на нас столь глубокое поэтическое впечатление, как роман г-на Искандера» [1].

Самым крупным изъяном романа рецензент считает подражание Гоголю. «Подражание Гоголю... есть важнейший грех книги. Уверяем почтенного автора, что одна патетическая страница его романа стоит дюжины таких карикатурных сочинений, каковы «Мертвые души»...

Если автор хотел дать более простора своему роману, поместить в нем широкую картину русского житья-бытья, то надлежало бы, по главной идее романа, выводить такие лица, которые бы не были похожи на героев Мертвых Душ... Из любви к изящному просим автора не подражать никому, всего менее *Гоголю!*» [2].

---

[1] Сын отечества, 1847, № 4, с. 29.

[2] Там же, с. 30—31.

Эта трогательная мольба — не следовать гоголевским традициям — особенно показательна именно для «Сына отечества», в представлении которого критический реализм автора «Мертвых душ» был равносилен революции и крамоле.

Но если уже современникам ясно было, что Искандер продолжает идейно-художественные принципы Гоголя, то вместе с тем беллетристика Искандера воспринималась и как нечто своеобразное, новое, непривычное. Белинский считал, что главная сила герценовского таланта — *могущество мысли.* Еще отчетливей специфика творческого метода Искандера определена была Белинским в той части его известного «Взгляда на русскую литературу 1847 года», которая посвящена была Гончарову. «Совершенную противоположность составляет с ним (с Герценом.— *Л. П.*)... автор «Обыкновенной истории». Он поэт, художник — и больше ничего. У него нет ни любви, ни вражды к создаваемым им лицам...» [1]. Эту любовь и вражду, этот остросубъективный элемент Белинский считал одной из определяющих черт творческого облика автора романа «Кто виноват?». К таким же выводам пришел «Современник», сравнивая «Сороку-воровку» Герцена с произведениями Григоровича. Искандер составляет совершенную противоположность по манере с г. Григоровичем. Он не следит, как тот, без устали за своим героем... Единственная цель его, единственная забота... состоит в наивозможно более ярком выражении основной идеи рассказа [2].

Вне зависимости от того, одобряли или порицали эту черту Герцена, она имела важное значение для судеб русской литературы.

Художественная проза его была дальнейшим развитием принципов гоголевской школы. Вслед за Гоголем Искандер показал чиновничье-помещичью Россию «без масок, без прикрас». Отношение Герцена к Гоголю в своих существенных чертах оставалось неизменным на всем протяжении его литературной и политической деятельности. Но в «Былом и думах» есть одно красноречивое место, свидетельствующее о том, что для Герцена не все в Гоголе было одинаково приемлемо.

«Гоголь приподнял одну сторону занавеси и показал нам русское чиновничество во всем безобразии его, но

[1] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 10, с. 326.
[2] Современник, 1849, т. XIII, с. 21.

Гоголь невольно примиряет смехом: его огромный комический талант берет верх над негодованием».

Мы оставляем в стороне вопрос о том, было ли справедливым это замечание или нет. Для нас важно другое: гоголевский творческий метод не полностью удовлетворял Герцена именно в силу того, что в нем есть примирительные начала. Отсутствие публицистической окраски, негодования, по терминологии Белинского — любви или вражды, было в глазах Герцена недостатком. Это станет особенно ясным, если сопоставить с оценкой гоголевского смеха замечание Герцена о том, что поэт всюду вносит свою личность, и чем вернее он себе, чем откровеннее, тем выше его лиризм, тем сильнее он потрясает ваше сердце.

То, что казалось странным и «ненормальным» в беллетристике Герцена — акцентирование личного начала, публицистическая обнаженность,— все это было не слабостью художника, а совершенно законным и внутренне осознанным свойством таланта. Публицистическая острота, художническая «откровенность», сила негодования, интеллектуализм были тем новым элементом, который привнес Герцен в литературу и которым он обогатил гоголевские традиции. Словесная живопись как самоцель, орнаментализм слова Герцена не интересовали. Могущество его литературного таланта проявлялось во всю мощь именно тогда, когда он выражал свою любовь или негодование: «Графиню Мавру Ильиничну явились поздравлять ее знакомые: люди, которые считались давно умершими, выползли из своих нор, где они лет тридцать упорно сражались со смертию и не сдались, где они лет тридцать капризничали и обирали деньги, хилые, разбитые параличом, с удушьем и глухотой» («Кто виноват?»).

«Генерал вставал в 7 часов утра и тотчас появлялся в залу с толстым черешневым чубуком; вышедший незнакомец мог бы подумать, что проекты, соображения первой важности бродят у него в голове: так глубокомысленно курил он, но бродил один дым, и то не в голове, а около головы» («Кто виноват?»).

«Гимназист всю дорогу ухаживал за Софи, и если б не помойного цвета прищуренные глаза его матери, то он, может быть, перещеголял бы Бельтова» («Кто виноват?»).

«Молдаванка хотела было просить Михаила Степановича позволить им остаться хоть в людской избе, но, встретив холодные глаза его с рыжеватыми ресницами,

она не смела вымолвить ни слова и пошла укладывать свои пожитки» («Долг прежде всего»).

Герцен неспособен бесстрастно и спокойно живописать мир. В любом элементе его художественного произведения — от эпитета, как правило, содержащего или эмоциональную, или логическую оценку, и до развернутого характера героя — виден автор, с его любовью и негодованием, с его открытым отношением к изображаемому.

«Я никак не намерен рассказывать вам слово в слово повесть любви моего героя: мне музы отказали в способности описывать любовь: о ненависть, тебя пою!»

Эта специфичность герценовского художественного видения мира проявляется даже в пейзажных зарисовках. Пейзаж у него не комментарий к переживаниям героя, гармонирующий или, напротив, контрастирующий с ним. Пейзаж приобретает ту или иную окраску, те или иные тона, в зависимости от того, какими глазами смотрит на него герой. «Мне было скверно, какая-то желчевая злоба наполняла душу; я пробовал и на дорогу смотреть, и по сторонам, и сигары курить — ничего не помогало. Да и как на смех небо было серо, ветер холоден, даль терялась за болотистыми испарениями, все виды, которыми я восхищался, ехавши сюда, были угрюмы; оттого ли, что я их видел в обратном порядке, или от чего другого, но только они меня не веселили».

Стремление писателя к максимальному выражению *личного начала* проявилось в жанровом своеобразии беллетристики Искандера. Герцен широко культивирует жанр «записок»: «Записки одного молодого человека», дневниковые записи Любоньки в «Кто виноват?»; повесть «Доктор Крупов», по сути дела, тоже представляет собой записки. Автор энергично вторгается в изображаемый мир. Он пытливо вглядывается в изменчивое и бурное движение жизни и стремится в мелких, будничных, неприметных ее проявлениях понять обобщающий смысл. «Истина логическая,— писал он в «Былом и думах»,— не одно и то же с истиной исторической, сверх диалектического развития она имеет свое страстное и случайное развитие, сверх своего разума она имеет свой роман».

Герцен стремится в страстном и случайном развитии жизни, в ее «романе» постигнуть ее логическую истину, ибо он убежден, что «в каждой задержанной

былинке несущегося вихря те же мотивы, те же силы, как в землетрясениях и переворотах, и буря в стакане воды, над которой столько смеялись, вовсе не так далека от бури на море, как кажется». Понятен отсюда и принцип построения многих его вещей, принцип, который он широко применил в своем шедевре — «Былом и думах».

Главы, писал он, скомпонованы по принципу мозаики в итальянских браслетах — «все изображения относятся к одному предмету, но держатся вместе только оправой и колечками». В «Сороке-воровке» эпизод с Анетой «обрамлен» спорами с славянофилом. В виде ряда эпизодов, иллюстрирующих одну мысль, построены рассказы «Скуки ради» и «Доктор, умирающие и мертвые». В конце концов и «Кто виноват?» и «Долг прежде всего» представляют собой ряд портретов и биографий, в которых Герцен с необыкновенной силой художника-мыслителя «прочитывает» историческую трагедию крепостнической России.

Огромные художественные возможности герценовской прозы во всю мощь развернулись в «Былом и думах». Не связанный никакими условными границами литературного жанра, он сумел развернуть в своих гениальных мемуарах поразительную по силе и яркости картину русских и европейских нравов, дать галерею современников, чьи портреты вырисованы им с неподражаемым блеском и законченностью, отразить целую полосу политических и философских исканий русской и западноевропейской социалистической мысли. В последующем развитии русской литературы такой охват исторических событий может быть отмечен только в «Жизни Клима Самгина» М. Горького. Вопрос об идейном составе и жанровых особенностях «Былого и дум» — особая и широкая тема для исследования.

Важно лишь отметить, что стилевое своеобразие художественной прозы Герцена, о котором говорилось выше, нашло в этих мемуарах свое ярчайшее выражение.

Все то новое и своеобразное, что внес Герцен своей художественной прозой в гоголевские традиции, имело большое принципиальное значение для русской литературы. Герцен расширил диапазон социально-политического воздействия художественного слова. Публицистический пафос его, интеллектуализм, «могущество мысли», острота социальной проблематики — все это в известной мере предвосхитило и открыло дорогу такому шедевру русского политического романа, как

«Что делать?» Н. Г. Чернышевского. В самом сопоставлении заглавий сказывается и преемственность и различие в поколениях русских революционеров. Герцен ищет виновного в социальной неправде, для Чернышевского этот вопрос решен. Свою задачу он видит в том, чтобы определить положительную программу действий. Роман Чернышевского отличается от беллетристики Искандера в той мере, в какой исторический оптимизм вождя крестьянской революции отличается от скептицизма и пессимизма Герцена, но нет сомнения, что роман «Что делать?» берет свое начало в художественной прозе автора «Кто виноват?».

В художественной прозе Герцена были потенциально заключены и те элементы, которые впоследствии с гениальной силой воплотились в сатире Салтыкова-Щедрина. Как мы уже видели, недостатком Гоголя Герцен считал отсутствие негодования. Публицистическое заострение гоголевской темы, обнажение сатирического замысла, стремление к обобщенному показу действительности, ее внутреннего смысла — все это предваряло и открывало дорогу «Господам Головлевым» и «Истории одного города». Перекличка между «Долгом прежде всего» и такими произведениями Щедрина, как «Пошехонская старина» и «Господа Головлевы»,— несомненна. Параллели могут быть проведены между очерками города Малинова и «Губернскими очерками». «Долг прежде всего» во многом предвосхитил знаменитые щедринские хроники дворянских домов. Здесь сходство обнаруживается и в тематике — деградация и вырождение помещичьего дома,— и в пафосе негодования против крепостничества, и в композиционном принципе — сочетание сцен, портретов, без традиционного сюжета — и в стремлениях к непосредственной и личной оценке жизни [1].

---

[1] Ср., например, обобщающую характеристику столыгинского существования у Герцена в повести «Долг прежде всего» и головлевского у Щедрина:

«Один-одинехонек жил Михайло Степанович в огромном и запустелом доме на Яузе. Что-то страшно угрюмое было в его существовании, он ни с кем не знался, редко выезжал, ничего не делал, был скуп до отвратительности и скрытно, прозаически, дешево развратен» («Долг прежде всего»).

«...И все в доме стихло... Чувствовалось что-то выморочное и в этом доме и в этом человеке: что-то такое, что наводит невольный и суеверный страх. Сумеркам, которые и без того окутывали Иудушку, предстояло сгущаться с каждым днем все более и более» («Господа Головлевы»).

Переключение гоголевского элемента в щедринский, пожалуй, наиболее отчетливо может быть обнаружено в цикле гротескных произведений Герцена, связанных с образом доктора Крупова. Творческий принцип Искандера — обнаружение логической истины в ее случайном и «страстном» проявлении — развернут в повести «Доктор Крупов» очень широко. Наблюдая самых разнообразных представителей человеческого рода, доктор Крупов приходит к выводу, что люди охвачены безумием. Повесть построена «концентрически». Сперва речь идет об отдельных проявлениях безумия. Герцен выводит ряд людей, наподобие «тупорожденного старичка», который вообразил, что он гораздо лучше докторов и смотрителей знает, как надобно за больным ходить, и всякий раз нес такую околесицу, что за него делалось стыдно. Потом это безумие Герцен показывает во внутрисемейных отношениях. Уродливыми и ненормальными, основанными на помешательстве, представлены отношения между людьми в целом городе: «В нашем городе считалось 5 тысяч жителей; из них человек двести были повергнуты в томительнейшую скуку от отсутствия всякого занятия, а четыре тысячи семьсот человек повергнуты в томительную деятельность от отсутствия всякого отдыха. Те, которые денно и нощно работали, не выработывали ничего, а те, которые ничего не делали, беспрерывно выработывали, и очень много». И наконец этот все более и более расширяющийся круг наблюдений приводит доктора Крупова к выводу, что вся история человечества есть не что иное, как связный рассказ родового хронического безумия и его медленного излечения. «Куда ни взглянешь в древнем мире, везде безумие почти так же очевидно, как в новом. Тут Курций бросается в яму для спасения города, там отец приносит дочь на жертву, чтобы был попутный ветер, и нашел старого дурака, который прирезал бедную девушку, и этого бешеного не посадили на цепь, не свезли в желтый дом, а признали за первосвященника... А что за белая горячка была, вследствие которой императоры гнали христианство... Как только христиан домучили, дотравили зверями, они сами принялись мучить и гнать друг друга с еще большим озлоблением, нежели их гнали... Кто не видит ясные признаки безумия в средних веках, тот вовсе незнаком с психиатрией. В средних веках все безумно... Ни одного здорового понятия не оставалось в средневековых го-

ловах, все перепуталось. Проповедовали любовь и жили в ненависти, проповедовали мир — и лили реками кровь». «История,— заключает доктор Крупов,— автобиография сумасшедшего».

В цикле произведений, связанных с образом доктора Крупова, выразились и политические, и философские позиции Герцена. Тему исторического безумия человечества мы встречаем у Искандера на всем протяжении его творчества. О людском безумии он говорит и в «Былом и думах», и в публицистике, затронута эта тема в таких произведениях, как «Поврежденный», «Доктор, умирающие и мертвые» и «Aphorismata». По поводу психиатрической теории д-ра Крупова...» (1869). Многие связывали постановку и разрешение этой темы со скептицизмом и пессимизмом Герцена, развившимися у него после поражения революции 1848 года. Но, как известно, «Доктор Крупов» был написан еще до отъезда за границу, до революции. Дело тут, стало быть, в другом. Еще в «Письмах об изучении природы» Герцен писал:

«Формы исторического мира так же естественны, как формы мира физического! Но знаете ли вы, что в самой природе — в этом вечном настоящем без раскаянья и надежды — живое, развиваясь, беспрестанно отрекается от миновавшей формы, обличает неестественным тот организм, который вчера вполне удовлетворял» (4, 2).

В цикле гротескных своих произведений Герцен выступает во всеоружии сатирика не только против крепостнической России, но и против всего общественного строя, основанного на неравенстве людей, на эксплуатации человека человеком, на безумии и неправде. В этих своих произведениях Герцен борется против реакционного истолкования гегелевской философии в духе знаменитой формулы: «все действительное — разумно».

«Историки,— писал он в «Aphorismata»,— будучи большей частью не врачами, не знают, на что обращать внимание; они стремятся везде выставить после придуманную разумность и необходимость всех народов и событий; совсем напротив: надобно на историю взглянуть с точки зрения патологии, надобно взглянуть на исторические лица с точки зрения безумия, на события — с точки зрения нелепости и ненужности».

Трагедия Герцена заключалась в том, что, прекрасно осознавая «неестественность» существующего порядка

вещей, понимая, что не все разумно в действительности и многое достойно в ней безжалостного уничтожения, он, однако, не видел реальных сил, способных осуществить мечту человечества о лучшем будущем. В этом смысле прав был Плеханов, когда он писал, что Герцен — «один из наиболее вдумчивых и блестящих представителей той переходной эпохи, когда социализм стремился сделаться „из утопии наукой“» [1].

Несмотря на всю необычность и парадоксальность, тот цикл произведений, о котором мы говорили, имеет свои аналогии в русской литературе. Достаточно вспомнить «Записки сумасшедшего» Гоголя. Или хотя бы те же «Мертвые души», которые в глазах Герцена были блестящей серией патологических очерков о «зверинце» из дворян и чиновников. Но в гораздо большей степени в этом цикле обнаруживается щедринский элемент. Публицистическая острота, гротеск и гипербола, беспощадная обнаженность сатирического замысла, резкость и сила обобщений — все это предвосхищало гениальные сатирические творения Щедрина. Нелишне отметить, что те скудные упоминания о Щедрине, какие имеются у Герцена, свидетельствуют о том, что талант Салтыкова был ему близок и дорог.

«В «обличительной» литературе,— пишет он,— были превосходные вещи. Вы воображаете, что все рассказы Щедрина и некоторые другие так и можно теперь гулом бросить с «Обломовым» на шее в воду? Слишком роскошничаете, господа!» (10, 13).

В письме к Огареву от 30 октября 1868 года, разбирая «Отечественные записки», он утверждает, что «Письма из провинции» Щедрина — «лучшая статья» в номере. А 14 марта 1869 года в письме к нему же он называет щедринскую «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» «прелестью».

Обличительный пафос щедринской сатиры был близок автору «Доктора Крупова».

После длительного перерыва в шестидесятых годах Герцен вернулся к беллетристике. Она примечательна во многих отношениях. Трудно согласиться с В. Путинцевым, который в своей книге «Герцен-писатель» явно преувеличивает ее значение в ущерб предше-

---

[1] Плеханов Г. В. Соч. М.; Л., 1926, т. 23, с. 445.

ствующим произведениям художественной прозы писателя. Происходит это у автора потому, что он неверно представляет эволюцию Герцена. У него получается, что революционным демократом Герцен стал только в шестидесятых годах. «Приход Герцена в лагерь революционной демократии, как это вытекает из слов Ленина, мог произойти только на основе признания им революционного народа в России, т. е. не ранее шестидесятых годов»[1]. И отсюда вывод автора: «Шестидесятые годы в идейной эволюции Герцена рассматриваются как период революционно-демократический...» Естественно с этой точки зрения придавать особое значение и беллетристике шестидесятых годов. Но дело все в том, что такое понимание эволюции писателя *противоречит* взглядам Ленина, а не вытекает из его слов. Ведь это Ленин говорил о Герцене сороковых годов: «Он был тогда демократом, революционером, социалистом»[2].

У нас нет никаких оснований умалять идейное значение беллетристических произведений Герцена сороковых и пятидесятых годов, перенося центр тяжести только на его произведения последнего периода. Вместе с тем в беллетристике шестидесятых годов, действительно, было много важного и нового, и об этом правильно сказано в книге В. Путинцева.

Прежде всего показательно, что рассказы Герцена этой поры целиком посвящены теме Запада, Европы, ее социальным контрастам, ее противоречиям, ее судьбам, ее будущему. Мысли об упадке европейской буржуазной цивилизации нашли здесь свое яркое выражежение. Характерны они и в стилистическом отношении. Это почти всегда беглые наброски, эскизы, обильно прослоенные отступлениями, раздумьями, историческими параллелями, намеками на современные события, итоговыми наблюдениями. Повествование о событиях всегда ведется в них от лица рассказчика, который выступает и как слушатель, и как комментатор. Построены они по тому же принципу, по которому построены «Былое и думы». Автор нанизывает сцены, как «нанизывают картинки из мозаики в итальянских браслетах,— все изображения относятся к одному предмету,

---

[1] Путинцев В. А. Герцен-писатель. М., 1952, с. 10.

[2] См. об этом рецензию А. С. Долинина «О книге В. А. Путинцева «Герцен-писатель»». — В кн.: Учен. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та, т. IX. Факультет языка и лит., вып. 3, Л., 1954, с. 305—323.

но держатся вместе только оправой и колечками». При всей внешней мозаичности герценовских вещей этого периода они отличаются своим внутренним единством.

Вот перед нами рассказ «Трагедия за стаканом грога» (1864). Рассказчик встречает в трактире знакомого слугу, который некогда преуспевал, затем разорился на банковском банкротстве и теперь, нищий и опустившийся, являет собой жалкое зрелище человеческого падения. «Я нагляделся,— пишет Герцен,— на столько несчастий, что сознаю себя знатоком, экспертом в этом деле, и потому-то у меня перевернулось сердце при виде обнищавшего слуги — у меня, видевшего столько великих нищих.

...Знаете ли вы, что значит везде и особенно в Англии слово нищий, beggar, произнесенное им самим? В этом слове заключается все: средневековое отлучение и гражданская смерть, презрение толпы, отсутствие закона, судьи, всякой защиты, лишение всех прав... даже права просить помощи у ближнего».

Рассказ проникнут скорбной думой о судьбе простого человека, которого буржуазная цивилизация, по существу, ставит вне закона только потому, что он нищий. Рассказ исполнен высокого чувства гуманности, столь присущего Герцену вообще.

В рассказе «Скуки ради» перед читателем возникают из пестрого жизненного потока самые разнообразные фигуры — они встречаются рассказчику в вагонном купе, он вспоминает о других встречах, о промелькнувшем лице, об услышанном эпизоде, о пережитом настроении. То возникает характерная фигура военного спутника, похожего на французского генерала Пелисье — ненавистника свободы и поклонника сильной власти. Вот другой попутчик — «свеженький старичок почти совершенно плешивый, с мягкими щеками, тонкими морщинками и очками, из-за которых продолжали смеяться серые прищуренные глаза». Это — доктор, и его рассказ образует центр всего произведения. Он делится с автором своей философией. Философия эта возникла под влиянием жизненных ударов и разочарований. Она основана на снисходительном презрении к человеческой подлости и глупости, на том, что бороться с безумием человечества — праздная затея: все равно из этого ничего не выйдет. Рассказы доктора

сами по себе исполнены жгучей боли. «Порассказал он мне,— пишет Герцен,— вчера удивительные вещи. Какой шут, однако ж, человек: живет себе припеваючи, зная очень хорошо, что за картонными и дурно намалеванными кулисами совершаются вещи, от которых волосы не станут дыбом разве у плешивых, у прежних помещиков и у юго-американских охотников по белым неграм».

Приведем один из рассказов доктора, возбудивших у автора это горестное замечание. Французские колонизаторы ведут изнурительную и бесплодную войну против арабов в Алжире. Жители одной из усмиренных деревенек в отместку за надругательства расправились с фузильером. Полковник приказал во что бы то ни стало разыскать убийцу. Но как его найти? И вот первого попавшегося араба выдают за виновника гибели солдата. Снарядили суд и беднягу расстреляли: «А уж потом как мы хохотали: убил-то фузильера не он, а другой».

Рассказ «Скуки ради», равно как и «Трагедия за стаканом грога», исполнены духа пессимизма и скепсиса. Девиз доктора «Моя философия все принимает», конечно, неприемлем для Герцена. Но вместе со своим персонажем писатель со скорбью и презрением, с болью и тоской размышляет над трагическим несовершенством мира. Третья глава рассказа, в которой автор предается размышлениям о глупости и бессмыслице человеческого устройства, достаточно в этом плане показательна.

Одновременно с рассказом «Скуки ради» Герцен написал некое продолжение своего «Доктора Крупова» под названием «Aphorismata». По поводу психиатрической теории д-ра Крупова. Сочинение прозектора и адъюнкт-профессора Тита Левиафанского».

Последователь доктора Крупова Тит Левиафанский распространяет мысли своего учителя на всю всемирную историю, видя в ней практическую иллюстрацию к тезису о неразумии миропорядка в целом. Заключая свои рассуждения, Тит Левиафанский восклицает:

«Кто надевал лавровые венки на свирепых, окровавленных бойцов, стоявших на грудах трупов? Кто отводил руку народа от сохи, дал ему вместо ее меч и сдеал его из пахаря земли пахарем смерти, убийцей по ремеслу, победителем и завоевателем... Кто?.. Будто

разум?.. Кто позволяет богатому наслаждаться всеми дарами и благами жизни возле масс голодных, холодных, оборванных? Кто вешает для порядка и кто ведет человека на казнь с поднятым челом и с гордостью, все равно, умирает ли он (по выражению одного немецкого стихотворца) за императора в красных штанах или за императора в белых штанах?..»

Тот дух скепсиса, тот дух разочарования в иллюзиях утопического социализма и буржуазной демократии, о котором говорил Ленин, проявился в произведениях этих лет отчетливо и ярко.

Последнее беллетристическое произведение Герцена «Доктор, умирающие и мертвые» (1869) — повесть об оскудении буржуазной революционности, о своеобразном величии и героизме якобинцев и ничтожестве их наследников, которых Герцен именует мертвыми. Убедительными представляются соображения В. Путинцева[1] о том, что в концовке повести, говоря о новых силах и людях, Герцен имел в виду могучий подъем революционной борьбы французского пролетариата, выразившийся позднее в героических деяниях Парижской коммуны. Повесть «Доктор, умирающие и мертвые» писалась примерно в то же время, что и «Письма к старому товарищу». Оба эти произведения знаменовали новые черты в мировоззрении Герцена — переход от иллюзий буржуазной демократии к суровой и непреклонной борьбе пролетариата.

Как это видно из предыдущего, художественная проза Искандера не была случайной прихотью талантливого публициста. Развивая дальше лучшие принципы критического реализма Гоголя, внося в него публицистический пафос, «могущество мысли» и резкость сатирических красок и обобщений, Герцен открывал дорогу и политическому роману Чернышевского, и политической сатире Щедрина. В художественной прозе Герцена блестяще сказалось то, что создало мировую славу русской литературе,— человечность, непрестанное и тревожное искание справедливости в социальных отношениях, борьба против порабощения человека в труде, в семье, в быту.

Заканчивая свою статью о Герцене, Ленин писал:

[1] Путинцев В. А. Герцен-писатель, с. 217.

«Чествуя Герцена, пролетариат учится на его примере великому значению революционной теории; — учится понимать, что беззаветная преданность революции и обращение с революционной проповедью к народу не пропадает даже тогда, когда целые десятилетия отделяют посев от жатвы...» [1].

Неузнаваемо преобразилась родина Герцена. Тот мир разума, человечности и социальной справедливости, о котором он страстно мечтал, воплощается в социалистической нашей действительности. Революционная проповедь Герцена дала прекрасную жатву, и народы Советского Союза с благодарностью и любовью будут вспоминать имя великого писателя, чье звонкое и пламенное слово в зловещей и скорбной тишине будило и звало к лучшей, счастливой жизни.

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 261—262.



ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО И. С. НИКИТИНА

1

Иван Саввич Никитин родился 21 сентября 1824 года в Воронеже, в семье торговца. Детство и ранняя юность поэта прошли в обстановке сравнительного материального достатка. Отец поэта Савва Евтихиевич был видным человеком в городе. Он владел свечным заводом, лавкой и вел довольно крупную торговлю.

Человек он был суровый и деспотический. В судьбе Никитина по-своему повторилась печальная участь Кольцова, жизнь которого тоже отравлена была диким самодурством отца.

Нам очень мало известно о ранних годах жизни поэта. В заметке о нем близкий его знакомый А. П. Нордштейн писал: «Ни братьев, ни сестер у Никитина не было; он рос один. Эта разобщенность с очень ранних лет приучила его к одиночеству, к размышлению; она же заставила его довольствоваться сначала фантастическим, сказочным миром, а впоследствии обратила к книгам, к чтению» [1].

Учился Никитин сперва в приходском и уездном духовных училищах, а затем в духовной семинарии. В «Дневнике семинариста» он нарисовал достаточно колоритную картину семинарских нравов. Воспоминания об «отвратительной обстановке детских лет» преследовали Никитина всю жизнь.

Признавая, что воронежская семинария в то время, когда там обучался Никитин, не могла похвалиться хорошим составом преподавателей, биограф поэта М. Ф. Де-Пуле, однако, добавляет, что она «еще была полна воспоминаниями о Сребрянском [2]; Кольцов,

[1] Отеч. зап., 1854, № 6, с. 57.
[2] М. Сребрянский — друг и учитель А. В. Кольцова, поэт.

умерший в 1842 году, был еще живым напоминанием о преждевременно погибшем юноше, возбуждавшем восторг в семинарской молодежи; огненные статьи Белинского, так близкого к Кольцову, читались с жаром и чуть не заучивались наизусть» [1].

В семинарии Никитин впервые познакомился со стихами Пушкина. Сильное впечатление произвел на него «Лес» Кольцова. В это время он сам начал писать стихи.

Окончить семинарию Никитину не удалось; торговые дела отца все больше и больше приходили в упадок. Савва Евтихиевич начал пить. Вскоре умерла мать поэта. Никитин стал пропускать занятия и в конце концов был уволен «по малоуспешности» и «по причине нехождения в класс». Юноша вынужден был торговать в лавке, а потом и на площади — с лотка. В 1844 году отец поэта продал свечной завод и приобрел постоялый двор. Никитин превратился в содержателя постоялого двора — «дворника». Современники рассказывают, что в это время он и по наружности преобразился в «дворника»: волосы подрезал в кружок, сапоги надел с голенищами до колен, летом носил простую чуйку, а зимою нагольный тулуп.

Но и в этот горестный период своей жизни Никитин не переставал писать. Позднее он рассказал, какой ценой давались ему первые шаги на литературном поприще и с какой энергией и настойчивостью он боролся с препятствиями на пути к овладению культурой: «Продавая извозчикам овес и сено, я обдумывал прочитанные мною и поразившие меня строки, обдумывал их в грязной избе, нередко под крик и песни разгулявшихся мужиков. Сердце мое обливалось кровью от грязных сцен, но с помощию доброй воли я не развратил своей души. Найдя свободную минуту, я уходил в какой-нибудь отдаленный уголок моего дома. Там я знакомился с тем, что составляет гордость человечества, там я слагал скромный стих, просившийся у меня из сердца. Все написанное я скрывал, как преступление, от всякого постороннего лица и с рассветом сжигал строки, над которыми я плакал во время бессонной ночи. С летами любовь к поэзии росла в моей груди, но вместе с нею

---

[1] Де-Пуле М. Ф. Иван Саввич Никитин. — В кн.: Никитин И. С. Соч., т. I. Воронеж, 1869, с. 10. (В дальнейшем ссылки на этот биографический очерк даются сокращенно: Де-Пуле.)

росло и сомнение: есть ли во мне хотя искра дарования?»[1].

Насколько сильны были эти сомнения, доказывает тот факт, что только в 1853 году, после нескольких лет напряженной работы, почти в тридцатилетнем возрасте, поэт решился опубликовать свои стихи за полной подписью. 12 ноября 1853 года Никитин отправил редактору «Воронежских губернских ведомостей» В. А. Средину письмо с приложением нескольких стихотворений. Автором их горячо заинтересовался Н. И. Второв, один из руководителей газеты, советник воронежского губернского правления, историк, этнограф и статистик, возглавлявший кружок воронежских интеллигентов. В своем письме к влиятельному чиновнику графу Д. Н. Толстому Второв писал: «Приложенные стихотворения были весьма хороши и заслуживали внимания как по мысли и теплоте чувств, так и по обработке стиха, необыкновенно звучного, гладкого и даже изящного... Вечером того же дня мы познакомились с поэтом: это молодой человек лет 27 с физиономией, весьма похожей на Шиллера (не шутя), бледный, худощавый, скромный, застенчивый, робкий»[2].

1853 год оказался поворотным в жизни Никитина. Никому неведомый доселе «дворник», живущий с вечно пьяным отцом и окруженный ямщиками, вышел на широкую дорогу литературной известности. Стихи его обратили на себя внимание. Он сблизился с кружком Второва. Им начали интересоваться «высшие сферы» воронежской администрации.

Благосклонное внимание обратил на Никитина по рекомендации Второва и Д. Н. Толстой. Он оказывал покровительство молодому поэту и выразил готовность издать его стихи на свой счет.

В 1854 году в июньском номере «Отечественных записок» была напечатана статья А. П. Нордштейна, она знакомила читателей с новым талантом, появившимся на Руси в том же самом городе Воронеже, который был «колыбелью и могилою Кольцова». В том же году в июльском номере «Библиотеки для чтения» была помещена статья Н. В. Кукольника «Листки из записной книжки русского», где также говорилось о Никитине.

---

[1] Никитин И. С. Соч. М., 1955, с. 302. (В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте указанием страниц.)

[2] Де-Пуле, с. 33.

Любопытным свидетельством того, как была воспринята поэзия Никитина критикой и читателями, может послужить восторженное письмо известного в свое время литератора и педагога Иринарха Введенского, адресованное Ивану Саввичу. Заканчивалось письмо пожеланием: «Продолжайте изучать русскую природу в самом ее источнике, продолжайте наблюдать Ваших собратий, исследовать их нравы и обычаи. Это самое благоприятное и возвышенное поприще, на котором гений Ваш никогда не встретит себе соперника. В этой сфере Вы будете великим всегда, и в этой только сфере сделаетесь Вы нашей гордостию, нашей национальною славою, блистательным украшением нашей национальной литературы» [1].

Вряд ли Никитин с его трезвым умом мог всерьез принимать эти панегирические строки. Но внимание, проявленное к нему, действовало на него окрыляюще, и характерно, что 1854 год был одним из самых продуктивных в его жизни. За короткое время он написал много лирических стихотворений и одновременно работал над поэмой «Кулак».

В 1856 году вышел первый сборник стихотворений Никитина, изданный графом Д. Н. Толстым. В 1858 году отдельной книгой опубликована была поэма «Кулак».

Несмотря на то, что Никитин к этому времени уже приобрел известность, в жизни его резче, чем когда бы то ни было, обозначились те же острые контрасты, которые так характерны были и для Кольцова: с одной стороны, напряженные духовные интересы, радостные минуты поэтического вдохновения, усиленный творческий труд, а с другой — изнуряющая и ненавистная работа на постоялом дворе, брань пьяного отца, торгашество и грязь. Чтобы найти выход из этого положения, Никитин задумал в 1858 году бросить «дворничество» и открыть книжную торговлю. Ему страстно хотелось, как он пишет в одном из своих писем, «отдохнуть, наконец, от пошлых, полупьяных гостей, звона рюмок, полуночных криков и проч. и проч.» (стр. 245).

Книжный магазин и библиотека при нем были открыты Никитиным в феврале 1859 года. Он ставил

---

[1] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского Дома) Академии наук СССР; фонд Де-Пуле.

перед собой не только коммерческие цели. Он хотел и в качестве книготорговца «служить обществу», распространяя среди читателей лучшие образцы литературы. Никитин действительно внимательно следил за книжными новинками и выписывал все самое значительное, что выходило из печати.

Наделенный от природы большой физической силой, Никитин надорвал свое здоровье в пору работы на постоялом дворе — в начале 50-х годов. Последние десять лет он с перерывами подолгу и серьезно хворал. Проболел он почти весь 1859 год. В начале 1860 года его здоровье несколько улучшилось, и Никитин, по совету Второва, летом этого года посетил Москву и Петербург. В конце 1860 года болезнь снова обострилась. Несмотря на тяжелое физическое состояние, Никитин принимал деятельное участие в общественной жизни Воронежа: выступал на литературных вечерах, был устроителем воскресных школ. В 1859 году вышел последний прижизненный сборник стихотворений поэта. Никитин продолжал много работать: в 1860 году закончил поэму «Тарас» и крупное прозаическое произведение «Дневник семинариста».

В личной жизни поэта большую роль в последние годы сыграла его любовь к Н. А. Матвеевой, дочери отставного генерала. Он познакомился с ней весной 1860 года. Между ними возникла дружба, а затем и взаимная любовь. Неясно, что помешало Никитину связать свою судьбу с этой женщиной. В 1860—1861 гг. между ними велась оживленная переписка. Письма Матвеевой к Никитину не сохранились — поэт сжег их незадолго до смерти. Письма же Никитина уцелели, и они дают довольно полное представление об этом коротком и весьма драматическом романе. У Никитина были и до знакомства с Матвеевой увлечения. Судя по некоторым свидетельствам, к нему была близка и его двоюродная сестра Анна Николаевна Тюрина. Но нет сомнения, что новое чувство, охватившее поэта, было очень сильным и серьезным. Матвеева отвечала ему полной взаимностью. Переписка между ними дает для суждения об этом достаточно красноречивый материал. Подтверждают силу этого чувства и стихи, посвященные Матвеевой. В стихотворении «На лицо твое солнечный свет упадал...» явно улавливается и сила чувства поэта и почти трагический мотив неизбежности разлуки:

Я не мог от тебя своих глаз отвести,
Одна мысль, что нам нужно расстаться,
Поглощала меня. Повторял я: «Прости!»
И не мог от тебя оторваться.

Понимала ли ты мое горе тогда?..

В сильных и страстных строках выражает свои переживания поэт...

Вот затих стук колес средь безлюдных равнин.
Улеглась за ним пыль за тобою;
И, как прежде, я снова остался один
С беспощадной, бессонной тоскою.

Догорела свеча. Бродит сумрак в углах,
Пол сияет от лунного света;
Бесконечная ночь! В этих душных стенах
Зарыдай, — не услышишь ответа...

Чем объяснить, что поэт отказался связать свою судьбу с Матвеевой? Возможно, Никитина останавливали какие-то нравственные обязательства перед Анной Тюриной? Биограф поэта Де-Пуле приводит многозначительный разговор с Никитиным в январе 1861 года, то есть в разгар романа с Матвеевой:

«Знаете ли что,— сказал он мне,— все мы подлецы ужасные.

— Это почему? — говорю.

— Да так... Вот хоть бы и я. Совестно признаться, а ведь мне нравится серьезно М-ва.

— Так что же? — говорю.

— Как что же? Да ведь это подло, а Анна-то?.. Эх-ма!..»

Возможно, Никитин с его высокими нравственными требованиями к себе, с его душевной чистотой не считал себя вправе нарушить свои моральные обязательства перед Анной Тюриной.

Переписка Никитина с Матвеевой — замечательная страница в биографии поэта. Никитин делится своими самыми задушевными мыслями о себе, о своей жизни, о литературе, о больших явлениях общественного бытия. В письмах явственно видны и глубокие чувства поэта и грустный мотив невозможности добиться счастья из-за неблагоприятных обстоятельств.

Когда в 1861 году Никитин заболел и Матвеева предложила свои услуги, чтобы ухаживать за ним, Никитин очень вежливо и вместе с тем довольно

категорично, хотя и с благодарностью, отклонил это предложение. Чувствуя приближение трагического исхода, Никитин составил духовное завещание и передал его Анне Тюриной.

Так и остался неоконченным этот роман, который был одной из самых светлых страниц в жизни поэта.

1 мая 1861 года Никитин простудился и слег. С перерывами проболел он до осени. Последние месяцы его жизни были ужасны. Все лето отец поэта «пил без удержу и не только не понимал положения Никитина, но безобразничал напропалую. Часто он пугал умирающего сына, врываясь в его комнату в пьяном, безобразном виде, босой и в одном белье» [1].

16 октября 1861 года поэт умер. Похоронен он в Воронеже, рядом с Кольцовым. В 1911 году в Воронеже Никитину был поставлен памятник.

2

Для каждого настоящего писателя литературное творчество есть всепоглощающая цель жизни, и она требует от поэта, романиста или драматурга всех сил его ума и сердца. Это общее правило вполне приложимо к Никитину. Для него поэзия тоже была любимым делом, она тоже отвечала непреодолимым потребностям его души и доставляла ему великую радость. И вместе с тем она была для него чем-то неизмеримо большим, чем просто любимый труд. Во всех высказываниях Никитина о себе и о своем литературном призвании постоянно звучит один мотив. В письме к Ф. А. Кони от 6 ноября 1853 года, то есть в самом начале своего творческого пути, он писал: «С раннего детства в душу мою запала глубокая любовь к литературе... В моей грустной действительности единственное для меня утешение — книги и природа...» Посылая на суд Кони свои стихи, Никитин со страстным нетерпением ждал приговора: «Если из приложенных здесь стихотворений Вы увидите во мне жалкого ремесленника в деле искусства, тогда сожгите этот бессмысленный плод моего напрасного труда! Тогда я пойму, что дорога, по которой я желал бы идти, проложена не для меня, что я должен всецело погрузиться в тесную сфе-

[1] Де-Пуле, с. 189.

ру торговой деятельности и навсегда проститься с тем, что я называл моею второю жизнию...» (стр. 209).

В письме, адресованном В. А. Средину, звучит тот же мотив: «Не знаю, какая непостижимая сила влечет меня к искусству... Какая непонятная власть заставляет меня слагать задумчивую песнь, в то время когда горькая действительность окружает жалкою прозою мое одинокое незавидное существование...» (стр. 210).

Условия жизни Никитина, богатой «разнообразной горечью», по словам самого поэта, были таковы, что литература представлялась ему единственной возможностью осознать себя человеком, вырваться из мертвящего плена затхлой, мещанской «грязной действительности», обрести высокую нравственную цель. При этом важно подчеркнуть: речь шла вовсе не о том, чтобы найти в литературной работе средства к существованию и тем самым освободиться от «тесной сферы торговой деятельности». Совсем нет — с точки зрения материальной поэзия почти ничего не давала Никитину. Поэт имел в виду духовное освобождение. Именно в этом смысле в литературе он видел «единственное утешение» и «вторую жизнь». Отсюда необыкновенно высокое представление о роли и назначении поэта, которое нашло свое яркое выражение в его стихах, отсюда же и та предельная искренность и непосредственность, которая так характерна для его поэзии.

Литературная деятельность Никитина охватывает период в двенадцать лет. Первые стихотворения его датированы 1849 годом; последние — 1861 годом. Это было время во многих отношениях знаменательное. Революция 1848 года на Западе и усиление николаевской реакции, разгром революционной организации петрашевцев, Крымская война и ее трагический исход, бурный подъем освободительной борьбы накануне реформы, волна крестьянских восстаний, расцвет «Современника» Некрасова, Чернышевского и Добролюбова, «отмена крепостного права» — все эти события так или иначе нашли свое отражение в творчестве Никитина.

В это время в русской поэзии резко обозначились две линии развития: гражданская, демократическая и революционная по своему существу, наиболее ярким выразителем которой был Некрасов, и школа «чистой» лирики, декларировавшая уход от актуальных проблем жизни в мир «вечной красоты» и «чистого искусства».

Разумеется, здесь речь идет лишь о крайних направлениях. Были в поэзии и сложные сплавы, для которых однозначные определения не годились. Важно отметить, что в эту пору творили талантливые художники, придававшие русской поэзии яркую многоцветность.

В многообразном литературном движении этого периода, в борьбе за поэзию большого социального звучания Никитин сыграл заметную роль. Уступая Некрасову и в поэтическом таланте, и в цельности и последовательности мировоззрения, Никитин тем не менее входит в число крупных представителей некрасовского направления.

Однако Никитин не сразу нашел себя. Ранние его литературные опыты отмечены чертами подражательности. Мотивы Лермонтова и Тютчева, Кольцова и Майкова без труда обнаруживаются в них. Так, стихотворение «Оставь печальный твой рассказ...» является подражанием стихотворению Лермонтова «Не верь себе». Стихотворение «Когда закат прощальными лучами...» воскрешает в памяти известное лермонтовское стихотворение «Когда волнуется желтеющая нива...»

Но само по себе указание на подражательный характер ранних стихов Никитина еще ничего не разъясняет. В письме к А. А. Краевскому сам поэт отмечал, что влияли на него только те произведения, которые были ему созвучны. В чем же состояло внутреннее содержание стихов Никитина в этот начальный период?

Они действительно часто носили подражательный характер, были нередко наивны. И все же нельзя пройти мимо попыток молодого поэта разобраться в больших проблемах бытия. С первых шагов поэзия Никитина была окрашена в грустные тона. В стихотворении «Лес» (1849) он говорит о скорби своей души и о горечи жизни обыденной. Условия личного бытия поэта давали достаточно обильный материал для тоски и уныния. Со стороны казалось, что, например, стихотворение «Еще один потухший день...» есть не что иное, как обычные вариации на ходовые темы лирической поэзии. Даже такой доброжелательный и компетентный критик, как Добролюбов, именно так оценил произведение. На самом же деле оно было продиктовано очень определенными и выстраданными чувствами, навеянными реальными условиями быта. И когда он писал: «Опять начнется боль души, на злые пытки осужденной, опять наплачешься в тиши измученный и оскорбленный»,—

это не было просто поэтической фразой, а выражало подлинные переживания поэта.

Да, жизнь Никитина давала ему обильный материал для таких мотивов. И все-таки скорбные мотивы в его поэзии не были просто результатом личных невзгод, а плодом размышлений, пусть иногда и наивно выраженных, над окружающим миром, над тем, что Писарев позднее назовет «страданиями человечества». С самого начала, как ни эволюционировала поэзия Никитина, писатель мыслил широко и задумывался над коренными вопросами жизни.

Характерно в этом смысле стихотворение «Поэту», датированное 1855 годом. В нем Никитин обличает лжепророков, которые упиваются собственными страданиями:

Нет, ты фигляр, а не певец,
Когда за личные страданья
Ждешь от толпы рукоплесканья,
Как милостыни ждет слепец;

Когда личиной скорби ложной
Ты привлекаешь чуждый взгляд...

«Личные страданья» в глазах Никитина не могут быть истинным предметом для настоящего художника. И далее он противопоставляет ложной скорби горести миропорядка вообще.

Мысли о роли и обязанностях поэта у Никитина внутренне связаны с более общей философской проблемой, с вопросом о человеке, о его сути и назначении, о его достоинстве, о смысле человеческой жизни вообще. На первых порах эти мысли переплетаются с религиозными настроениями, позднее, в новых общественных условиях поэт вернется к ним и решит их в ином плане.

В стихотворении «Н. Д.» он обращается к адресату:

Как человек, своей высокой цели
Не забывай в мучительной борьбе...

Он размышляет о судьбе человека в современном мире и под влиянием лермонтовской поэзии скептически оценивает будущее:

Наскучив роскошью блистательных забав,
Забыв высокие стремленья
И пресыщение до времени узнав,
Стареет наше поколенье.

Стал недоверчивей угрюмый человек;
Святого чуждый назначенья,
Оканчивает он однообразный век
В глубокой мгле предубежденья.

Конечно, эти поэтические декларации носили довольно абстрактный характер, и позднее поэт насытит их конкретным социальным содержанием. Однако уже и тогда в стихах Никитина на эту тему проступает некий важный мотив. В небольшой поэме «Моление о чаше», посвященной вариациям на темы евангелия, проскальзывает мысль о красоте и величии самопожертвования. Призвание человека — отдавать всего себя людям. Этот мотив во второй половине творческого пути поэта, освобожденный от религиозной окраски, приобретает социальную значительность и конкретность.

Следует, наконец, отметить, что мысли о назначении человека неотделимы у Никитина от довольно частых размышлений о мировом зле. Оно тоже в эту пору представлено в общих «размытых» контурах, и к нему тоже позднее вернется поэт.

В стихотворении «Тихо ночь ложится...» благостная природа противостоит человеческой жизни с ее горем и злом.

Заключительная строфа гласит:

Лишь во мраке ночи
Горе и разврат
Не смыкают очи,
В тишине не спят.

В другом произведении, «Тишина ночи», тема как бы подхватывается и находит свое дальнейшее развитие. Поэт рисует картину, где «горе и разврат» не просто названы, а раскрыты в своей сущности. Опять перед нами картина ночного покоя. «Город утомленный смолк во тьме ночной», но под покровом ночи разыгрываются сцены, полные страдания и горя. В домике, освещенном огнем, лежит покойник:

Он, бедняк голодный,
Утешенья чужд,
Кончил век бесплодный
Тайной жертвой нужд.

И тут же, у тела покойника, его дочь. Ей уготована бедственная участь:

И никто не знает,
Что в немой тоске
Сирота рыдает
В тесном уголке;
Что в нужде до срока,
Может быть, она
Жертвою порока
Умереть должна...

Нет ничего случайного в том, что к строкам подобного рода с повышенной подозрительностью относилась царская цензура.

Ранняя лирика Никитина тем и знаменательна, что сквозь все чужие голоса, сквозь все вариации, довольно традиционные для поэзии сороковых и пятидесятых годов, пробивается собственный голос поэта, заявлен свой взгляд на мир, выражены свой пафос, своя страсть и своя дума. Этим пафосом является мысль о человеке, о его достоинстве и счастье, идея социальной справедливости, страстная мечта о гармонии. В сущности, мысль о социальной гармонии, о счастье и благе человека станет лейтмотивом всего творчества Никитина.

Его волнует трагическое неустройство мира, контрасты, порождаемые нищетой и горем. Природа в философской лирике Никитина — это живое воплощение гармонии и счастья, которой противостоит жизнь человека с ее драмами и страданиями. В первом из известных нам стихотворений поэта «Тихо ночь ложится...» перед нами не просто пейзаж, картина природы, а некое синтетическое воплощение прекрасного в мире. И полным контрастом красоте, спокойствию, гармонии, царящим в природе, выступает человеческая жизнь.

В стихотворении «Зимняя ночь в деревне» опять антитеза: зимнее село освещено весело сияющим месяцем, белый снег сверкает синим огоньком. Но как контрастирует с этой воплощенной красотой бегло набросанная сценка: больная старуха предается горестным размышлениям о судьбе ее малых детей, которых она уже видит сиротами.

Эти мысли о неустройстве жизни, о противоречии между прекрасным, как будто заложенным в самой природе вещей, и человеческим горем и страданием сочетаются в ранней лирике Никитина с религиозными мотивами. Поэт хочет найти успокоение своим тревогам в идее всеобщей, предустановленной, божественной гармонии бытия. В одном из стихотворений 1849 года он писал:

Присутствие непостижимой силы
Таинственно скрывается во всем...

Это незримое присутствие божественного провидения поэт усматривает во всех явлениях природы и человеческой жизни.

Он упорно возвращается и к этой мысли:

Когда один, в минуты размышленья
С природой я беседую в тиши, —
Я верю: есть святое провиденье
И кроткий мир для сердца и души.
И грусть свою тогда я забываю,
С своей нуждой безропотно мирюсь,
И небесам невидимо молюсь,
И песнь пою, и слезы проливаю...

Если во всем есть таинственное божественное провидение, стало быть, оно оправдывает и горе, и страдание, и несчастье, и несправедливость, какие выпадают на долю людям. Такой вывод, казалось бы, неизбежно следовал из идеи божественной гармонии бытия.

Но Никитин был живым, отзывчивым человеком. И, отдавая дань религиозной метафизике, он в полном противоречии с ее доктринами писал стихи, в которых никак не соглашался мириться со злом, с неправдой, с горем:

Весь день душа болела тайно
И за себя и за других...
От пошлых встреч, от сплетен злых,
От жизни грязной и печальной
Покой пора бы ей узнать.
Да где он? Где его искать?..

Нет, не находил поэт душевного покоя в религиозной метафизике, в спасительных мыслях о божественном предопределении. Как будто споря с самим собой, он восклицал: «Где этот покой, где его искать?» — и ответа не находил.

Никитин вступил в поэзию с чувством протеста против зла мира, с чувством скорби по поводу человеческих страданий, с горячей и страстной жаждой счастья «и для себя и для других».

Стремление к постановке вопросов широкого философского плана — существенная особенность Никитина. Это тем более важно отметить, что в некоторых работах, посвященных поэзии середины XIX века, проскальзывает мысль, будто бы поэты школы «чистого искус-

ства» занимались философскими проблемами, а гражданская поэзия была погружена в текущую злобу дня, обслуживала только политические интересы повседневной действительности. Конечно, известная доля истины в этом есть. «Мировые проблемы» у некоторых поэтов школы «чистого искусства» выражали стремление отвлечься от насущных тревог, от острейших противоречий современности. Но все же водораздел между двумя направлениями в лирике середины XIX века пролегал не в этой области. Можно было откликаться на самые злободневные темы современности и оставаться ретроградом, можно было стремиться к постановке мировых проблем и выражать свои гражданские демократические воззрения. Так было с Никитиным. Весь вопрос был в том, каков угол зрения поэта. В критике не без основания указывалось, что Никитин одно время находился под влиянием Аполлона Майкова, одного из адептов поэзии «чистого искусства», в творчестве которого, кстати говоря, нашла широкое отражение проблема утраченной гармонии. Но как он решал ее?

Свое недовольство действительностью Майков выражал в противопоставлении современной жизни античной древности, в которой видел олицетворение гармонии, воплощение «золотого века» человечества. Разумеется, такое решение не очень отвечало страстному стремлению к общественным преобразованиям, столь характерному для бурной эпохи шестидесятых годов. Никитин, конечно, был несравненно ближе к живым потребностям времени, чем, скажем, Аполлон Майков. Но и он во многих произведениях ранней поры стремился ненавистную ему мещанскую действительность эстетически преодолеть путем создания прекрасного, идеального мира. Сам Никитин так объяснял особенности своего творчества: «Не вдруг колодник запоет о своих цепях: физическая боль, мрак и сырой воздух тюрьмы остановят до известного времени поэтическое настроение. Воображение бедняка поневоле перенесется за крепкие стены и нарисует картины иного, светлого быта» (стр. 219—220).

Попытка эстетически преодолеть действительность толкала Никитина на проторенные литературные пути, возвращала его к традициям романтизма. Вместе с тем и этот ранний период творчества был для Никитина хорошей школой мастерства. Он учился у больших поэтов подлинной поэтической культуре.

Никитину близок был протестующий характер лермонтовской поэзии. Но в то время как страстный протест Лермонтова выражал ненависть мятежной личности к реакционному режиму в стране, к тирании и бесправию, Никитин противопоставлял горю, суете и бессмыслице человеческого существования мудрую гармонию природы. Отсюда и принцип композиционного построения многих его ранних пейзажных произведений. Его пейзаж в этот период — это не единая и целостная картина природы, как она предстоит чувственному созерцанию, а цепь специально отобранных картин, подчиненных логическому заданию и предназначенных иллюстрировать определенный тезис. Так построено стихотворение «Тихо ночь ложится...». Здесь и ночь, которая ложится на вершины гор, и облака, плывущие в бесконечной цепи над глухой степью, и густой лес, покрытый сумраком и в тишине глубокой стоящий над широкой рекой, и светлые заливы, что в камышах блестят, и голубое небо. И всем этим мирным картинам противостоит картина людского горя и разврата.

В сущности говоря, картины природы у Никитина в это время не столько запечатлевали реальный пейзаж, сколько давали некий образ мироздания в целом. Природа — наставница и друг, она единственный источник прекрасного и истинного, только в ней можно обрести душевное спокойствие, только в ней можно найти утешение от грязи и пошлости низменной действительности,— так трактуется эта тема Никитиным.

В связи с этим находились и мысли Никитина о бренности и призрачности человеческой жизни с ее страстями, честолюбием, тщетными усилиями и недостижимой мечтой о счастье. В стихотворении «Похороны» отчетливо звучит этот мотив. К чему жизнь, страдание и борьба, если «отведена царю природы сажень земли между могил».

Но уже и в этот период в поэзии Никитина разрабатывались иные мотивы, предвещавшие будущего яркого выразителя демократической поэзии.

Как уже было сказано, в ранних стихах поэта зрела и развивалась мысль о страданиях и противоречиях жизни, о человеке и его предназначении. В ряду этих произведений выделяется стихотворение «Мщение», написанное тем песенным, народным стихом, который ввел в поэзию Кольцов. В нем Никитин впервые с гневом и страстью говорит о крепостном праве. Крестьянин под-

жигает барскую усадьбу и убивает помещика из чувства мести за поруганное человеческое достоинство. В этом стихотворении некрасовская линия в поэзии Никитина начинает проявляться отчетливо и ярко.

При всем том мотивы, которые звучат в «Мщении», прямых аналогий с поэзией Некрасова того времени не имеют. Никитин разработал их самостоятельно. Это доказывает, что развитие обоих поэтов при всех различиях, которые их разделяли, шло в известном смысле параллельно, образуя то, что можно назвать некрасовским направлением,— вершинным явлением русской демократической поэзии середины века.

3

На этом пути, однако, Никитину пришлось преодолеть немало преград. Во всех откликах на ранние стихи поэта неизменно возникало воспоминание о Кольцове. Знаменитый земляк Ивана Саввича скончался совсем недавно. В судьбах поэтов угадывалось много общего. Но и в их творчестве и в их биографиях были и существенные различия. Обстоятельства благоприятствовали Кольцову. Среди его друзей и наставников мы видим таких людей, как Белинский и Станкевич.

Никитин же на самых ранних ступенях литературного развития попал в среду, таившую в себе многие опасности для него. Вице-директор департамента полиции Д. Н. Толстой, воронежский губернатор Долгоруков и его жена, страстная поклонница религиозных стихов Никитина, настоятельница воронежского монастыря Смарагда, купец Рукавишников — таково было окружение, в котором Никитин очутился в 1854 году. Понятно, что оно всячески поддерживало и укрепляло консервативные черты мировоззрения поэта.

Никитина пытались идеологически воспитать в духе официальной «народности». Его толкали на путь казенного благонравия. Д. Н. Толстой проявлял в этом отношении особое усердие. По его настоянию Никитин написал верноподданнические письма Александру II и членам царствующего дома и поднес им свою книгу, получив в благодарность за это бриллиантовый перстень и золотые часы. Толстой пытался оказывать влияние и на идейную направленность творчества поэта. Хотя Никитин зачастую внутренне сопротивлялся деспотическому навязыванию литературных и идейных принци-

пов извне, все же эти попытки не остались бесследными.

В эти годы поэт сблизился с кружком воронежских интеллигентов, главой которого был Николай Иванович Второв. Роль этого кружка в творческой биографии поэта, как и в культурной жизни Воронежа, была, несомненно, значительной. Кружок в немалой степени содействовал приобщению Никитина к большой литературе. В этом кружке были люди прогрессивных убеждений. Судя по материалам, которыми мы располагаем, к ним принадлежали П. А. Придорогин и Н. И. Второв. Рассказывая о вечеринках, которые устраивались на квартире Никитина, Де-Пуле говорит о Придорогине: «Протестантом и радикалом был он страшным (конечно, на словах), когда речь заходила о крепостном праве: чего-чего не говорил он тут! каких не сочинял ужасов! До 1857 года почти ни одна наша беседа не обходилась без его горячих филиппик» [1].

Даже учитывая тенденциозность и ироничность этой характеристики, принадлежащей человеку отнюдь не прогрессивных взглядов, следует считать бесспорным, что Придорогин мог оказывать на Никитина благотворное влияние. Когда Придорогин умер, Никитин писал о нем: «Итак, теперь в Воронеже меньше одним из самых лучших людей. Я хорошо знал моего друга. Знал его горячую любовь к добру, любовь ко всему прекрасному и высокому, его ненависть ко всякой пошлости и произволу...» (стр. 270).

Человеком прогрессивных убеждений был и Второв. Он видимо стремился расширить кругозор Никитина. Известно, например, что Второв знакомил его с литературой о декабристах [2]. Сам поэт испытывал к Второву чувство глубочайшей благодарности и всячески подчеркивал, сколь многим он обязан ему. В стихотворении, датированном 1856 годом, есть такие строки:

Как другу милому, единственному другу,
Мой скромный труд тебе я посвятил.
Ты первый взор участья обратил
На музу робкую, мою подругу.
Ты показал мне новый, лучший путь,
На нем шаги мои направил...

---

[1] Де-Пуле, с. 89.

[2] См. письмо Никитина к Второву от 11 июня 1854 года, в котором упоминается «книжка о 14-м декабря» (с. 211).

Второв действительно содействовал обращению Никитина к темам и материалу окружающей действительности. Во второвском кружке шла своеобразная борьба за Никитина. А. П. Нордштейн с нескрываемым раздражением сетовал на то, что Никитин плохо поддается «благонамеренным» влияниям и что повинен в этом Второв.

Но если Придорогин и Второв, судя по всему, оказывали благотворное воздействие на Никитина, то такие участники кружка, как Де-Пуле и Нордштейн, стремились внушить поэту консервативные, охранительные идеи. О сущности общественно-политических взглядов Де-Пуле достаточно красноречиво свидетельствует хотя бы написанная им в начале шестидесятых годов прокламация [1], в которой он повторяет все грязные клеветнические инсинуации о русских революционерах.

Аналогичную общественную позицию, по сути дела, занимал Нордштейн, толкавший Никитина на путь восхваления самодержавия. Он пытался приобщить поэта к числу ревнителей «чистой поэзии» и всячески стремился внушить ему отрицательное отношение к некрасовскому направлению [2].

Разнородные влияния, которые испытывал Никитин, отразились в его поэзии. В стихотворениях «Сладость молитвы», «С. В. Чистяковой» поэт говорит о религии как утешительнице в страдании и горе. Произведения подобного рода снискали Никитину симпатии у воронежского губернатора и его окружения.

Насколько противоречивы были взгляды Никитина в этот период, можно судить по его стихотворениям о Крымской войне.

Война глубоко взволновала Россию. Русская армия, солдаты и матросы показали на полях сражения отвагу, героизм и стойкость. Лев Толстой в «Севастопольских рассказах» запечатлел поразительную душевную силу русского воина, блистательно проявившую себя в боях с врагом. Но война была проиграна. Весь строй абсолютизма и крепостничества обнаружил свою трагическую несостоятельность. В ходе войны поэт посвятил ей стихи: «Война за веру» (1853), «Донцам» (1854), «На взятие Карса» (1855) и др. В них звучат

---

[1] Фонд Де-Пуле.

[2] Письма А. П. Нордштейна к Никитину неопровержимо свидетельствуют об этом.

неподдельное патриотическое чувство, твердое убеждение в силе народа, которую никогда не удастся сломить врагам России. Но в стихах проскальзывают и ложные шовинистические ноты. Поэт поддался официальной пропаганде, которая сводила цели и смысл войны к борьбе между православием и мусульманством, поскольку на стороне антирусской коалиции была Турция. В некоторых случаях Никитин даже как будто полемизирует с теми поэтами, которых он свято чтил. Так, у Лермонтова в его знаменитом стихотворении «Родина» сказано, что поэт любит свою отчизну не за «славу, купленную кровью». Никитин, может быть, и не умышленно, противопоставляет этой поэтической формуле прямо противоположную: «Таков удел твой, Русь святая, величье кровью покупать...».

Таким образом, искреннее патриотическое воодушевление уживалось в поэзии Никитина с порывами, глубоко чуждыми прогрессивной русской литературе. Добролюбов к этим стихам отнесся отрицательно. В конкретных условиях русской действительности такая оценка была вполне объяснимой. Но наряду с теми тенденциями, которые Добролюбов порицал, в них было и живое, искреннее чувство любви к родной земле, чувство гордости ее мужеством, убеждение в непобедимой силе русского народа. Наиболее известным из произведений подобного рода является стихотворение «Русь». Недаром оно пользовалось особой популярностью в годы Великой Отечественной войны.

В период сближения Никитина со второвским кружком обозначился поворот поэта к темам окружающей действительности. В поэзии Никитина появляются черты своеобразного этнографизма, зарисовки колоритных особенностей быта. Так, в стихотворении «Купец на пчельнике» Никитин тщательно выписывает внешние детали быта и облика своих персонажей. Вот портрет «пчелинца»: «Рубашка на нем из крученой холстины, а ноги в онучах и в новых лаптях». Характерна сценка: «пчелинец» беседует со сватами, пришедшими к нему:

Перед ними, на белой разостланной тряпке
Ведро деревянное с квасом стоит,
Желтеется мед в неокрашенной чашке
И черного хлеба краюха лежит...

Это стихотворение Никитин снабжает примечаниями, которые подчеркивают этнографическую достоверность всех деталей изображенного им быта.

В ряду произведений, щедро оснащенных этнографическими описаниями быта, народных верований, обычаев, стоит стихотворение «Неудачная присуха», повествующее о безуспешной попытке молодого парня приворожить возлюбленную. К ним можно отнести и стихотворение «Ночлег извозчиков».

Никитин создает и произведения, которые по своему жанру могут быть названы идиллиями. Это стихи о благостной, умиротворяющей природе и о таких же чистых, простых и мудрых людях. Наиболее примечательны из этих произведений «Вечер после дождя», «Лесник и его внук», «Подле реки одиноко стою я под тенью ракиты...», «Буря». Образ природы как друга и наставника, фигурировавший в самых ранних произведениях Никитина, здесь представлен в новых своих качествах и проявлениях; человек слит с природой, растворяется в ней и обретает в ней новую силу.

Однако наиболее ярко самостоятельная поэтическая мысль Никитина проявлялась в тех стихотворениях, которые затрагивали темы социальных противоречий. Примечательно в этой связи широко известное его стихотворение «Жена ямщика» — простой и трагический рассказ о гибели ямщика, о горе его семьи, брошенной на произвол судьбы и обреченной на нищету и голод. Не менее значительно одно из прекрасных по художественной выразительности стихотворений Никитина «Бурлак» — повесть о том, как крестьянин потерял жену и сына, как это выбило его из привычной колеи и как он, чтобы не погибнуть, не опуститься нравственно, уходит в бурлаки. В этом стихотворении впервые, пожалуй, в русской литературе показаны бурлаки; замечательно оно и тем, что в бурлацком быте Никитин увидел своеобразную поэзию: стремление к свободе, молодецкую удаль и душевный размах. Позднее Некрасов в стихах, посвященных бурлакам, пойдет дальше и выразит гневный протест против горестной участи порабощенного народа.

Демократические симпатии поэта проявляются все более отчетливо. В стихотворении «Три встречи» он заговорил о трагической участи падшей женщины. Эту тему затронул в гениальном своем создании Некрасов («Еду ли ночью по улице темной...»). И примечательно, что Никитин прямо раскрывает причины падения своей героини. Это пороки общественного устройства: бедность и нищета, разорение...

Та же социальная тема разработана и в стихотворении «Рассказ крестьянки». Гибель мужа, нужда, голод, беспомощное состояние одинокой женщины — таковы обстоятельства, вынудившие ее выйти замуж за нелюбимого человека. Теме народного горя посвящено и стихотворение «Уличная встреча». И хотя Никитин еще не поднимается до осознания более общих причин социального неустройства, все же не подлежит сомнению, что в середине пятидесятых годов им был создан ряд прекрасных стихотворений, проникнутых подлинно демократическим духом.

4

Известно, что первый сборник Никитина встретил отрицательный отзыв Н. Г. Чернышевского в «Современнике». Отметив некоторую поэтическую выучку автора, критик увидел главный изъян его поэзии в отсутствии самобытности и в игнорировании жизненного материала, который давала поэту окружающая действительность.

Чем был вызван этот резкий приговор? Разумеется, немалую роль сыграло то, что реакционные литературные круги стремились выдать Никитина за главного выразителя народных чаяний. В условиях пятидесятых годов это можно было понять как попытку противопоставить умеренность Никитина революционной поэзии Некрасова.

Самобытным народным поэтом величал Никитина Кукольник. Чуть ли не единственным преемником Кольцова изображал его Нордштейн. В предисловии к сборнику Д. Н. Толстой утверждал, что поэзия Никитина сосредоточивает в себе все элементы народного духа. И характерно, что определяющей чертой этой поэзии Д. Н. Толстой считал отсутствие в ней следов «байроновского отчаяния». В устах Д. Н. Толстого это означало, что Никитин чужд революционной страсти и энергии. Чернышевский в своей рецензии прямо полемизирует с этим апологетическим отзывом.

Крайне существенно для понимания тона и направленности рецензии Чернышевского то немаловажное обстоятельство, что сборник 1856 года давал о Никитине неполное и даже одностороннее представление. Те новые тенденции в его творчестве, которые могли бы импонировать Чернышевскому, были представлены в

книжке весьма скудно. В числе шестидесяти одного стихотворения в подавляющем большинстве были ранние вещи, а между тем в него не вошли такие вещи, как «Мщение», которое было опубликовано уже после смерти поэта, «Рассказ ямщика», «Рассказ крестьянки». Таким образом, издание 1856 года выставляло Никитина в невыгодном свете.

Однако в этом же сборнике Чернышевский заметил и такие черты, которым принадлежало будущее. Перечисляя поэтов, стихам которых Никитин подражает, Чернышевский упоминает имя Некрасова. В рукописи рецензии имеется фраза, исключенная из печатного текста: «Из г. Некрасова взяты также многие стихотворения» [1]. Возможно, Чернышевский считал эти мотивы нехарактерными для Никитина, не придавал им серьезного значения и потому выбросил эти слова из печатного текста, лишь глухо упомянув Некрасова в ряду других поэтов, которым Никитин подражал. Но факт таков, что в сложном взаимодействии поэтических влияний, отразившихся в стихах Никитина, Чернышевский правильно уловил мотивы некрасовского творчества. Эти мотивы оказались более значительными и принципиальными, чем мог предположить Чернышевский.

Его рецензия произвела на Никитина тягостное впечатление. В письме к А. А. Краевскому от 20 августа 1856 года он писал: «Г. рецензент говорит, что автор не видит окружающего его мира, сомневается даже, есть ли у него сердце, иначе, дескать, оно сочувствовало бы окружающему миру, а это сочувствие вызвало бы наружу нечто новое... всеобъемлющий г. рецензент упустил из виду примирение автора с горькою действительностью: оно совершается не так скоро... Конечно, в настоящее время я сознаю смешную сторону моего заоблачного полета, но он был естествен, он был неизбежен, покуда не явилось это сознание» (стр. 219—220).

В словах Никитина не только полемика и раздражение: судя по его последней фразе, он сам понимал, что предшествующий этап его деятельности заключал в себе немало заблуждений. Рецензия Чернышевского, прямая и резкая, быть может, даже не во всем справедливая, помогла, видимо, Никитину отчетливей постигнуть ложные тенденции его поэзии; она укрепляла в

---

[1] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15-ти т. М., 1939—1953, т. 3, с. 839.

нем мысль о необходимости упорной и настойчивой борьбы за самобытность, за правду жизни. «В первом собрании моих стихотворений действительно много дряни»,— писал он Майкову в 1858 году (стр. 234). Эта резкая и откровенная самооценка знаменовала большой внутренний рост поэта.

Любопытно, что вместе с упомянутым выше письмом к Краевскому Никитин послал стихотворение «Пахарь». Оно должно было как бы опровергнуть категорические суждения Чернышевского о безжизненности и абстрактности поэзии Никитина и вместе с тем подчеркнуть ту творческую линию, которая теперь стала у него господствующей.

5

Вторая половина пятидесятых годов отмечена была бурным общественным подъемом, большими историческими переменами. Смерть Николая I воспринималась как некое символическое знамение. Завершилась целая эпоха в истории России. Наступали новые времена. Каковы-то они будут? Этот вопрос задавали себе все мыслящие люди России. Молодой Писарев в весьма умеренном либеральном журнале «Рассвет» писал в 1859 году: «Прошло уже более трех лет после заключения парижского мира, события последней великой войны обратились для нас в прошедшее и мы рассуждаем об этом прошедшем, обсуживаем его без горечи и без увлечения, разбирая наши ошибки и отыскивая, объясняя себе причины этих ошибок» [1]. Писарев добавлял, что наше общество «требует себе не лести, а правды».

Н. Бакунин несколько позднее так характеризовал обстановку в стране: «Россия оттаяла, вздохнула впервые после тридцатилетнего николаевского мороза и с молодою энергиею заговорила о необходимости возобновления... Надо было восстановить силу и славу России. Но какими средствами ее восстановить?..» [2].

Редактор одного из передовых журналов того времени, «Русское слово», Г. Благосветлов так рисовал международную обстановку: «Везде заметно неудовольствие настоящим и ожидание лучшего в будущем: везде

---

[1] Рассвет, 1859, дек., с. 75.
[2] Колокол, 1862, 15 февр., № 122—123, с. 1021.

чувствуется потребность обновить ветхого человека, изменить отживший порядок общества»[1]. Благосветлов писал об Италии, но имел он в виду прежде всего Россию.

В письме к А. Майкову от 25 марта 1856 года достаточно ярко отразились настроения самого Никитина: «Пал наш Севастополь, хотя и славно его падение!.. Не знаю, как Вы — я рад миру. Довольно мы показали блистательного мужества в борьбе с врагами, но довольно сознали и свою отсталость от современного европейского просвещения.

После битвы с внешним неприятелем пора нам наконец противостать врагам внутренним — застою, неправде, всякой гадости и мерзости. Пошли нам, господи, победу, твердую волю и мудрость обожаемому государю».

Это сочетание искренней и горячей ненависти к застою, гадости и мерзости с упованием на мудрость Александра II не было личным заблуждением Никитина. Напомним, что многие передовые люди России разделяли в ту пору подобные иллюзии.

«Колокол» Герцена мощно и сильно звучал на всю Россию. «Современник» становился все более влиятельной революционной трибуной. Крестьянские волнения нарастали. Самые различные слои общества были исполнены ожидания перемен. Одни отстаивали путь постепенных мирных реформ, другие боролись за коренное революционное преобразование всей социальной структуры страны. Реакционные силы стояли за сохранение старых порядков.

Какова была позиция Никитина в этом сложнейшем переплетении политических взглядов, страстей и интересов?

Никитин с его трезвым реалистическим взглядом на окружающий мир прежде всего выступал решительным противником либерального пустословия, которое в ту пору заявляло о себе как нельзя громко и высокопарно. Ему претили экзальтированные декламации на тему о наступившей эпохе всеобщего счастья и благоденствия. В стихотворении, датированном 1857 годом, он пишет:

Покой мне нужен. Грудь болит,
Озлоблен ум и ноет тело.

---

[1] Рус. слово, 1861, февр., с. 1—2.

Все, от чего душа скорбит,
Вокруг меня весь день кипело.

Куда бежать от громких слов?
Мы все добры и непорочны!
Боготворить себя готов
Иной друг правды безупречный!..

...Быть может, в воздухе весь вред, —
Чему бы гибнуть — процветает,
Чему б цвести — роняет цвет
И жалкой смертью умирает.

Одно из стихотворений этого времени так и названо поэтом — «Разговоры». Оно начинается словами, звучащими иронически:

Новой жизни заря —
И тепло и светло;
О добре говорим,
Негодуем на зло.

За родимый наш край
Наше сердце болит;
За прожитые дни
Мучит совесть и стыд.

Что нам цвесть не дает,
Держит рост молодой, —
Так и сбросил бы с плеч
Этот хлам вековой!

Все это очень хорошо, — как бы говорит поэт. Но все это никак не подкрепляется делами.

А приходит пора
Добрый подвиг начать,
Так нам жаль с головы
Волосок потерять:

Тут раздумье и лень,
Тут нас робость возьмет...
А слова... на словах
Соколиный полет!..

При всем том поэт верит в исторический прогресс, в поступательное движение родины. Он пишет:

Медленно движется время —
Веруй, надейся и жди...
Зрей, наше юное племя!
Путь твой широк впереди.
Молнии нас осветили.
Мы на распутье стоим...

Мертвые в мире почили,
Дело настало живым.

Конечно, эта программа носила несколько отвлеченный характер. Но она во многом смыкалась с мыслями и чаяниями лучших людей России, и прежде всего с теми, кто понимал абсолютную невозможность сохранения старых крепостнических порядков.

Все, писавшие о Никитине, останавливали внимание на том, как отнесся поэт к самой реформе 1861 года. Вопрос об отмене крепостного права самым живым и непосредственным образом волновал его.

Никитин не мог не заметить того, что крестьянство не удовлетворено пресловутой реформой и что социальных противоречий она не разрешила, но надлежащих выводов отсюда он все же не делал. Он не понимал что реформа, осуществленная руками крепостников и в угоду крепостникам, носила грабительский характер. Никитин говорил, что его огорчило то равнодушие, с которым городское население встретило манифест, и что освобождение крестьян будет лучшею страницей в истории царствования Александра II.

Но общественный подъем тех лет захватил и его. В письме к К. О. Александрову-Дольнику от 9 сентября 1857 года он говорит, что сборник 1856 года — для него пройденный этап: «Издание моей книжки решительно было для меня несчастием... Разумеется, отдавая графу Д. Н. Толстому мою рукопись, я первоначально радовался, но граф продержал ее у себя, или где бы там ни было, два года; в продолжение этого времени взгляд мой на многое изменился» (стр. 229).

«Взгляд мой на многое изменился» — так сам поэт определяет свою духовную эволюцию.

Душевно обогащаясь, испытывая значительные перемены, Никитин вместе с тем, как и всякий подлинный художник, оставался верен себе, и в тех сложных изменениях, какие претерпевала его поэзия, мы обнаруживаем внутреннее единство. Он по-прежнему пристально вглядывается в трагические неустройства жизни, и по-прежнему его поэзия проникнута мечтой о справедливости, о счастье, о гармонии, о человеке и его назначении. Но теперь он эти свои заветные чаяния, раздумья и тревоги выражает по-иному. Он приходит к выводу, что эстетическое преодоление «грязной действительности» ничего не сулит. Он, как и Кольцов,

убеждается, что предметом поэзии может и должен быть окружающий мир во всей его прозаической повседневности; и, наконец, им все больше овладевает мысль о том, что поэзия должна не преображать жизнь в сладостной мечте, а служить делу практического преобразования этой жизни на началах справедливости и всеобщего счастья.

Лейтмотив поэзии Никитина — тема социальной справедливости — развивается глубже и конкретней. Если раньше контрасты жизни носили некий всеобщий, «космический», универсальный характер и заключали в себе роковую неизбежность, если раньше человеческая жизнь в целом противостояла некой мыслимой и неосуществимой гармонии, то теперь поэт видит вопиющую несправедливость в самих условиях общественного бытия.

Насколько значительны и серьезны были перемены в мировоззрении Никитина, можно видеть из сравнительного анализа нескольких его стихотворений, созданных в разное время на одну и ту же тему. В 1854 году поэт написал стихотворение «Бобыль». Оно отличается своими демократическими тенденциями, но лишено социально-политической остроты. Бедность, одиночество и бездомность и вместе с тем душевный размах — вот характерные черты его героя.

В 1858 году Никитин снова вернулся к этому стихотворению, но так радикально переделал его, что, в сущности, получилось совершенно новое произведение. Изменилась вся тональность стихотворения, весь его внутренний смысл. Если раньше бобыль еще видел какую-то опору в богаче и обе социальные силы — народ и имущие классы — сосуществовали в стихотворении «Бобыль» как «параллельные», в крайнем случае посторонние друг другу силы, то в «Песне бобыля» народ и имущие классы даны как антагонистические начала; угрозой звучат слова бобыля по адресу богачей в конце стихотворения.

Не менее показательно сопоставление двух других стихотворений, общих по своей теме,— «Старый мельник» (1854) и «Гнездо ласточки» (1856). Первое характерно своими идиллическими интонациями, заканчивается оно словами утешения, обращенными к мельнику:

Не тужи, старик!
Было пожито.
Хоть не сын, так внук
Вспомнит дедушку!

Есть на черный день
В сундуке казна,
В крепком закроме
Хлеб некупленый.

В стихотворении «Гнездо ласточки» Никитин снова возвращается к образу мельника. Но как изменилась трактовка этого образа теперь! Характерно, что верный социальный аспект не сразу был найден Никитиным. В первом варианте стихотворения мы читаем о герое: «Сам мельник-то и сед и крут, ворчит он сплошь на бедный люд» и т. д.

И только в окончательной редакции возникает образ жестокого хищника и эксплуататора:

В пыли, в муке, и лыс, и сед,
Кричит весь день про бедный люд:
Вот тот-то мот, вот тот-то плут...

Сам, старый черт, как зверь глядит,
Чужим добром и пьян, и сыт;
Детей забыл, жену извел;
Барбос с ним жил, барбос ушел...

От идиллического благонравия, от картин «светлого быта» помину не осталось. Сейчас поэту ясна вся жестокая истина о голодающем, нищем мужике, о страдальческой жизни городской голытьбы, обо всех унижениях и муках, которые неизбежно сопутствуют жизни бедняка. Некрасовские мотивы все явственней звучат в творчестве Никитина.

Исходный путь никитинской поэзии — мысль о несправедливости, царящей в мире,— наполняется конкретным социальным содержанием: народ, являющийся творцом всех материальных ценностей, лишен необходимого, насущного, а трутни и насильники пользуются всеми благами земли. Эта мысль ярко выражена в стихотворении «Пахарь»:

С ранней зорьки пашня черная
Бороздами подымается,
Конь идет — понурил голову,
Мужичок идет — шатается...

Уж когда же ты, кормилец наш,
Возьмешь верх над долей горькою?
Из земли ты роешь золото,
Сам-то сыт сухою коркою!

В письме к Краевскому Никитин подчеркивал, что из цензурных соображений он в этом стихе «смягчил истину». Мотивы, выраженные в «Пахаре», а также в «Сохе», вызвали особо резкие нападки на поэта со стороны его былых поклонников из второвского кружка.

Вслед за Кольцовым Никитин вводит в поэзию простых людей из народа. Но если Кольцов главным героем своего творчества избрал крестьянина, то Никитин расширяет круг персонажей. У него наряду с пахарем, деревенской беднотой фигурирует бурлак, ямщик, городская голытьба. От прежнего своего понимания «прекрасного, от традиционных и общепринятых литературных условностей и абстракций Никитин пришел к конкретному раскрытию повседневных будничных трагедий в жизни народа. Его «простонародные» стихи, как он их сам называл, лишенные всяких следов искусственной приподнятости, производили сильное впечатление своей суровой и обнаженной правдой.

О том, насколько приблизился Никитин к лагерю революционной демократии в последний период жизни, можно судить хотя бы по нескольким стихотворениям той поры, не предназначавшимся к печати и увидевшим свет лишь в 1906 году. В них нетрудно уловить даже революционные мотивы.

Крепостническую Россию поэт характеризует следующими словами:

Тяжкий крест несем мы, братья,
Мысль убита, рот зажат.
В глубине души проклятья,
Слезы на сердце кипят.

Русь под гнетом, Русь болеет;
Гражданин в тоске немой;
Явно плакать он не смеет,
Сын об матери больной!

Нет в тебе добра и мира,
Царство скорби и цепей,
Царство взяток и мундира,
Царство палок и плетей.

Поэт протестует против безропотной покорности и долготерпения и возвышается даже до оправдания революционного действия:

Уж всходит солнце земледельца!..
Забитый, он на месть не скор;
Но знай, на своего владельца
Давно уж точит он топор...

Обращение к народной жизни требовало от поэта и выработки соответствующих художественных средств. Чутьем художника поэт понимал, что жизнь народа таит в себе богатые источники поэтической выразительности и что нельзя изобразить эту жизнь, пользуясь традиционными приемами книжной лирики. Поиски сомнения Никитина хорошо выражены в его письме к А. Н. Майкову от 17 января 1855 года. Он спрашивает Майкова: «Не ошибаюсь ли я, исключительно обратившись к стихотворениям в простонародном духе?.. Некоторые говорят, что произведения подобного рода (разумею, не лирические, но взятые в виде отдельных сцен) прозаичны по своей положительности, что поэзия собственно состоит в образах, в романтизме, даже в некоторой неопределенности» (стр. 215).

И далее Никитин уже не столько спрашивает совета у Майкова, сколько излагает свои взгляды, явно враждебные эстетике «чистого искусства»: «Нет ничего легче, как написать стихотворение вроде следующего по содержанию: березы дремлют над водою, трава благоухает, даль тонет в прозрачной сини, где-то слышатся мелодические звуки кузнечика и т. п. ...привязать к этому какую-нибудь мысль — и картина готова. Не так легко даются стихотворения простонародные. В них первое неудобство — язык! Нужно иметь особенное чутье... чтобы избегать употребления слов искусственных или тривиальных, одно такое слово — и гармония целого потеряна. Достоинство их то, что они, по моему мнению, могут быть или верными очерками взятого быта и нравов, или показывать свой собственный угол зрения низшего класса народа. Неужели подобные вещи лишены жизни, своего рода истории и общечеловеческого интереса? С этим мне трудно согласиться. Может быть, внешняя форма избрана мною ошибочно, но форма более искусственная дает более простора фантазии, а я, напротив, стараюсь сколько возможно ближе держаться действительности!» (стр. 215).

Конечно, то, что Никитин просит совета у Майкова, свидетельствует о наивной непосредственности молодого поэта, который в ту пору, видимо, не совсем отчетливо представлял литературную позицию Майкова. Он был для Никитина просто большим авторитетом в делах искусства. Но, адресуясь к Майкову, он, как уже

было указано, спорит, по существу, и с теорией «чистого икусства».

Среди стихотворений Никитина зрелого периода можно установить в основном три жанровых разновидности. Это то, что можно было бы назвать лирическими монологами — стихи на философские, общественно-политические и литературные темы; во-вторых, это пейзажные стихи и, в-третьих, стихотворные новеллы, произведения из народной жизни. Разумеется, это деление условно и относительно, но в каждой из этих разновидностей есть свои специфические черты.

В стихах о народной жизни талант Никитина раскрылся с наибольшей силой. Именно они доставили поэту широкую популярность. Произведения этого рода почти всегда сюжетны. В основе их лежит рассказ о событии. К жанру стихотворной новеллы Никитин обратился еще в раннюю пору. Тогда он написал «Рассказ крестьянки», «Рассказ ямщика». К 1856 году относится «Рассказ моего знакомого». Этот жанр, несомненно, привлекал Никитина прежде всего возможностью объективных описаний. С тяготением к повествовательной манере связаны ритмические особенности поэзии Никитина. Показательно, что из двухсот с лишним его стихотворений около ста написано дактилем, анапестом и амфибрахием — трехсложными размерами, которые у Никитина оказались наиболее приспособленными для выражения разговорной интонации.

Прокладывая свой путь в искусстве, упорно преодолевая шаблоны и ходячие истины «чистой» поэзии, для которой быт социальных низов был предметом, недостойным художника, Никитин обращался к жизни народа, вырабатывал свой собственный подход к использованию средств народной поэзии.

Примечательно, что в самый ранний период творчества Никитин усваивал средства фольклорной поэтики главным образом через Кольцова. Но художественная манера Кольцова сообщала им такой индивидуальный отпечаток, что в стихах Никитина они воспринимались как прямое подражание. В дальнейшем от имитации особенностей кольцовского фольклоризма Никитин отходил все больше. «Видно, этим размером мне не суждено писать. Так и быть! Честь имею кланяться этому размеру» (стр. 214),— писал он, имея в виду фактуру стиха Кольцова.

По мере того, как складывалась собственная никитинская поэтическая интонация, вырабатывался его самостоятельный метод использования средств народной поэзии. В пейзажных стихах и в лирических монологах фольклорный элемент у Никитина либо вовсе отсутствует, либо содержится в весьма незначительной дозе. Зато в стихах из народной жизни он представлен чрезвычайно богато. Правда, ритмика этих стихов (чаще всего трехсложные размеры) не фольклорного происхождения, но зато лексика, синтаксис, образность, вся система художественной символики прямо и непосредственно связана с народной поэзией. Параллелизмы и постоянные эпитеты, уменьшительные слова и метафоры Никитин щедро черпал из нее.

Уже с начала XIX века начался важный процесс сближения книжной поэзии с фольклором. Мерзляков, Дельвиг, Цыганов и особенно Кольцов много сделали в этом направлении. На этом пути поэзия Никитина означала дальнейший шаг. Он не имитировал фольклор, не подражал его внешним формам, но добивался внутреннего синтеза, органического сплава элементов книжной поэзии, ее жанров и приемов с поэтикой народного творчества.

Отличным образцом такого внутреннего слияния книжной поэзии с символикой народного творчества может служить знаменитая песня из стихотворения «Хозяин»:

На старом кургане, в широкой степи,
Прикованный сокол сидит на цепи.
Сидит он уж тысячу лет,
Все нет ему воли, все нет!
И грудь он когтями с досады терзает,
И каплями кровь из груди вытекает.
Летят в синеве облака,
А степь широка, широка...

Прямого соответствия в фольклоре этой песне нет. Но образ сокола со связанными крыльями, образ, который так сильно запечатлен в лирике Кольцова, восходит к народной поэзии. На основе фольклора Никитин сумел создать символическое обобщение большой силы. Если вспомнить, что стихотворение написано было в начале шестидесятых годов, когда в стране готовились отметить тысячелетие России, образ прикованного сокола, который томится уже тысячу лет, приобретал острое политическое звучание.

Большого мастерства достиг Никитин и в жанрах

пейзажной лирики. По богатству и разнообразию красок, по живому ощущению силы и величия природы многие стихи Никитина стоят на уровне лучших образцов русской классической поэзии. Но если раньше пейзаж Никитина носил абстрактный характер, причем поэт пользовался им лишь для того, чтобы создать контрастный фон для «грязной» и «горестной» действительности, то в зрелую пору творчества картины природы у Никитина насыщаются более реальными красками, все меньше становится в них нейтральных, «литературных» красот. Живописная сила Никитина-пейзажиста особенно проявилась в таких произведениях, как «Утро», «В темной чаще замолк соловей...», «Поездка на хутор», и других.

Природа у него не психологизирована, а дана в объективном описании. Не столько настроения, создаваемые ландшафтами, сколько красота самого пейзажа интересуют поэта. Он подчеркивает в природе живописность, праздничность, яркость и разнообразие красок.

Отсюда преобладание зрительных эпитетов, метафор и сравнений: «На цветах роса *изумрудная*», «Небо ясное *голубым* шатром пораскинулось» («Весна в степи»), «*Белый* снег сверкает *синим* огоньком» («Зимняя ночь в деревне»), «Помню я вечер весенний, *розовый* блеск облаков» («Три встречи»), «Над полями вечерняя зорька горит, *алой* краскою рожь покрывает; *зарумянившись*, лес над рекою стоит» и т. д.

Стремление к объективному описанию определило и принцип композиционного строения пейзажных стихотворений: сочетание картин в пространственной или временно́й последовательности или же сопоставление природы и человеческой жизни.

Поэзия Никитина находит свою истинную сферу. Поэт становится самобытным художником, он освобождается от консервативных и религиозных настроений; гражданские мотивы, мотивы социального протеста становятся преобладающими в его творчестве. Зреет и крепнет его поэтическое мастерство.

7

Идейный и художественный рост Никитина выразился не только в разработке стихотворной новеллы на темы народной жизни, но и в создании социально-бытовой поэмы. Для развития и укрепления демократиче-

ской поэзии, для утверждения некрасовского направления это было явлением принципиально важным.

Поэзия «чистого искусства» имела дело с замкнутой областью лирических переживаний и созерцаний поэта. Уход от реальной действительности мешал созданию подлинного эпоса. На этой почве поэма с современной тематикой развиваться не могла. И вполне закономерно, что именно в демократической поэзии пятидесятых и шестидесятых годов, и в особенности в поэзии Некрасова и Никитина, этот жанр обрел новую и содержательную жизнь.

Об этом неопровержимо свидетельствует социально-бытовая поэма «Кулак» (1854—1857). Проблематика ее определялась теми философскими предпосылками, которые лежали в основе произведения. Напомним, что в раннем творчестве Никитина фигурировала некая общая категория, которую уместно было бы назвать миропорядком. Можно было этим миропорядком возмущаться, видя его несовершенства и контрасты, можно было, подавляя свой протест, искать успокоения в идее божественного предопределения. Теперь же вместо абстрактной и универсальной категории миропорядка поэт выдвигает конкретное понятие социальной среды, общественных условий, которые окружают личность, формируют ее и либо благоприятствуют раскрытию заложенных в ней добрых и светлых начал, либо нравственно калечат и губят ее.

Никитин много и упорно размышлял над ролью и значением среды в человеческой судьбе. В письме к Матвеевой от 27 марта 1861 года есть, например, такие строки: «Люди — всюду люди, есть в них много хорошего, много есть и подленького, низкого, грязного. Вините в последнем их воспитание, окружающую их среду и проч. и проч.,— только менее всего вините их самих» (стр. 294).

Эти мысли о роли обстоятельств и среды в формировании человеческого характера обусловили многие важные особенности «Кулака».

В поэме явно выражено автобиографическое начало. Многими чертами своего характера, некоторыми обстоятельствами жизни Лукич напоминает отца поэта. Никитин щедро использовал в произведении свои личные впечатления. Надо сказать, что замысел поэмы был весьма смелым и даже рискованным. Избрать героем большого стихотворного повествования заурядного

человека, или, точнее сказать, человека, примечательного лишь своими плутнями и неудачами,— на это не всякий поэт отважился бы. Следует, впрочем, оговориться, что Никитин не свел свою поэму к одним только злоключениям героя. Он раздвинул рамки повествования и нарисовал широкую картину нравов, жизни и быта большого провинциального города со всеми его контрастами. Перед нами как бы социальная «анатомия» этого города.

Вступительная часть первой главы звучит торжественно и местами напоминает патетические строки пушкинского «Медного всадника». Очевидно, это объясняется тем, что в начальных стихах поэмы воссоздается величавая, эпическая картина одного из южных форпостов России, созданных тем же Петром, которому посвятил свою поэму и Пушкин. Никитин рисует облик большого города Воронежа, который вознесся громадами каменных домов, живет кипучей и деятельной жизнью. И полным контрастом этому служат «избенки бедняков». Поэт сравнивает их с нищими в нарядной толпе:

В дырявых шапках, с костылями,
Они ползут по крутизнам
И смотрят тусклыми очами
На богачей по сторонам.

Так тема противоречия между нищетой и богатством служит как бы введением в повествование.

В одном из таких домишек «горюет» с женой и дочерью герой поэмы Карп Лукич. Такова экспозиция произведения. В ней заключена и завязка последующих драматических событий.

Лукич — мелкий торгаш, с трудом перебивающийся всякого рода плутнями. Его дочь Саша, красивая и умная девушка, любит соседа — столяра Васю. Но отец ни за что не хочет выдать за него свою дочь. «Сосед наш честен, всем хорош,— рассуждает он,— да голь большая — вот причина». Лукичу хочется выгодным браком дочери поправить свои дела. Выбор его останавливается на преуспевающем купце Тараканове. Несмотря на любовь Саши к Васе, несмотря на все муки влюбленных, вынужденный брак состоялся. Однако надежды и расчеты Лукича потерпели полный крах. Ему пришлось заложить дом, чтобы снарядить приданое дочери. Зять оказался черствым и жадным торгашом. Он

даже и слышать не хотел о том, чтобы помочь тестю. Лукич вынужден оставить свой дом и перебраться в жалкую конуру. Он прибегает даже к кражам. Все это он делает для того, чтобы как-нибудь прокормить свою полуголодную семью. От горя и непосильного труда умирает его жена Арина. В заключительных эпизодах мы видим пьяного и несчастного Лукича, одинокого и брошенного. Единственный человек, который протягивает ему руку помощи,— это тот самый Вася, чье счастье он так безжалостно растоптал.

Таков простой и естественно развивающийся сюжет поэмы. В нем и нашла выражение мысль о зависимости человеческого поведения от условий жизни. Лукич, доказывает Никитин, не был лишен хороших задатков. Но среда, условия его бытия оказались таковы, что это хорошее заглохло в нем и, напротив, в его натуре проявились порочные черты. Эти отрицательные качества своего героя Никитин рисует прямо и открыто. Лукич — кулак. Слово это употреблено поэтом не в его современном значении. В словаре В. И. Даля дано одно из значений этого слова, которое имел в виду Никитин: «перекупщик: переторговщик, особенно в хлебной торговле, на базарах и пристанях, сам безденежный, живет обманом, обсчетом, обмером».

Лукич душевно черствый человек. Он готов пресмыкаться перед сильными мира сего, и вместе с тем он без конца тиранит своих родных. Его «философия» проста и цинична: «На то, к примеру, в море щука, чтоб не дремал карась».

Но, рисуя этот во многих отношениях отталкивающий образ, Никитин вместе с тем призывает к снисходительности. Он доказывает: по сути дела, не сам Лукич виноват в своем падении, а жизненные обстоятельства, социальная среда, воспитавшая его, условия его существования. Следует отметить, что выдвижение вопроса о влиянии среды, о решающем ее значении для формирования личности имело в то время очень серьезный смысл. Если в человеческих пороках и страданиях повинны не отдельные личности, а обстоятельства, стало быть, для того, чтобы сделать человека прекрасным и добрым, нужно изменить эти обстоятельства — таков был тот революционный вывод, к которому приводила логика статей Чернышевского и Добролюбова.

Никитин таких радикальных выводов не делал. Он противопоставляет бедствиям и порокам Лукича идею

честного труда. В заключительных строках поэмы, представляющих собой лирический монолог поэта, подчеркивается типичность Лукича и его судьбы. Обращаясь мысленно к своему герою, поэт восклицает: «Вас много! Тысячи кругом, как ты, погибли под ярмом!». И тут же поэт уносится мечтой к тому времени, когда «минет проказа века и воцарится честный труд».

В изображении трагической любви Саши, во всех бытовых и сатирических картинах поэмы раскрываются лучшие черты таланта Никитина: глубокое демократическое чувство, ненависть к эксплуататорским классам, острая и живая наблюдательность, пристальное внимание к новому социальному материалу.

С несомненной сатирической силой показаны в поэме «хозяева жизни» — преуспевающие дельцы, крупные и удачливые хищники. Таков помещик Долбин. Он считает крестьян мошенниками и ворами, которые разоряют его. Ведя паразитический образ жизни, он, однако, преисполнен дворянской спеси, и Никитин отмечает, сколько жестокости и бесчеловечности в его обращении с крепостными рабами.

Особенно рельефно изображены представители капиталистического предпринимательства — авантюристы, дельцы, лишенные совести и чести, готовые обмануть и разорить кого угодно, если это сулит им выгоду. Характерна в этой связи фигура подрядчика Скобеева. За какие-то темные делишки он находится под судом, что, однако, не мешает ему и теперь заниматься всякого рода нечистыми спекуляциями. Это циничный и жестокий хищник.

Не менее колоритна фигура купца Пучкова. Он являет собой отвратительную смесь преступного стяжательства и ханжества. Многозначительна внешность его дома. Закрытый ставень кладовой «железом накрест заколочен». На амбарах тяжелые замки, добро Пучкова сторожит свирепый пес. Показательна и биография этого человека. В юности он был взят у бедных родителей в богатый купеческий дом. Хозяин, бездетный и немощный старик, полюбил Пучкова за бойкость и пристроил его к торговому делу. Но тот достойным образом «отблагодарил» своего благодетеля. Пучков ограбил хозяина и пустил его по миру. Теперь он хочет замолить свои многочисленные грехи ревностными богослужениями и душеспасительными разговорами о нравственности.

К тому же миру подлости и наживы принадлежит зять Лукича купец Тараканов. Это делец новой формации. Он любит щегольнуть «ученой фразой», он не прочь порисоваться своим великодушием. Но это такой же бессердечный хищник, как и остальные. Когда умирает Арина, мать Саши, он не дает даже денег на похороны. Своего тестя он с холодной жестокостью обрекает на голодную смерть.

В ряду этих персонажей «Кулака» особое место занимает профессор семинарии Зоров. Позднее, в «Дневнике семинариста», Никитин развернет целую серию портретов духовных наставников юношества. В поэме профессор Зоров дан как эпизодическое лицо, но и в этом своем качестве он как нельзя более характеризует образ жизни высокопоставленных кулаков. Сын пономаря, сам изведавший нищету и унижения, Зоров сейчас богат и упивается своим успехом. Он без зазрения совести берет взятки и в своей жажде наживы нисколько не уступает Пучкову.

Так понятие кулачества — бесчестной наживы, преступного обмана — вырастает в символическое обобщение, характеризующее строй жизни в целом. Мысли такого рода вкладывает Никитин в уста Лукича:

Кулак... да мало ль их на свете?
Кулак катается в карете,
Из грязи да в князья ползет
И кровь из бедняка сосет...
Кулак во фраке, в полушубке,
И с золотым шитьем, и в юбке,
Где и не думаешь — он тут!
Не мелочь, не грошовый плут,
Не нам чета, — поднимет плечи,
Прикрикнет — не найдешь и речи,
Рубашку снимет,— все молчи:
Господь суди вас, палачи!

Такой поворот темы, естественно, заключал в себе острый социальный протест против тех общественных отношений, когда жизнью заправляют «кулаки». И совершенно естественно, что в этой связи возникал мотив социальной несправедливости. Так, в четырнадцатой главе поэмы Лукич видит, как по широкой улице под ливнем гонят на каторгу толпу арестантов в «халатах серого сукна». И, с состраданием думая о горестной участи несчастных, Лукич заключает: «Поди, Скобеевы живут, их в кандалы не закуют, не отдадут на покаянье». Поэт говорит о Скобеевых, то есть о преуспе-

вающих дельцах, которым сходят с рук все темные махинации и преступления.

Демократические убеждения поэта выразились и в обрисовке персонажей, которым он отдает свои симпатии: жены Лукича Арины, его дочери Саши и столяра Васи. Изображая с большой симпатией и теплотой этих людей, Никитин страстно протестует против домостроевских нравов, против семейного деспотизма, против тирании, которая способна загубить человека, лишить его радости и счастья.

Так «социальная анатомия» помогла показать город во всех его общественных слоях — и помещика, и буржуа, и социальные низы.

В «Кулаке» Никитин продемонстрировал возросшее мастерство в построении большого эпического произведения, в изображении природы и в лепке характеров.

Пейзажные зарисовки в поэме играют роль как бы некоего эмоционального комментария. Так, картина утра служит прелюдией к горестным раздумьям столяра, а изображение ненастья в четырнадцатой и в начале восемнадцатой главы как бы предсказывает роковые события в жизни Лукича; картина бури сопровождает сцены болезни и смерти Арины. Пейзаж, стало быть, дается либо по контрасту с тем, что воспроизводится в поэме, либо усиливает впечатление от изображаемого.

С большим мастерством Никитин сумел передать индивидуальные особенности языка персонажей поэмы. Колоритна речь самого Лукича с ее различными эмоциональными оттенками — от заискивания до повелительных интонаций. Удачно передан и речевой колорит других персонажей: ученый язык Зорова, песенный склад речи Саши, просторечье свахи, неуклюжее языковое щегольство Тараканова.

В авторской речи заметны элементы народно-бытовой лексики. Таковы, например, областные слова «смотрушки» (смотрины), «горенка», «миса», «краснорядцы».

8

Поэма «Кулак», а также вышедший в 1859 году второй сборник стихотворений свидетельствовали о решительной победе в поэзии Никитина демократических и реалистических принципов.

Из первого сборника 1856 года Никитин отобрал для нового издания лишь одну треть стихотворений, тщательно переработав многие из них. Он отбросил стихи, проникнутые религиозным и консервативным духом, отверг также и те произведения, которые отличались подражательным характером.

Идейная и художественная эволюция Никитина встретила явное сопротивление у консервативно настроенных участников кружка Второва. Особую тревогу и раздражение вызвали эти перемены у Нордштейна. «Кулак» кончен,— писал Нордштейн в 1856 году.— Поздравляю. А за стихотворение «Рассказ моего знакомого» не благодарю: что мне читать подражания Некрасову»[1]. И далее Нордштейн длинно и подробно поучает Никитина. Смысл этих поучений ясен: каждый человек должен довольствоваться тем, что ему выпало на долю, и не пытаться бунтовать против существующего порядка вещей.

Когда же Нордштейну стало известно стихотворение «Пахарь», он со всей резкостью возражал против новых тенденций Никитина и порицал за то, что в «Пахаре» — «мысль коммунистическая». Письма Нордштейна были попыткой «уберечь» поэта от «вредных увлечений», в частности от влияния Герцена, вернуть его на стезю «благонамеренности». Эта попытка не увенчалась успехом. Никитин шел своим путем.

Существенные изменения в творчестве Никитина не оставались не замеченными и в лагере революционных демократов. В какой мере изменилось отношение к Никитину с их стороны, видно по статьям Добролюбова и другим отзывам «Современника».

Первая рецензия Добролюбова подробно анализирует поэму «Кулак». Если Чернышевский утверждал, разбирая сборник 1856 года, что Никитин способен только на перепевы с чужого голоса, то уже в 1858 году Добролюбов с явным чувством удовлетворения отмечает в поэме «Кулак», с одной стороны, обстоятельное знание того быта, который Никитин описывает, а с другой — ясное понимание того характера, который поэт поставил в центре своего произведения.

В нравственном падении героя никитинской поэмы Добролюбов видит результат социальных отношений, и

---

[1] Письмо А. П. Нордштейна к Никитину от 26 апреля 1856 г. — Фонд Де-Пуле.

объективный смысл поэмы для него заключается в необходимости изменения условий общественной жизни. Поэму «Кулак» Добролюбов рассматривает как значительное и яркое выражение демократической литературы.

Во второй рецензии — на сборник стихотворений Никитина 1859 года — Добролюбов, напомнив об отзыве Чернышевского, замечает: «Из стихотворений прежнего издания около половины выкинуто в новом. Просматривая эти выкинутые пьесы, мы заметили, что автор руководился при этом соображениями очень основательными» [1].

Нисколько не скрывая слабых сторон поэзии Никитина и подчеркивая, что и в издании 1859 года имеются эпигонские стихи, Добролюбов тем не менее возлагает серьезные надежды на Никитина. Сборник 1859 года, по мнению Добролюбова, свидетельствует о том, что страдания нищеты, сознание обид и несправедливостей сильно были прочувствованы самим поэтом и стали близки его душе. Далее Добролюбов указывает: «на изображениях картин этой жизни, этих впечатлений и уроков житейского опыта может развернуться талант г. Никитина» [2].

Добролюбов призывает поэта проникнуться последовательным мировоззрением. «Нужно выработать в душе твердое убеждение в необходимости и возможности полного исхода из настоящего порядка этой жизни для того, чтобы получить силу изображать ее поэтическим образом» [3].

Разумеется, Добролюбов мог обратиться с этими многозначительными словами к Никитину только потому, что в его творчестве он видел черты, близкие и родственные революционной демократии.

Не следует думать, что эволюция Никитина шла только по восходящей прямой. Были у Никитина и на последнем этапе предрассудки, были и заблуждения.

Но Никитин не был поэтом смирения, как это пыталось доказать буржуазное литературоведение. В таких стихотворениях последних лет, как «Хозяин», в образе «прикованного сокола» Никитину удалось выразить муку и гнев порабощенного народа, веру в силы наро-

[1] Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9-ти т. М.; Л., 1961—1964, т. 6, с. 158.
[2] Там же, с. 169.
[3] Там же, с. 167.

да, разоблачение темных сил, стоящих на пути его освобождения.

В этой связи необходимо отметить одну крайне важную особенность творчества Никитина. Уже отмечалось в начале статьи, что поэта с первых шагов на литературном поприще волновал вопрос о смысле человеческой жизни, о назначении человека, но проблему эту Никитин ставил в самом общем виде. Теперь, в обстановке бурного общественного подъема, она приобретает конкретные социальные очертания. У него, как и у многих других русских передовых писателей, возникает фигура нового героя истории. Напомним, что Добролюбов в статье «Когда же придет настоящий день?», размышляя об Инсарове, ставил вопрос о настоятельной потребности в герое нового склада, который вырос бы на русской почве. Несколько позднее Тургенев в «Отцах и детях» запечатлеет фигуру Базарова — нового человека эпохи. В 1864 году Чернышевский напишет роман «Что делать?» с подзаголовком «Из рассказов о новых людях». Эту едва ли не главную проблему того времени Никитин решал по-своему, в полном согласии с внутренними потребностями своей натуры, своего жизненного опыта. Нельзя не обратить внимание на то, что и в первом периоде творчества поэта наряду с мотивами скорби в стихах его звучали другие ноты — удивления и гордости перед силой человека, перед дерзкой его отвагой, мотивы удали и доблести. Стихотворение «На западе солнце пылает» написано явно в подражание лермонтовскому «Парусу». Но не обращалось внимание на то, что лермонтовскую тему поэт решал совсем иначе.

У Никитина тоже по морю скользит корабль. Кормчий беспечно поет веселую песню. Налетает буря, и море предстает во всей своей грозной мощи. Певец преображается и вступает в битву со стихией: «Теперь он и царь и боец». Заключительная строфа стихотворения звучит гимном человеку-борцу:

Вот здесь узнаю человека
В лице победителя волн,
И как-то отрадно мне думать,
Что я человеком рожден.

Этот гимн человеку, полному отваги, победителю и борцу, не случаен у Никитина. Он звучит на всем протяжении его творчества. Мы различаем его в стихах

«Бурлак» и «Песня бобыля». По мере того, как поэзия Никитина приобретала все более реалистический и демократический характер, проблема человека наполнялась все более конкретным содержанием: это человек из социальных низов, он противостоит хозяевам жизни, он исполнен отзывчивости, им владеют идеи свободы и социального братства.

В этом смысле характерно последнее крупное поэтическое произведение Никитина — «Тарас».

Поэма окончательно сложилась в 1860 году. Поставленная в ней проблема сильного и цельного характера, его борьбы с враждебными жизненными обстоятельствами занимала Никитина издавна.

Любопытно, что Нордштейн советовал поэту разработать эту тему в духе назидательных повествований славянофильского толка. Но такое направление мысли было чуждо Никитину.

А. С. Суворин, который, живя в Воронеже в молодости, общался с Никитиным, указывает, что поэма задумана была широко: Тарас должен был пробиться сквозь тьму препятствий, побывать во всех углах России, падать и подыматься и выйти все-таки из борьбы победителем. Никитин хотел сделать этот образ олицетворением силы и нравственной красоты народного характера. Трудно сказать, в какой мере достоверно свидетельство Суворина. Но факт таков, что поэма ярко выразила порыв к широкой и вольной жизни.

Открывается поэма лирическим вступлением на тему о нищете и горе народа. Некрасовские интонации в этом лирическом зачине звучат очень ясно:

Нужда, нужда! Все старые избенки,
В избенках сырость, темнота;
Из-за куска и грязной одежонки
Все бьются... прямо нищета!

Но в народной массе, порабощенной и придавленной, пробуждаются живые, энергичные, ищущие счастья и доли, сильные и цельные люди. Таким обрисован Тарас.

Сопоставление разных вариантов текста поэмы показывает, как в последних редакциях Никитин усиливал социальные мотивы в поведении своего героя. Первоначально Тарас был изображен как беспокойный и непоседливый человек. Поэма называлась «Сорока».

Теперь же герой дан в его страстных порывах к счастью, к большой и разумной жизни.

Сын крестьянина-бедняка Тарас с детства познал и нужду, и труд, и выходки пьяного отца. Но вопреки всем враждебным обстоятельствам он вырос в стойкого и отважного человека. Характерная черта Тараса — чувство человеческого достоинства, гордости. Поэт подчеркивает, что Тарас «головы не клонит в темной доле ни перед кем и никогда». Знаменательно то, что Никитин делает Тараса борцом за социальную справедливость: «Чуть мироед на бедняка наляжет — Тарас уж тут. Глаза блестят, лицо бледнеет... «Ты не трогай»,— скажет...»

Тарас готов, не жалея сил, трудиться. Но он хочет, чтобы труд дал ему возможность по-человечески жить. И он уезжает из родного села в поисках «счастья и добра». Несмотря на силу и ловкость в работе, несмотря на любовь к труду, он этой счастливой доли так и не находит. В его сознании возникают мрачные и безысходные мысли. «Трудись... трудись... но жить когда?» — размышляет он. Радости и счастья он не видит «в суровой доле мужика», и Тарас стремится понять, «кем он проклят, проливая в поле кровавый пот из-за куска?».

Тарас погибает, спасая тонущего плотника. Сама смерть его многозначительна: он гибнет во имя спасения человеческой жизни. Никитин так и не нашел приложения силам Тараса. Но самый образ мужественного и самоотверженного человека, ищущего счастья и доли, характерен для понимания знаменательных процессов, происходивших в среде народа, и никитинских поисков нового героя истории.

Насколько изменилось отношение к Никитину со стороны революционной демократии, можно видеть, помимо рецензий Добролюбова, из одобрительного отзыва М. А. Антоновича о поэме «Тарас» и «Дневнике семинариста».

9

За три года до «Дневника семинариста» Никитин написал стихотворение, которое при жизни поэта не было и не могло быть напечатано по цензурным соображениям. Оно прямо посвящено теме будущего «Дневника». В нем есть такие строки:

Ах, прости, святой угодник!
Захватила злоба дух;
Хвалят бурсу, хвалят вслух
Мирянин — попов поклонник,
Чтитель рясы и бород —
Мертвой школе гимн поет.
Ох, знаком я с этой школой!
В ней не видно перемен:

Та ж наука — остов голый,
Пахнет ладаном от стен...

Мертвая школа в представлении поэта неотделима от старого хлама, то есть мрачного николаевского наследия, которое он теперь ненавидит всеми силами души. Бурса ужасна тем, что воспитывает послушных, безответных и покорных рабов.

Ученик всегда послушен,
Безответен, равнодушен,
Бьет наставникам челом
И дуреет с каждым днем.

В таких ли людях нуждается Россия?!

В отличие от этого стихотворения «Дневник семинариста» был предназначен к печати, и, естественно, Никитин не мог столь откровенно выразить в нем свои взгляды. Но и в подцензурной вещи он достаточно ясно обнаружил свое отношение и к волновавшему его вопросу о новом герое и к «мертвой школе».

«Дневник» начат в 1858 году и закончен в декабре 1860 года.

Обращение Никитина к прозе не было явлением случайным. Мы уже отмечали, что в его стихах повествовательный эпический элемент выражен был очень отчетливо. Во многих письмах, написанных до появления «Дневника», проявлялось дарование Никитина-прозаика: и здесь уже видны были колоритные бытовые сценки, мастерство характеристик, искусство диалога. Стремление к эпической широте особенно заметно в зрелый период деятельности Никитина. Именно в это время он пишет поэмы «Кулак» и «Тарас». Богатство бытовых, жанровых сцен в стихотворных произведениях, развернутая разработка характеров во всей их социальной определенности — все это подготавливало обращение писателя к прозе, где ему представлялась возможность с наибольшей широтой выразить свои жизненные впечатления. И характерно, что Никитин выбрал форму дневника, то есть такую форму, где ав-

тор, не связанный строгими рамками сюжета, мог естественно и непринужденно передать свои думы и наблюдения.

Первый вопрос, который неизбежно возникает при изучении «Дневника семинариста»,— это вопрос о степени автобиографичности произведения. Разумеется, нет никакой возможности отрицать, что в основе «Дневника» лежат личные впечатления Никитина. Некоторые сцены и эпизоды «Дневника» полностью совпадают с фактами биографии поэта. Так, например, совпадает время, описанное в «Дневнике», с годами пребывания Никитина в Воронежской духовной семинарии: Никитин был в семинарии с 1839 по 1843 год, в «Дневнике» речь идет о начале сороковых годов. В «Дневнике» приводится такая деталь: французский язык преподавал за неимением специалиста ученик, а во время пребывания Никитина в семинарии французский язык там преподавал ученик второго класса Матвеев. Вероятно, можно найти и другие совпадения.

Но «Дневник семинариста» выходит далеко за пределы автобиографии. По свидетельству биографов, в пору работы над «Дневником» Никитин тщательно изучал материалы, характеризующие быт и нравы семинарии в конце пятидесятых годов, то есть спустя почти два десятилетия после своего пребывания в ней. Видимо, он считал недостаточным свои личные впечатления. Мало того, он даже не пошел по пути объективизации своего авторского *я*. Лицо, от имени которого ведется «Дневник семинариста», Белозерский,— явно вымышленная фигура. Сын сельского священника, любимый и опекаемый своим отцом, Белозерский в главных и решающих чертах ничем не напоминает Никитина. Нет в «Дневнике» и другой фигуры, которая была бы идентична самому поэту, хотя, разумеется, и в образе Белозерского и особенно в образе Яблочкина есть автобиографические черты. «Дневник» следует рассматривать как широкое художественное обобщение, а не как разновидность мемуаров.

Обычно в «Дневнике семинариста» видят прежде всего книгу, направленную против быта и нравов семинарии, против косности и клерикализма. И это, конечно, верно. Но, думается, смысл и пафос «Дневника» значительно шире, чем разоблачение духовной школы.

На «Дневнике» лежит явственный отпечаток бурного подъема общественного движения шестидесятых

годов. Произведение овеяно дыханием надвигающихся перемен, проникнуто чувством недовольства существующим порядком вещей и страстной жаждой нового. Чрезвычайно характерно, что в это же время к теме бурсы обращается другой крупный писатель демократического лагеря, Н. Г. Помяловский. В конце пятидесятых годов он приступил к работе над своими знаменитыми «Очерками бурсы». Напечатал он их уже после появления «Дневника семинариста». В высшей степени знаменательно, что накануне реформы, в обстановке надвигающихся больших социальных потрясений, в условиях горячих литературно-политических боев бурса привлекала пристальное внимание литературы и общественности.

В чем была острота этой темы и как ее решал Никитин?

Уже в самой композиции произведения привлекает внимание одно на первый взгляд непонятное обстоятельство. «Дневник семинариста» по самому смыслу названия должен запечатлеть прежде всего и главным образом быт и нравы самой семинарии. Никитин же начинает «Дневник» не с изображения бурсы, а со сцен деревенской жизни, с приезда Белозерского на каникулы к отцу и с его сельских встреч и впечатлений.

В таком композиционном решении есть свой принципиальный смысл. Сцены деревенской жизни включают в себя как бы три повествовательных элемента: во-первых, эпизоды домашней жизни Белозерского, во-вторых,— лирическая линия — краткая история любви Белозерского к «черничке» и, наконец, социальный план: картины жизни и взаимоотношений крестьян и помещиков, крепостнических условий и крепостнической среды.

Вот перед нами выразительная картина, рисующая изнурительный труд крестьян во время полевых работ. При этом характерно, что писатель запечатлевает труд *женщины*-крестьянки, на которой тяготы нечеловеческой работы сказывались особенно мучительно. Нестерпимая жара... «Жницы работают с рассвета до поздней ночи. На подошвах их необутых ног... трескается кожа; на ладонях появляются мозоли, некоторые величиною в орех... Грудные малютки, которых матери берут с собою в поле, лежат под снопами на разостланных белых зипунах, время от времени плачут, замолкают и опять плачут».

Какие «блага жизни» приносит крестьянину этот изнурительный труд, видно из другой сцены. Белозерский записывает в «Дневнике» впечатления от посещения соседа-крестьянина. Описание предварено эмоциональным вступлением. «Сердце мое сжалось, как посмотрел я на его горемычное житье». Дальше идут детали, рисующие это горемычное житье. «Стены избушки покрыты копотью; темнота, сырость... Печь растрескалась. Разбитое окно заложено *клочком старой рогожи.* Пол земляной. На мокрой соломе хрюкает свинья; хозяин говорит, что она заболела, так вот и взял он ее в избу. Подле животного ползает маленькая девочка, босоногая, в *изорванной* рубашонке. Другое, грудное дитя лежит в засаленной люльке, повешенной на веревках подле печи; во рту у него грязная соска, наполненная жидкою пшенною кашею. Жена соседа, желтая и покрытая морщинами, ходит точно потерянная. Рот постоянно полуоткрыт; глаза смотрят бессмысленно. Не то чтобы она глупа была от природы, да нужда-то уж слишком ее заела».

Таков труд и таков быт крестьянина. Подбор деталей в нарисованных картинах носит резко оценочный характер. И хотя описания даны в объективном, спокойном тоне, почти без субъективного комментария, они подводят к мысли о невыносимости и чудовищной несправедливости такого порядка вещей. И примечательно, что первая же запись Белозерского по приезде в город — это передача рассказа Яблочкина о его пребывании у помещика, у которого он учил «ротозея-сынишку» первым правилам арифметики. Образ помещика дан в тонах отчетливого сатирического заострения, во многом напоминающего некрасовский портрет «князя Ивана» — «колосса по брюху», у которого руки — «род пуховика», а «пьедесталом служит уху ожиревшая щека». Этот помещик обрисован как «откормленный на убой бык, с черными щетинистыми усами, с угреватым расплывшимся лицом». Занимается он только тем, что лежит на мягком диване в вязаной красной ермолке, в шелковом халате, в пестрых туфлях и насвистывает разные марши. Главное занятие его — это без конца помыкать своим слугой Гришкой, который до того загнан, что совсем потерял человеческий облик.

Такова крепостническая действительность, таковы вопиющие контрасты жизни. В своем «Дневнике семинариста» писатель отправляется в решении частного

вопроса о духовном образовании от этой главной проблемы эпохи.

И с этой точки зрения становится понятным и общий аспект изображения бурсы у Никитина. Она дана писателем как неизбежное порождение, неизбежный спутник и идеологический оплот той же самой крепостнической действительности. Семинария повторяет нравы крепостнической среды, она служит рассадником мракобесия и косности, идеологии нравственного порабощения, подавления личности.

Именно потому и начал Никитин «Дневник семинариста» со сцен деревенской жизни, что ему важно было связать нравы и характер бурсы со всем крепостническим укладом жизни.

Как же показывает бурсу Никитин?

Интересно, что писатель останавливается главным образом не на сценах, рисующих дикие нравы бурсаков. Его как будто интересуют не столько воспитанники, сколько *воспитатели*. Правда, мы видим и кулачные бои и кутежи бурсаков. Но писатель сосредоточивает внимание на нравах и характере воспитателей, педагогов, руководителей семинарии. Именно поэтому, думается нам, Никитин заставил своего героя Белозерского поселиться у профессора Федора Федоровича. Это дало возможность писателю взглянуть на духовных наставников юношества со стороны — глазами честного и неиспорченного молодого человека.

Казарменная дисциплина, «порядок», стремление отучить от какой бы то ни было самостоятельной мысли, от собственного взгляда на вещи, привить безоговорочное послушание, полный разрыв с живыми запросами жизни, реакционная, мертвая схоластика — таковы определяющие черты бурсацкого воспитания и обучения, как их рисует Никитин.

Показательна в этом смысле фигура отца-ректора семинарии. Его характеристика напоминает строки из стихотворения «Ах, прости, святой угодник!..»: «Чуждый страсти, чуждый миру, ректор спит да пухнет с жиру».

В «Дневнике» он рисуется, однако, не только «сонным» и «жирным». Он еще и ревностный блюститель того духа нравственного порабощения, безоговорочного и нерассуждающего послушания, о котором мы говорили выше. Ученик не смеет рассуждать. Его дело механически заучивать схоластическую премудрость. И ко-

гда Яблочкин по-своему отвечает на экзамене, это вызывает недовольство и гнев отца-ректора.

Своеобразным дополнением образа отца-ректора служит зловещая фигура субинспектора — жандарма в рясе, который шпионит за семинаристами и деятельно насаждает в семинарии дух николаевского застенка. Это он всячески преследовал Яблочкина. И именно беседа с ним, о которой в «Дневнике» только глухо упомянуто, обострила болезнь Яблочкина и привела к роковой развязке.

Не менее колоритны образы других деятелей семинарии. Федор Федорович, у которого жил на квартире Белозерский, взяточник, невежда, человек, лишенный каких бы то ни было принципов и убеждений. Единственный его идеал — богатый приход и сытая жизнь. Когда профессор словесности спрашивает у него, почему он не женится, Федор Федорович, приятно улыбаясь, отвечает: «Найдите хорошее место, порядочный приход, словом, верное обеспечение в будущем,— вот и женюсь». Все в его жизни зависит от одного: будет ему это выгодно или нет. Если это ему будет на пользу, он готов и семинарию бросить. Его обращение со слугой как две капли воды напоминает поведение помещика, описанное Яблочкиным. В своих нравах и повадках духовные наставники юношества повторяют нравы и повадки крепостников.

По-своему раскрывает этот мир косности и мертвечины трагический образ профессора Ивана Ермолаевича. Он пришел в бурсу с наивным стремлением переделать ее, внести в нее дух живой жизни. Он не понимал, что эти стремления подрывают самую основу семинарии. И за свою опрометчивость он жестоко поплатился. Все его начинания окончились крахом. Разочарованный, оскорбленный в лучших своих чувствах, он все больше опускается, начинает пить и нравственно гибнет.

От бурсы Никитин протягивает нити к практическим проявлениям «духовного руководства» закрепощенным народом — к тем «пастырям», которые призваны нести «свет добра и правды» в крестьянские массы. И здесь опять-таки читатель видит внутреннюю связь между сценами сельской жизни и картинами семинарского быта.

Вот перед нами два духовных наставника народа — священник Белозерский, отец героя, автора дневника, и его помощник — дьячок Кондратьич.

Отец Белозерского дан в мягких и доброжелательных тонах. Это не злой и честный человек. Но он заражен той же рутиной и косностью, тем же духом пресмыкательства, которые так усердно насаждались в бурсе. Он и слышать не хочет, чтобы его сын поехал учиться в университет. Когда Белозерский видит, как отец его раболепствует перед каждым встречным в городе, он с горечью думает, насколько «одичал» его добрый батюшка в деревенской глуши. Что же касается духовного «наставничества», то оно выражается главным образом в обильных и разнообразных поборах. В уже упомянутом стихотворении «Ах, прости, святой угодник» об этом сказано было так: «Поп, обросший бородою, по дворам с святой водою будет в праздники ходить, до упаду есть и пить, за холстину с причтом драться, попадьи-жены бояться, рабски кланяться рабам и потом являться в храм».

В «Дневнике» даны яркие иллюстрации к этой обобщенной характеристике. Разница лишь в тоне. В стихотворении это выражено с гневом и злостью, в «Дневнике» о том же самом сказано спокойно и мягко, но объективный смысл один и тот же.

Почти в гротескных красках предстает перед нами дьячок Кондратьич. Это пьяное, нелепое, вздорное существо, быть может, не лишенное добрых человеческих задатков, но вконец развращенное отупляющей атмосферой. Он дико самодурствует, пьянствует, издевается над своей безответной женой. Погибает он столь же нелепо, как и жил.

В какой мере Никитин связывал вопрос о «духовных пастырях» со всем крепостническим строем, доказывает его письмо к Матвеевой. В числе факторов, которые тяготели и тяготеют над народом и мешают его развитию, он указывал и на его «наставников — духовенство».

Так предстает перед читателем единый ряд людей, олицетворяющих темное царство крепостнической России, с ее тяжкими контрастами, с ее тунеядствующими помещиками, живущими за счет изнемогающего от непосильного труда народа, с ее идеологическим оплотом в лице бурсы, с ее духовными наставниками и пастырями — от чиновников в рясах до пьяного и дикого Кондратьича.

Но Никитин нарисовал не только это темное царство. Он показал и живые силы народа, запечатлев

многообещающие признаки пробуждения, роста и будущего расцвета. Россия выдвигает новых героев, и к ним приковано внимание писателя. И в этом тоже сказалась атмосфера шестидесятых годов, настроения передовой демократии с ее верой в силы народа, в его будущее. В этой связи прежде всего здесь хотелось бы отметить в высшей степени многозначительную фигуру батрака Белозерских. Никитин говорит о нем бегло, мимоходом. Иначе, вероятно, и сказать о нем писатель не мог в силу цензурных условий. Но при всей скупости обрисовки образ этот чрезвычайно знаменателен. Никитин прежде всего подчеркивает в нем огромные силы, которые тот не знает, как применить. Белозерский записывает в дневнике, что он «никогда не видал таких крепко сложенных людей». Росту он был небольшого, но в плечах необычайно широк. Во время храмового праздника Белозерский видит, как под хмельком батрак катает огромный камень, и на недоуменный вопрос Белозерского отвечает: «Человека ломать — грех; не вытерпит, а камень вытерпит, вот я его и ворочаю, да! Руки чешутся, оттого и ворочаю».

И этот человек с огромными нерастраченными силами обращается к Белозерскому с укоризненными словами насчет того, что ученье молодого поповича в городе никакой пользы никому не приносит и принести не может.

«Вот если бы ваш брат-ученый,— замечает батрак,— приехал к нам да рассказал толком: это вот так надо сделать, это вот как, и стало бы нашему брату-мужику от этого полегче, тогда вышло бы хорошо, а то...»

В этом образе Никитин, пусть пунктиром, наметил важные явления жизни, очень существенные признаки пробуждения самосознания в народе.

В этой же связи Никитин поставил в «Дневнике семинариста» вопрос, который был одним из главных в передовой русской литературе шестидесятых годов,— вопрос о новом демократическом герое, о положительном идеале, о новых силах социального прогресса.

Ведут сюжет «Дневника» два персонажа — автор дневника Белозерский и семинарист Яблочкин.

Белозерский — человек, во многих отношениях примечательный. Автор подчеркивает в нем и физическое и нравственное здоровье. Он честен и умен. Он рвется к

знаниям, к культуре, к разумному труду. Его отнюдь не прельщает священнический сан. Он мечтает поступить в университет и вырваться из той сферы жизни, в которой раньше был. Под влиянием Яблочкина в Белозерском происходит процесс духовного самоопределения и развития. Он знакомится с русской и западной литературой. Мы видим, как постепенно расширяется его умственный горизонт. Свобода мысли становится для него одним из первых благ жизни. Он записывает в своем дневнике, что на всякое рождающееся в нем сомнение, на всякий возникающий вопрос он должен искать ответа в себе самом. «За что же,— спрашивает он,— лишать меня моей единственной отрады — свободы мысли?» И характерно, что в одной из последних его записей мы читаем: «Я настолько вырос и настолько понимаю все белое и черное, что могу обойтись без посторонней нравственной опеки».

Но при всем этом Белозерский — человек слабой воли. Ему присущи черты покорности и смирения. Он молча переносит унизительную, почти лакейскую роль в доме Федора Федоровича. Он не находит в себе силы восстать против деспотической тирании отца и добиться осуществления своей мечты об университете. Безволие и пассивность — вот черты, которые мешают людям типа Белозерского стать настоящими деятелями.

Белозерскому в известной мере противостоит семинарист Яблочкин. Сын пономаря, круглый сирота, он принадлежит к тем представителям разночинной интеллигенции, о которых с сочувствием писали и Некрасов, и Чернышевский, и Салтыков-Щедрин. Его характер, его умственные интересы отчетливо обрисованы в «Дневнике». Яблочкин — одаренный и начитанный человек. Он знает и Пушкина, и Лермонтова, и Шекспира, и Горация, и Гоголя. Его духовный наставник и учитель — Белинский. Белозерский записывает в дневнике, что Яблочкин «помешался на чтении Белинского». Этот штрих весьма знаменателен. В ту пору, когда писался «Дневник семинариста», реакционная критика и журналистика всячески демонстрировали свою неприязнь к Белинскому. Так, реакционный журнал «Русский вестник» в 1861 году утверждал, что принимать безусловно литературные приговоры Белинского могут только «фельетонные витязи». Утверждая Белинского как подлинного наставника передовой молодежи, Никитин противостоял реакционной критике и разделял ту

высокую оценку Белинского, которая дана была ему Некрасовым, Чернышевским и Добролюбовым.

Яблочкин отличается в противовес Белозерскому настойчивостью, смелостью и мужеством. «С его настойчивым характером он все сделает»,— думает о нем Белозерский. Яблочкин выступает против семинарской схоластики. Язвительными вопросами он ставит в тупик своих учителей. И не случайно субинспектор питает к нему особенную ненависть.

Насколько разоблачение клерикализма и церковной схоластики тесно переплеталось в сознании передовых русских мыслителей с борьбой против самодержавия и крепостничества, доказывают факты. Напомним, что в 1860 году Чернышевский выступил со своей знаменитой работой «Антропологический принцип в философии», направленной против идеалистической богословской метафизики. И показательно, что главным оппонентом Чернышевского был не кто иной, как профессор Киевской духовной академии Юркевич. Не менее характерно, что статья Писарева, написанная в защиту Чернышевского, так и называлась «Схоластика XIX века». В другой статье, «Погибшие и погибающие», посвященной «Очеркам бурсы» Помяловского, Писарев прямо связывал духовную семинарию с острогом и давал понять, что бурса — один из оплотов всего крепостнического строя.

Страстно мечтая о новом герое, Никитин все же неясно представлял себе реальные возможности его практической деятельности. Вероятно, этим объясняется то, что Тарас гибнет в волнах, спасая человека. Умирает и Яблочкин в «Дневнике семинариста». Напомним, что и Базаров в тургеневских «Отцах и детях» тоже погибает, и смерть эта тоже не была просто биографической случайностью. Но сама по себе мечта лучших людей России о новом герое, способном преобразовать родину на началах свободы, разума и счастья, в высшей степени знаменательна.

* * *

Двадцатые и тридцатые годы были периодами блистательного расцвета русской поэзии. Но в конце тридцатых — начале сороковых годов она понесла невозместимые утраты: гибель Пушкина, Лермонтова, Коль-

цова. Сороковые годы явились временем относительного затишья в поэзии, интерес к ней снизился. Пятидесятые годы — период нового ее подъема. И эта новая волна вызвана была новыми условиями, новой обстановкой в стране, требовавшей не просто повторения того, что было раньше, а новых слов и новых песен. Перед русской поэзией встала важнейшая задача дальнейшего углубления демократических тенденций. Ярче всех эту потребность истории выразил Некрасов, но и талант Никитина развернулся широко и ярко потому, что он откликнулся на эту властную потребность эпохи.

Никитин не стал поэтом некрасовского масштаба ни по художественному уровню своей поэзии, ни по своей идейной устремленности. Но из поэтов некрасовского направления он самый крупный.

Среди современников Никитина были и более искусные и тонкие мастера. И все же голос поэта дошел до наших дней именно потому, что Никитин чутко вслушался в думы и чаяния народных масс и сумел выразить их словами, которые шли от самого сердца. В истории русской литературы он занял видное и прочное место.

Примечательное отношение к Никитину Ивана Алексеевича Бунина. В статье А. К. Бобореко «Иван Бунин и И. С. Никитин» [1] прослежены бунинские оценки поэзии Никитина. Бунин даже намеревался написать его биографию. Мы не знаем, по какой причине он от этого замысла отказался. Но как нельзя более характерно то, что в 1894 году, к семидесятилетию со дня рождения поэта, Бунин напечатал в газете «Полтавские губернские ведомости» статью о Никитине под названием «Памяти сильного человека».

Биографические моменты представлены в статье в несколько идеализированном виде. Известно, что свои занятия дворничеством сам поэт воспринимал с величайшей горечью. Бунин же подчеркивает почти идиллические черты в дворничестве поэта. «В его жизни дело идет своим чередом». «К нему приучила его нужда и крепость и серьезность отцов и дедов. Оно «шею ему переело», но «он не бросает его...».

---

[1] Я, Руси сын!.. Сборник. К 150-летию со дня рождения И.С. Никитина. Воронеж, 1974, с. 148—159.

Напомним, что как только возникла возможность, Никитин бросил занятия дворника и открыл книжный магазин.

При всех оттенках статьи Бунина, с которыми не всегда соглашаешься, она примечательна тем, что в поэзии Никитина автор видит прекрасное выражение и развитие коренных свойств прогрессивной русской литературы — ее демократического пафоса и ее реализма.

«Народный быт,— пишет Бунин,— Никитин изображал неподражаемо». Автор видит в поэте замечательного певца родной природы. Силу Никитина Бунин справедливо усматривает в том, что поэт миллионами нитей был связан с родной почвой. В глазах Бунина Никитин противостоял современной декадентской поэзии.

«Я не знаю,— пишет он,— что называется хорошим человеком. Верно хорош тот, у кого есть душа, есть горячее чувство, безотчетно рвущееся из глубины сердца. Я не знаю, что называется искусством, красотою в искусстве, его правилами. Верно в том заключается оно, чтобы человек... заставлял меня видеть перед собою живых людей, чувствовать веяние живой природы, заставлял трепетать лучшие струны моего сердца. Все это умел делать Никитин, этот сильный человек духом и телом. Он в числе тех великих, кем создан весь своеобразный склад русской литературы, ее свежесть, ее великая в простоте художественность, ее сильный простой язык, ее реализм в самом лучшем смысле этого слова. Все гениальные ее представители — люди крепко связанные со своей почвой, со своею землею, получающие от нее свою мощь и крепость. Так был связан с нею и Никитин, и от нее был силен в жизни и творчестве».

Царские власти относились ко многим стихотворениям поэта с недоверием и опаской, причисляя их автора к ряду «неблагонамеренных писателей».

Стихи Никитина неоднократно подвергались преследованиям со стороны царской цензуры. В глазах властей он был в числе «перелагателей социализма и пауперизма на русские нравы». В одном из цензурных заключений сказано было, что в стихотворениях поэта «с яркостью обрисовываются все недостатки социального устройства общества... и нимало не скрывается затаенная

ненависть к высшему и богатому сословию» [1]. В другом заключении цензора утверждалось, что в сборнике, где были представлены стихи Некрасова, Кольцова, Никитина и др., «ни в одном из них нет ни отрадной картины, ни светлого спокойного чувства, ни веселого мотива; во всех преобладает мрачное настроение, недовольство жизнью, выставляются исключительно картины тяжелого труда, нищеты, страданий низших классов общества» [2].

Пролетарская революция всегда отдавала Никитину должное. Когда в 1918 году Совнарком постановил воздвигнуть памятники выдающимся деятелям революционного движения, науки и искусства, среди лиц, память которых рабочий класс увековечивал, было и имя Никитина.

Яркость и социальную значительность творчества Никитина отмечал Горький. В книге «Современные рабоче-крестьянские поэты» (Иваново-Вознесенск, 1925), в которой собраны шестьдесят четыре автобиографии, подавляющее большинство участников ее указывает, что стихи Никитина нередко были для них стимулом к поэтическому творчеству.

В Воронеже в 1974 году к 150-летию со дня рождения поэта издан сборник, посвященный Никитину, «Я, Руси сын!». В нем собраны отзывы некоторых крупных советских писателей о личности и творчестве Ивана Саввича.

Очень выразительно свидетельство Михаила Исаковского:

«И. С. Никитин — один из любимых моих поэтов. Его стихи я узнал и полюбил, еще будучи деревенским школьником. Многие из них я и сейчас помню наизусть.

Я всегда буду душевно благодарен таланту Ивана Саввича за тот огромный поэтический клад, который он раскрыл передо мной еще в те далекие годы, когда я только начинал жить и понимать поэзию» [3].

Чрезвычайно интересны высказывания двух крупных наших прозаиков — Валентина Катаева и Леонида Леонова.

«Я считаю И. С. Никитина одним из выдающихся русских поэтов,— пишет Валентин Катаев [4],— я люблю

---

[1] Я, Руси сын!.., с. 139.
[2] Там же, с. 141.
[3] Там же.
[4] Там же.

его с детских лет. Ему я обязан пониманием красоты русской природы, которую Никитин так удивительно пластично умел изображать и заразил меня этой своей пластикой».

«Вот странная литературная судьба,— пишет Леонид Леонов [1],— казалось бы, второстепенный русский поэт, а некоторые стихи его, поразительные по искренности, простоте и задушевности, довольно часто произношу наравне со стихами Пушкина».

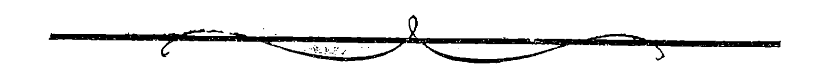
Чувство глубокой симпатии к творчеству поэта звучит в высказывании Николая Тихонова:

«Поэзия Ивана Саввича Никитина пронизана огнем настоящего поэтического чувства, он является не только мастером русского пейзажа, но и изобразителем жизни угнетенного крестьянства, поэтом, умевшим создавать такие поэмы, как «Кулак», и стихотворения, выражающие прямой социальный протест, это были стихи философа-гуманиста. Многие его стихотворения звучат сильно и в наше время, и каждый поэт должен помнить и знать творчество Ивана Никитина как революционного предшественника позднейшей поэзии, вплоть до советского времени» [2].

Да, поэзия Никитина выдержала испытание времени. Со дня его смерти прошло свыше ста лет, а стихи его продолжают жить и доставлять нам глубокое эстетическое наслаждение. Это ли не лучшая награда художнику!

---

[1] Я, Руси сын!.., с. 17.
[2] Там же, с. 25—26.



Д. И. ПИСАРЕВ ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Глава первая
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

Эпохи крутых социальных поворотов всегда рождали крупных исторических деятелей. Шестидесятые годы XIX века — один из переломных периодов в развитии освободительной борьбы в России, и вполне закономерно, что в это время русская демократия выдвинула целую плеяду выдающихся революционных мыслителей, публицистов, критиков. На первом месте среди них — Чернышевский, Добролюбов и Писарев.

Уже сама биография Писарева характерна для той поры, когда освободительное движение вербовало в свои ряды все, что было честного и передового во всех классах русского общества, и когда самодержавие, чтобы отстоять свою пошатнувшуюся власть, прибегало к жестоким репрессиям и беспощадно расправлялось с лучшими людьми России.

Писарев прожил недолго. Он погиб, не достигнув и двадцати восьми лет. Его короткая, стремительно промелькнувшая жизнь делится как бы на два неравных отрезка. Первые девятнадцать лет ничем особенным не примечательны — семья, безоблачное детство в помещичьей усадьбе, гимназия, университет, обычный путь талантливого дворянского юноши, готовящего себя к ученой карьере. Картина резко меняется в последние восемь-девять лет — как будто подспудно накапливавшаяся энергия прорвалась в бурном кипении сил и страстей: небывалый взлет творческой активности, выдвинувший Писарева в первые ряды революционной публицистики и критики, ожесточенные литературно-политические бои, арест и почти пять лет одиночного тюремного заточения, тягостные неудачи в личной жизни со всеми их горькими переживаниями и неожиданная смерть в зените славы, в расцвете сил и талан-

та — такова эта удивительная и вместе с тем по-своему типическая биография.

Напомним, что Добролюбов умер двадцати пяти лет от роду, Чернышевский был арестован и осужден, когда ему едва исполнилось тридцать четыре года, Герцен в тридцать пять лет вынужден был эмигрировать, судебным преследованиям подверглись Михайлов и Шелгунов, Серно-Соловьевич и Обручев и немало других деятелей шестидесятых годов. Драматизм личной судьбы Писарева по-своему отразил и дух времени.

Дмитрий Иванович Писарев родился 2 октября (по старому стилю) 1840 года в селе Знаменском, Елецкого уезда, Орловской губернии, в семье дворянина, отставного штабс-капитана Новороссийского драгунского полка Ивана Ивановича Писарева. Это была патриархальная помещичья семья средней руки, хлебосольная, весьма образованная, с довольно прочными культурными традициями.

Воспитанием Писарева занималась исключительно мать. Поразительные способности его проявились уже в раннюю пору. У годовалого малютки был столик с наклеенными картинками, и, не умея еще говорить, он «звукоподражаниями различал» на нем домашних животных, птиц. Трех лет он знал уже азбуку, четырех — читал по-русски и по-французски. Когда ему минуло восемь лет, мать выписала для него и маленькой его сестры немку-гувернантку. Немецким языком ребенок овладел так же успешно, как и французским. Десятилетний мальчик читал с большим интересом «Тридцатилетнюю войну» Шиллера. Литературные наклонности пробудились в нем очень рано. Семи лет он просиживал целыми днями за сочинением романов.

«...В число провинностей мальчика,— пишет в своих мемуарах дядя Писарева по материнской линии А. Д. Данилов,— не входили ни лень, ни каприз, ни непослушание: ребенок был так даровит от природы и ему так легко давалось все, касающееся учения, что о невыполнении уроков не могло быть и речи. Капризничать же и ослушаться не мог Дм. Ив. уже по одному тому, что с детства обладал замечательным смыслом и тактом. Что бы ни приказывали ему, как бы бестолково ни было от него требование со стороны старших, он беспрекословно и немедленно все исполнял. Позднее, в первые три курса студенчества, когда мы особенно

близко и по-дружески с ним сошлись, он разъяснил мнё мотивы своего слепого и безусловного повиновения в ребяческие годы. „Я всегда понимал, — говорил мне Дм. Ив.,— что плетью обуха не перешибешь, лбом стену не пробьешь, а папашу и дядю С⟨ергея⟩ И⟨вановича⟩ не переспоришь... что ж страдать-то по-пустому, к чему же было б донкихотствовать и сражаться с мельницами?..“» [1].

Насколько духовный мир Писарева и в детские годы был по-своему сложен, доказывает дневник, который он вел в 1850—1852 годах [2]. В этом дневнике десятилетний мальчик отмечал все события, которые так или иначе остановили его внимание. Здесь и записи о чисто детских интересах — об играх, танцах, подарках, но наряду с этим и записи, свидетельствующие о сложных и тонких эмоциональных переживаниях и духовных запросах. Вот уехал любимый учитель, и десятилетний мальчик рассказывает, с какой остротой он пережил разлуку. Вот он ознакомился с «Детским журналом», и запись в дневнике очень толково передает впечатления и оценки маленького читателя.

Пытливый ум и выдающиеся способности, поразительная искренность и правдивость, за которую домашние прозвали его «хрустальной коробочкой», недетская сложность и интенсивность психологических переживаний — таковы черты, проявившиеся у Писарева уже в ранние годы.

В одиннадцатилетнем возрасте Писарев отдан был в петербургскую гимназию. В Петербург он уезжал благовоспитанным, послушным и благонравным мальчиком. Гимназия дала ему немалый запас знаний, но на его духовный рост, по его словам, она оказала незначительное влияние.

В эту пору Писарев предпочитал «Трех мушкетеров» романам Диккенса, а русских писателей он знал только по именам. «Евгений Онегин» и «Герой нашего времени» считались в гимназии произведениями безнравственными, а Гоголь — писателем сальным и в порядочном обществе совершенно неуместным. «Словом,

---

[1] Данилов А. Д. Несколько отрывочных воспоминаний о Д. И. Писареве, с. 4. — Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР. № 9536. VIб. 55.

[2] Дневник этот хранится в Рукописном отделе Института русской литературы АН СССР. В выдержках опубликован в кн.: Казанович Е. Д. И. Писарев. Пг., 1922.

я шел путем самого благовоспитанного юноши»,— писал потом сам Писарев.

Приводя эти слова, биограф Писарева Е. Соловьев пишет: «Писарев верно нарисовал свой портрет... Возле пятерок сосредоточивалось за этот период все его тщеславие: он носился с ними, как носится ребенок с игрушками,— кто бы мог предвидеть, что придет день, и почтительный ученик, не понимающий даже Диккенса, станет во главе освободительного движения русской мысли? Перед вами, словом,— заключал Е. Соловьев,— настоящий ребенок, несмотря на свои 16 лет» [1]. При таком подходе дальнейшая эволюция критика должна представляться совершенно необъяснимой. Такой загадкой она, в сущности, и кажется Соловьеву. Единственным фактором, способным, по его мнению, объяснить метаморфозу, происшедшую с Писаревым, является любовь к Кореневой, разбудившая в нем чувство самостоятельности. Соловьев сводит все воззрения Писарева к одной только идее эмансипации личности. И поэтому вполне логично для него определяющей причиной будущего перелома считать любовь к Раисе Кореневой: «Если не придавать значения этой любви к Раисе, то метаморфоза Писарева из невинного агнца в человека с резко определенной и ярко выраженной индивидуальностью навсегда должна остаться в большей или меньшей степени непонятной» [2].

Возникает законный вопрос: действительно ли в гимназические годы Писарев был только «невинным агнцем», который шел путем самого благовоспитанного юноши, находился в полном подчинении у старших и был совершенно лишен даже намека на самостоятельную мысль? Если это так, тогда «метаморфоза», происшедшая с ним, становится необъяснимой. Конечно, развитие предполагает *скачки,* качественные изменения. Если Писарев впоследствии стал одним из вождей революционной публицистики, то это совсем не значит, что в одиннадцать — пятнадцать лет он должен был быть маленьким революционером. Но от образа, нарисованного Соловьевым, нет путей перехода к будущему.

Биографические материалы, касающиеся ранних лет Писарева, весьма скудны, однако и то, что есть,

---

[1] Соловьев Е. Д. И. Писарев. — Петербург; Москва; Берлин, 1922, с. 43—45.
[2] Там же, с. 47.

позволяет сделать выводы, отличающиеся от выводов Соловьева.

Необходимо отметить, что черты и семейного и политического «благонравия» в ту пору Писареву были действительно присущи. Об этом свидетельствуют письма его к родным за 1852—1855 годы. Он подробно сообщал о бытовых мелочах своей жизни, подчеркивал свою почтительную сыновнюю привязанность, делился наиболее интересными семейными и политическими новостями. В письме от 15 декабря 1851 года он сообщал: «В гимназии был бунт. Не пугайся, мамаша, не думай, чтобы это было что-нибудь серьезное; нет, это была просто шалость: одного семиклассника послали к ученикам 4-го класса, чтобы он дал урок русского языка; те обиделись, произвели шум, и кончилось тем, что нескольких оставили без отпуска. Впрочем, Митя [1] говорит, что подобные случаи чрезвычайно редки. Мне нечего и говорить тебе, что Митя вовсе не принимал участия в этом возмущении». И далее: «...я имел удовольствие познакомиться с г. Потоловым... [2]. Я хорошенько постараюсь снискать его расположение; это будет для меня хорошей репутацией, потому что, как я сам вижу, только хорошие дети имеют преимущество пользоваться его дружбой» [3].

То же благонравие демонстрирует его письмо от 19 февраля 1855 года о смерти Николая I: «Пишу вам на следующий день после грустного и великого события; вчера в час пополудни император скончался после двухдневной болезни. Вы можете себе представить, какое удивление и какое смущение произвело это во всем городе... такой красивый, такой исполненный сил и здоровья,— и вот он мертв. Это меня бесконечно печалило в течение этих двух дней; между тем я даже редко видел государя вблизи, и я его не знаю, но это врожденное чувство привязанности к монарху, так что это ужасное событие заставило меня даже много плакать» [4].

---

[1] Митя — Уваров, родственник и товарищ Писарева по гимназии.

[2] Потолов — знакомый Писаревых.

[3] Шестидесятые годы: Материалы по истории литературы и общественному движению. Под ред. Н. К. Пиксанова и О. В. Цеховицера. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940, с. 111.

[4] Шестидесятые годы, с. 129.

Отклик, который встретила у Писарева смерть Николая I, конечно чрезвычайно отчетливо свидетельствует о сугубой политической наивности пятнадцатилетнего гимназиста, но в то же время письма этого периода показывают, как не прав Соловьев, сводящий все интересы молодого Писарева только лишь к одним пятеркам. Наряду с мелочами гимназического быта письма отражают духовные интересы Писарева, споры с товарищами на религиозные и эстетические темы, пристальное внимание к таким большим политическим событиям эпохи, как Крымская война. В письме от 27 января 1855 года он пишет родителям: «Крымские армии не сходят с места; в лагере союзников недостаток провианта и страшные болезни...» [1]

Мы уже отмечали, что «благонравие», почтительное преклонение перед авторитетом родителей, политическая наивность в этот период — факты, бесспорные в биографии Писарева. В своих воспоминаниях А. Д. Данилов подчеркивает, что основным принципом, которым руководствовались родители Дмитрия Ивановича в своем воспитании сына, было безусловное и безоговорочное подчинение воле старших, не подлежащей критике и обсуждению. «Не рассуждать» — таков был их девиз. Это, с одной стороны, действительно делало из маленького Писарева примерный образец послушания и благонравия, но, с другой, постепенно вырабатывало протест, закладывало семена будущего страстного отрицания тирании, в какой бы форме она ни проявлялась. Уже и в эти годы начала сказываться его способность к самостоятельному критическому суждению.

Вот, например, его сочинение «Первый урок за азбукой», которое относится к периоду пребывания в гимназии. По всей видимости, это было классное сочинение, заданное гимназистам на определенную тему. Оно показывает, что уже тогда в Писареве пробуждалось смутное, не оформленное еще сознание искусственности той атмосферы, которая окружала его в детстве. В благонравном гимназисте постепенно созревала пытливая, самостоятельная критическая мысль. Пробуждение ее сказалось и в других его сочинениях этого периода. Он весьма толково разбирал «Горе от ума», писал рассказы на экзотические темы («Мщение» — из испанской жизни), делал пейзажные зарисовки («Летний вечер»),

---

[1] Шестидесятые годы, с. 128.

В отсутствии «духовной самостоятельности» у Фамусова, в трагических переживаниях Чацкого с его нежной и любящей душой, в «безгласии» Молчалина, труса и льстеца, Писарев видит полезный урок и «нынешнему обществу». Здесь у почтительного гимназиста робко и неуверенно пробиваются те ростки, которые впоследствии, под влиянием исторических обстоятельств, под влиянием бурного подъема шестидесятых годов, приведут к перелому всего его миросозерцания и дадут свои богатые результаты.

Гимназию Писарев окончил с серебряной медалью.

Позднее в статье «Наша университетская наука» (1863) он с насмешкой говорил об отрывочности и бессистемности школьного обучения. Надо, однако, признать, что именно в гимназии были заложены основы той разносторонней и широкой образованности, которая впоследствии отчетливо проявилась в его публицистической деятельности, и что именно в гимназии начали пробуждаться в нем элементы критической оценки окружающей действительности.

В 1856 году Писарев поступил в Петербургский университет. «Способность к развитию и совершенная неразвитость», подчеркивал сам Писарев, составляли все его умственное состояние, когда он вошел «под священные своды храма наук» [1].

Духовному созреванию Писарева университет на первых порах тоже содействовал немногим. Писарев прилежно и с любовью занимался науками и товарищей своих поражал не только молодостью (ему было всего шестнадцать лет), но и великолепной памятью и редкой работоспособностью. Его университетский товарищ П. Полевой так описывает свои встречи с юным студентом.

На одной из сводных лекций по классической литературе вызвался читать «Одиссею» «худощавенький, беленький и розовенький мальчик и чрезвычайно бойко прочел несколько десятков строк греческого текста; прочитав отрывок, он перевел его так же бойко, внятно произнося каждое слово своим мягким и тоненьким, почти детским голоском... На другой лекции — опять та

---

[1] Писарев Д. И. Соч.: В 4-х т. М.: Гослитиздат, 1955, с. 137. (В дальнейшем ссылки на произведения, вошедшие в данное издание, даются в тексте: римская цифра обозначает том, арабская — страницу.)

же история: тот же студентик вызывается читать и переводить Гомера, и опять его нежный и тоненький голосок один, в течение целого часа, раздается в аудитории. На меня это подействовало пренеприятно: мне студентик этот показался *выскочкой*. Я бы, вероятно, невзлюбил Писарева за это, если б не узнал вскоре, что он является выскочкой невольным, потому что остальные товарищи его ленятся приготовлять отрывки из классического автора и каждый раз заставляют переводить Писарева, который переводит Гомера *без всякого приготовления»* [1].

В университете Писарев надеялся найти путь к разумной деятельности, которая наполнила бы жизнь большим и серьезным содержанием. Этим ожиданиям, однако, не суждено было осуществиться. В статье «Наша университетская наука» Писарев подробно рассказал, как рушились его мечты и в каком неприглядном свете представился ему академический Олимп. Перед читателем проходит целая галерея университетских профессоров, изображенных с неподражаемым юмором и язвительностью.

Когда Писарев обратился к профессору истории Касторскому с просьбой помочь ему в исторических занятиях, тот посоветовал проштудировать всю энциклопедию Эрша и Грубера, а сверх того Геродота, Фукидида, Плиния, Тита Ливия и др. Нетрудно догадаться, что этот совет не мог не возбудить в душе молодого студента отвращения к бессмысленному, «кретинизирующему» труду. Критик с горечью признавался, что не один Касторский снабжал его такими же «бестолковыми советами». Писарев пожелал заняться филологией, и профессор русской словесности Сухомлинов заставил его первым долгом перевести с немецкого книгу Штейнталя «Языкознание Вильгельма Гумбольдта и философия Гегеля», а затем предложил ему написать о Гумбольдте работу по книге Гайма с дополнениями по книге Шлезиера. На все это ушло у Писарева шестнадцать месяцев упорного труда. Ему все более становилось ясным, что дорога, по которой вели его университетские наставники, приведет в тупик. Живой и пытливый ум молодого студента не мог не заметить, что его

---

[1] Полевой. П. Воспоминания о Дмитрии Ивановиче Писареве. — С.-Петербург. ведомости, 1868, № 193, с. 1.

уводят в дебри безжизненной схоластики и что на этом пути его ждет полная катастрофа.

В университете Писарев сблизился с кружком студентов-филологов. Входили в него: Л. Н. Майков (1839—1900), Н. А. Трескин (1839—1894), А. М. Скабичевский (1838—1910), П. Н. Полевой (1839—1902). Товарищи его без мук и сомнений облюбовали различные отрасли специальных знаний [1]. Писарев с величайшей завистью взирал на успехи своих сокурсников и глубоко переживал то, что ему до сих пор не удавалось найти себя, определить свой круг научных интересов.

«Смешно вспомнить теперь,— пишет Полевой,— что искание специальности часто доводило студента Писарева до *слез*! Да, он плакал, просто плакал о том, что мы все, составлявшие тесный кружок его товарищей, уже занимались серьезно, а он все еще перебегал от одного предмета к другому» [2].

К концу второго курса Писарев переехал от своего родственника, из Коломны, в семейство студента Трескина, на Васильевский остров. Здесь Писарев был встречен ласково и радушно. Трескины смотрели на него как на родного и не могли нарадоваться на дружбу Писарева с их сыном.

В письме к Александре Кондратьевне Трескиной от 23 июля 1859 года Писарев писал: «...тысячу раз благодарю вас, многоуважаемая Александра Кондратьевна, за то, что вы не считаете меня чужим для вашего семейства; вы доказывали мне это ежедневно в течение того времени, когда я был в вашем доме... в Петербурге мне нигде не может быть так хорошо, так *тепло* жить, как у вас; скажу правду, без фраз; нынешний год оставил по себе для меня самые приятные воспоминания; я жил прежде у родственников, а все-таки не встречал того радушия, той заботливости, которую нашел у вас и которую до того времени находил только в Грунце» [3].

Студенческий кружок, с которым Писарев сблизился, состоял из серьезных, начитанных, трудолюбивых,

---

[1] Л. Н. Майков и П. Н. Полевой — впоследствии историки литературы, А. М. Скабичевский — литературовед и критик, Н. А. Трескин — педагог.

[2] Полевой П. Воспоминания о Дмитрии Ивановиче Писареве, с. 2.

[3] Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР, № 14614. XXXVб. 17.

но совершенно аполитичных молодых людей. Они стремились уберечь Писарева от участия в общественном движении, которым охвачено было студенчество университета. Их старания не остались безуспешными. По-видимому, не без воздействия своих друзей, он писал редакторам студенческого «Вестника свободных мнений»: «...благородный жар ваш увлек вас слишком далеко и заставил забыть необходимую внешнюю осторожность, которою даже в наше время должно прикрывать смелые, благородные идеи. В нас говорила не трусость, не чувство смиренья — нет! То была любовь к общему делу, но любовь предусмотрительная, любовь к свободе... которой мы не хотели терять из-за памфлетов и смелых злословий» [1].

Однако подъем шестидесятых годов находил свой отклик в стенах университета. В общий поток оказался вовлеченным и Писарев. Наряду с освобождением от влияния консервативной профессуры он все больше отдалялся от кружка филологов и начал принимать участие в общественной жизни студенчества, в университетских сходках. Скабичевский рассказывает в своих воспоминаниях: «...Писарев всегда был человек весьма впечатлительный и способный увлекаться до безумия... и из университетского периода его жизни я помню два случая его увлекаемости: один раз он пришел в такой энтузиазм на одной студенческой сходке, что расплакался, а в другой раз, во время некоторых недоразумений, происшедших между студентами и одним из профессоров, увлекся до того, что лег на стол и начал барабанить ногами в стену, за которой сидел профессор в аудитории, где в это время происходил скандал» [2].

Компиляторские работы, которые Писарев делал по совету своих наставников, не давали ему никакого внутреннего удовлетворения, но и в них сказывались его незаурядные литературные дарования. Эти дарования впервые нашли свое применение на журнальном поприще, где они впоследствии развернулись во всем блеске.

В конце 1858 года Писарев был приглашен сотрудничать в «Рассвете» — «журнале наук, искусств и литературы для взрослых девиц». Этот журнал издавал артиллерийский офицер Кремпин.

---

[1] Рус. старина, 1900. окт., с. 111.
[2] Скабичевский А. Соч: В 2-х т. СПб., 1890, т. 1, с. 149.

Н. К. Михайловский, тоже дебютировавший в «Рассвете», писал не без юмора: «Почему артиллерийский офицер издавал журнал для взрослых девиц... этого сразу не поймешь», однако он тут же признавал, что «это был журнал по-своему интересный и живой...» [1]

Участвовали в журнале либеральные публицисты: Водовозов, Стоюнин, Семевский. Кремпин пригласил сотрудничать, помимо Писарева, и некоторых других участников кружка филологов. Но в то время как для всех остальных работа в «Рассвете» оказалась случайным эпизодом, Писарев отнесся к сотрудничеству в журнале со всей серьезностью.

Сам Писарев писал, что направление журнала было «сладкое, но приличное». Сначала он взглянул на свою новую работу преимущественно с материальной стороны. Библиографические статейки оплачивались сравнительно неплохо и доставляли ему ежемесячно от 60 до 70 рублей серебром. «Для студента, бегавшего в Публичную библиотеку,— признавался Писарев,— чтобы не издержать пяти рублей на книгу, это была целая Калифорния» (II, 176). Ему приходилось писать и о художественной литературе, и об исторических работах Маколея, и о трудах по естественным наукам. В «Рассвете» он напечатал около сотни рецензий и такие серьезные статьи, как «Обломов», «Дворянское гнездо» и «Три смерти».

Но сколь ни скромен был характер работы в «Рассвете», этот период определил подлинное жизненное призвание Писарева. Он все больше и больше втягивался в литературную работу, которая начинала действовать на него «не с одной денежной стороны». Молодой автор привязался к ней искренне и сильно и писал свои статьи с таким увлечением, с каким ему никогда не случалось работать над биографией Гумбольдта. «Словом, библиография моя,— заключал он,— насильно вытащила меня из закупоренной кельи на свежий воздух, и этот переход доставил мне греховное удовольствие, которого я не мог скрыть ни от самого себя, ни от других» (II, 177).

Дар професионального журналиста проснулся в Писареве с непреодолимой силой. В «Рассвете» он ощутил

---

[1] Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная смута. СПб., 1900, т. I, с. 6.

свое настоящее жизненное призвание. «Один год журнальной работы,— писал он,— принес больше пользы моему умственному развитию, чем два года усиленных занятий в университете и в библиотеке» (II, 180).

Мы уже отмечали, что еще в гимназические годы у Писарева начали появляться элементы критического отношения к действительности. Разочарование в ученой схоластике, бурный общественный подъем в конце пятидесятых годов, широкое ознакомление с самой разнообразной литературой, и исторической и естественнонаучной, растущее влияние «Современника», проповедь Герцена [1] — все это содействовало идейному росту Писарева, все это заставляло его пересматривать незыблемые ранее представления. Работа в «Рассвете» отразила этот период становления, это колебание между студенческим кружком филологов и «Современником», этот намечающийся разрыв с традициями «благонравия».

В исследованиях о биографии Писарева имеется досадный пробел. До сих пор не выяснены обстоятельства, при которых начался перелом в миросозерцании критика, обозначился разрыв с традициями дворянской благонамеренности. Мы обратили внимание на то, что и в юношеские годы в его сознании зрели элементы самостоятельного и критического отношения к действительности. Но при всем том, как мы указывали, Писарев оставался в ту пору в кругу обычных представлений благонравного дворянского юноши, для которого авторитет семьи, класса, установившихся обычаев и традиций непререкаем. Когда же началась у него та переоценка ценностей, которая позднее привела его в лагерь беспощадных борцов против всех основ быта, морали, против всех канонов и догм помещичье-монархической России? Для того чтобы полностью ответить на этот вопрос, у нас еще нет достаточных материалов. Однако некоторый свет проливают упомянутые уже мемуары А. Д. Данилова. В них рассказано, как мучительно было Писареву узнать правду о темных и преступных деяниях его ближайших родичей и какой ценой давалась ему истина о подлинной моральной ценности пресловутого дворянского кодекса чести. Своей кульминации этот процесс постижения истины и

[1] Судя по письму к Л. Н. Майкову, летом 1858 года Писарев познакомился с романом «Кто виноват?».

переоценки ценностей, по мнению Данилова, достиг к 1859 году.

Данилов рассказывает, как летом 1859 года Писарев приехал домой на каникулы вместе с Трескиным. Оба были захвачены новыми веяниями. И вполне понятно, что молодые люди неминуемо должны были столкнуться с отсталыми настроениями провинциальных ретроградов.

«Читатель может представить себе,— пишет А. Д. Данилов,— какая кутерьма пошла у нас: общество состояло из отставного кавалериста прошлого царствования, ничего, кроме французских романов, в свой век не читавшего, — нескольких барынь, блестяще говорящих по-французски и не умевших на русском языке связать двух строк,— действительного студента университета, всю жизнь не задумывавшегося ни о чем и веровавшего, что все кругом его обстоит благополучно, — и двух молодых, свежих студентов петербургских, только что вырвавшихся из самой среды кипучей деятельности и борьбы нового, нарождающегося — с старым и отжившим. Разумеется, что не было предмета, который не порождал бы между нами спора, не было разговора, который не оканчивался б страшным криком и раздражением всех, в нем участвующих. Мы говорили друг другу колкости, дерзости, оскорбления, словом, спорили так, как обыкновенно спорят люди, не умеющие уважать чужих мнений, и только что не дрались» [1].

И именно летом 1859 года, подчеркивает Данилов, Писарев с мучительной ясностью увидел, что́ представляют собой его родные, каковы моральные, эстетические и политические принципы того класса, в традициях которого его воспитали.

«Вот в эту-то пору постоянной и нередко междоусобной розни Дм. Ив. быстро двинулся вперед. Во-первых, споры эти раскрыли пред ним многое, что прежде тщательно от юноши хранилось, и, во-вторых, самые-то лица, окружавшие его и ему близкие, предстали пред ним со всем своим запасом знаний, понятий и убеждений, во всей своей необольстительной наготе. Я помню, как по ночам взволнованный юноша будил меня, садился на моей постели и все более и более хотел узнать из той фамильной chronique scandaleuse, в

---

[1] Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР. № 9536. LVIб. 55, с. 20.

которой он мелько прочел уже некоторые страницы. «Безбожно, — говорил он, — скрывать от меня такие вещи, которые все знают: невольно попадаешься от этого неведения впросак. Прошлую зиму, дядя, вот что случилось со мною: я был в одном литературном кружке,— меня представили как начинающего известному Ч***, назвали мою фамилию,— и он вдруг вытаращил на меня глаза. «А NN сродни вам?» — спросил он. «Как же-с, говорю, двоюродный дядя».— «И вы знакомы с ним?» — спрашивает. «Как нельзя лучше, говорю, отличный человек,— всем родным помогает».— «Как ему не помогать: ведь он наворовал-то, как служил при ***, миллионы... край целый разорил!» И пошел от меня, словно я в чем виноват был, а вольно ж было маман представлять мне в самых лучших красках и не сказать напрямки, какая это в действительности личность...»

Другие близкие люди сами озаботились разочаровать Дм. Ив. в своих особах. Они упорно, как столбы, стояли на месте, а он, талантливый и вечно рвущийся вперед, подобно сказочному богатырю, рос не по дням, а по часам. При таких условиях мертвого стояния, с одной стороны, и безустанного движения — с другой, разойтиться близким людям было нетрудно, и они разошлись так, что уже потом в течение всей жизни не сходились. Так, один из самых близких к Дм. Ив. людей очень наивно ему рассказал, какие доходы и каким путем получал, служа в ополчении. Дм. Ив. вытаращил глаза, выслушав это добровольное признание, и, платя откровенностью на откровенность, назвал казнокрадством доходы эти. «А ты бы на месте моем не взял?» — спросил с недоверием старый грешник. «Не взял бы»,— ответил твердо молодой человек. «Ну, а как женишься на любимой девушке, да попросит она мантилию у тебя, а денег не будет: и тогда не возьмешь?» — «Не возьму», — повторил юноша, изумляясь все более и более цинизму собеседника и понятиям его. «Врешь, возьмешь!» — заключил просветитель, не подозревая, что в эти минуты он терял навсегда так близкого ему человека...

Можно утвердительно сказать, что в течение тех же летних месяцев молодой Писарев чрезмерно и неестественно двинулся вперед. Для него, во-первых, открылось много таинственного из жизни окружающих и самых близких ему людей,— много такого, чего он и не подозревал; во-вторых, пред ним раскрылись все тайные нити и пружины, которыми оплетали и держали

его в своих руках эти люди. Ему стали ясны теперь и те, кто им управляет, и то, как им управляют» [1].

Писареву открылся не только лик казнокрадов и лихоимцев из среды помещиков. Он увидел среди своих ближайших родичей яростных крепостников: в таком обличии перед ним предстал дядя по отцовской линии Сергей Иванович Писарев, человек, придерживавшийся диких понятий о литературе и искусстве, ухитрявшийся в конце пятидесятых годов называть Гоголя бездарностью и фразером. И нет никакого сомнения, что это саморазоблачение ближайшего дворянского окружения сыграло значительную роль в духовном формировании критика, которого коснулись уже новые веяния времени. Имея в виду, очевидно, и близких вроде Сергея Ивановича и верования и традиции своего детства и юности, Писарев говорил впоследствии А. Д. Данилову: «Не знаю, как кому,— а мне легко было расставаться со всей этой дрянью: как-то веселее стало с той поры и на свете жить» [2].

Этот перелом, однако, был так резок и мучителен, что Писарев пережил серьезный умственный кризис. Все понятия, усвоенные им с самого детства, все готовые суждения, казавшиеся ему незыблемой основой всего существующего, все гипотезы, имеющие такое «тираническое влияние на мысли и поступки большей части людей» (II, 180),— все это стало обнаруживать перед ним свою несостоятельность.

Огромное умственное напряжение закончилось весной 1860 года психической болезнью.

Четыре месяца Писарев пробыл в психиатрической больнице доктора Штейна и наконец однажды сбежал и неожиданно явился к Трескину. Старик Трескин отправил его на родину.

Летом 1860 года, оправившись от болезни, Писарев снова энергично взялся за литературную работу. В письме к Л. Н. Майкову от 7 июля 1860 года он говорил об обширных и разнообразных своих литературных занятиях: «Вот сколько работ я делаю на этих каникулах: 1) Написал критическую статью об М. Вов-

---

[1] Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР. № 9536. LVIб. 55, с. 21—22, 27.

[2] Там же, с. 19.

чке в 6 печатных листов. 2) Перевел листа 2 биографии Шиллера. 3) Перевел целую песню (более 3000 стихов) Мессиады. 4) Перевел более 1500 стихов из Гейне...»[1] По позднейшему признанию Писарева, Гейне оказал на него большое влияние. Политические настроения Писарева характеризуются разочарованием в «либеральном» курсе Александра II. Разрыв с духом «благонравия», царившим в семье Писаревых и долгое время державшим в плену самого Дмитрия Ивановича, все более и более углублялся.

Отдохнув дома и поправившись, Писарев вернулся в университет. Последний год пребывания в университете он почти совсем не ходил на лекции, но энергично и много работал. К выпускным экзаменам он взялся подготовить кандидатскую диссертацию об Аполлонии Тианском. Времени из-за болезни осталось чрезвычайно мало, и только исключительная одаренность Писарева позволила ему закончить работу в срок. Он писал без черновой, потому что переписывать было некогда, и старался литературно оформлять материал так, чтобы диссертация могла быть помещена в каком-нибудь журнале. К началу января он кончил свой труд и «заметил не без удовольствия», что в нем по крайней мере пятнадцать печатных листов. Написав на диссертации эпиграф: «Еже писах, писах», он представил ее в совет университета и был удостоен на защите серебряной медали.

Окончив университет в 1861 году, Писарев полностью отдался литературной деятельности. Незадолго до этого он напечатал в журнале «Русское слово» перевод поэмы Гейне «Атта Тролль». С весны 1861 года началась его планомерная, неутомимая и блестящая работа в «Русском слове», выдвинувшая этот журнал на одно из первых мест в революционной журналистике.

С поразительной энергией и трудолюбием работал Писарев в журнале, выступая в каждом номере со статьями, посвященными самым жгучим вопросам литературно-политической современности.

В кругу «Русского слова», особенно близко ни с кем не сходясь, он был коротко знаком с издателем журнала Кушелевым-Безбородко, с Благосветловым, Минаевым, Крестовским. Встречался с Ф. Достоевским и

[1] Шестидесятые годы, с. 145.

несколько раз был по делам журнала у Чернышевского.

В 1862 году весьма драматически закончился долголетний и тягостный юношеский роман Писарева. С девяти лет Писарев воспитывался вместе со своей кузиной Раисой Кореневой, которую в своих письмах он именовал *Раизой*. Она потеряла мать, и Писаревы взяли ее к себе на воспитание. Со временем детская дружба превратилась у Писарева в необычайно сильную и страстную привязанность. Эта первая любовь стала, по собственному признанию Писарева, «высшим интересом его жизни». Он собирался жениться на Раисе и был преисполнен самых радужных планов семейного счастья. Однако, по свидетельству биографов, семья Писарева всячески противодействовала этому браку. Не совсем ясны мотивы этого поведения родных. Да это, впрочем, и не так уж важно было. Вряд ли мнение родителей могло бы заставить его переменить решение. Вся беда состояла в том, что Раиса не любила своего кузена и чувство его не находило настоящего отклика. Перипетии этого романа были сложны и прихотливы. То Раиса соглашалась выйти замуж за Писарева, то она отказывала ему. Наконец она открыто заявила, что любит другого и выйдет за него замуж. Этим другим был красивый и ничтожный человек — некий Гарднер. С грустью видишь, как метался Писарев в поисках выхода, судорожно пытаясь спасти ускользающее от него счастье. То он предлагал Раисе формально вступить с ним в брак и предоставлял ей полную свободу действий в тайной надежде, что рано или поздно она вернется к нему. То он наносил Гарднеру публичное оскорбление и чуть ли не собирался драться с ним на дуэли. Ничем, однако, горю он не мог помочь: Раиса его не любила, и тут уже ничего поделать было нельзя. Через несколько лет, уже будучи в Петропавловской крепости, Писарев снова подтвердил, каким мучительно-сильным было его чувство к Раисе.

Когда Писарев был в тюрьме, между ним и некоей Лидией Осиповной завязалась оживленная переписка. Лидия Осиповна была близкой знакомой матери и сестры критика. Видимо, с их слов он составил себе самое лестное впечатление об этой не знакомой ему девушке, которую он так ни разу в глаза и не видел.

Впечатлительный, легко воспламенявшийся, Писарев в мечтах своих создал идеальный образ подруги жизни — умной, нежной, преданной. В многословных, рассудительных и наивных письмах он убеждал Лидию Осиповну, что будет для нее превосходным мужем, что у него есть все данные для того, чтобы составить ее счастье, и — самое главное — что Раису он разлюбил, с ней покончено раз и навсегда и первая любовь его не будет стоять между ними. Переписка с Лидией Осиповной показательна тем, что Писарев стремился в личной жизни претворить свои теоретические воззрения. Он писал Лидии Осиповне, убеждая ее в необходимости выйти за него замуж и оправдывая это странное «сватовство на расстоянии»: «Вам непременно надо выйти за нового человека». В это время Писарев был увлечен романом Чернышевского «Что делать?». Напомним, что в подзаголовке книги значилось: «Из рассказов о *новых людях*». Писарев с полным основанием мог причислить себя к ним. Он был убежден, что можно чувства подчинить голосу рассудка и строить семейные отношения в соответствии с теориями разумного эгоизма. Стоило, однако, Раисе приехать в Петербург и высказать желание встретиться с ним, как старая любовь, прежние муки и прежние надежды снова заговорили с давней силой. Раиса недвусмысленно отвергла притязания Писарева. В письме, исполненном горькой иронии, Писарев заверил кузину, что больше не будет добиваться ее благосклонности. «Любить я тебя буду, вероятно, всегда, но добиваться — баста» [1].

Отношения с Раисой показывают, с какой страстью и непосредственностью, без расчета и оглядки, всем своим существом, всем своим сердцем отдавался Писарев охватившему его чувству. С такой же пылкой горячностью отдавался он всем своим существом и полюбившейся ему идее. В этом была сила Писарева как писателя, как проповедника, но в этом была и известная слабость его как мыслителя: иногда душевные порывы приводили его к крайностям и преувеличениям.

Как ни были тяжелы и безрадостны личные дела Писарева, он работал в «Русском слове» с упоением и со все возраставшим успехом.

Н. В. Шелгунов оставил выразительный портрет Писарева этой поры: «Раз утром зашел я к Благосветлову.

---

[1] Рус. обозрение, 1893, янв., с. 225.

В первой комнате у конторки стоял щеголевато одетый, совсем еще молодой человек, почти юноша, с открытым, ясным лицом, большим, хорошо очерченным, умным лбом и с большими умными, красивыми глазами. Юноша держал себя несколько прямо, точно его что-то поднимало, и во всей его фигуре чувствовалась боевая готовность. Это был Писарев»[1].

Боевой дух, проникнутый подлинной революционностью, сказывался не только в самом облике Писарева, но и в его работах. И этот боевой дух почувствовали не только читатели, горячо встретившие выступления Писарева, но и правительственные сферы. В 1862 году, страшась революционной угрозы, правительство приняло ряд мер против революционно-демократической журналистики. В этом же году был арестован и привлечен к судебной ответственности и Писарев. Дело состояло в следующем: для того чтобы бороться с растущим влиянием революционной пропаганды «Колокола», царское правительство поручило агенту русского министерства финансов барону Фирксу написать ряд брошюр, направленных против Герцена. Эти брошюры, наполненные инсинуациями и клеветой, сочинялись на французском языке и были предназначены для заграницы. Барон Фиркс скрывался под псевдонимом Шедо-Ферроти.

Пасквильные выходки Шедо-Ферроти возбудили негодование передовой молодежи. Студент Павел Мошкалов написал специальную прокламацию, в которой говорил: «В действиях нашего правительства, подавляющего всякое проявление жизни, замечается новая черта — трусливая подлость иезуита. Не переставая ссылать, засекать, пытать, расстреливать, оно употребляет скрытные, подлые, но вполне достойные его меры там, где нельзя ничего сделать грубым насилием. На днях оно пустило в продажу брошюру, написанную каким-то Шедо-Ферроти и направленную против Герцена (Искандера)... мы спросим вас, гнилые столбы деспотизма: неужели вы думаете подобными мерами ослабить огромное влияние, производимое изданиями Герцена на общество? Нет, вам остается одно — убить Герцена. Не предавайте смеху подобную гнусную мысль! — она ваша. И, несмотря на ловкую диалектику Шедо-Фер-

---

[1] Шелгунов Н. В. Воспоминания. М.; Пг.: Госиздат, 1923, с. 171.

роти, ему не вполне удалось замаскировать и предать посмеянию подобную мысль» [1].

Писарев на одну из этих брошюр Шедо-Ферроти написал для «Русского слова» рецензию, которую цензура, однако, не пропустила. Тогда, воспользовавшись предложением своего университетского товарища П. Д. Баллода, он написал для нелегальной «карманной» типографии прокламацию, разоблачавшую Шедо-Ферроти и призывавшую к низвержению самодержавия. По доносу типографщика Горбановского, который печатал Баллоду прокламации, Баллод был арестован, а вслед за ним 2 июля арестовали и Писарева. Почти полтора месяца он отказывался от показаний и лишь под давлением улик вынужден был сознаться в авторстве статьи, направленной против барона Фиркса.

Желая, видимо, смягчить наказание, Писарев указывал на причины главным образом личного порядка, вызвавшие психологический кризис и толкнувшие его на «пагубный путь».

«Объяснить, почему я, очертя голову, согласился, по предложению Баллода, написать статью, я могу только указанием на весь мой характер. Человек благоразумный не сделал бы этого, а я сделал это из мальчишеского ухарства; кроме того, я страдал тогда оттого, что любимая мною женщина вышла замуж за другого; я был расстроен закрытием „Русского слова“» [2].

В позднейшем определении сената отмечены были и упорное запирательство Писарева вначале и «неискренность в самом сознании». Эту неискренность сенат, видимо, усматривал в том, что, ссылаясь, с одной стороны, на личные и, в сущности, случайные мотивы своего политического выступления, Писарев, с другой стороны, указывал как бы невзначай на основы реакционной политики Александра II как на фактор, побудивший его написать революционную прокламацию. В показаниях Писарева отмечалось, что среди обстоятельств, заставивших его написать прокламацию, было закрытие воскресных школ, читален и шахматного клуба, запрещение передовых журналов, упразднение II отделения Литературного фонда. Это, конечно, не впечатления

---

[1] Лемке М. Политические процессы в России 1860-х гг. М.; Пг.: Госиздат, 1923, с. 537—538.

[2] Там же, с. 575.

минуты, а впечатления от всего *политического курса* Александра II.

Почти два года, до 25 мая 1864 года, Писарев сидел в тюрьме в качестве подследственного, оставаясь в абсолютной неизвестности относительно своей дальнейшей судьбы. Лишь 25 мая 1864 года состоялось сенатское определение, в котором было сказано: «...кандидат СПб. унив. Писарев виновен... в составлении возмутительной статьи, заключающей в себе опровержение брошюры Шедо-Ферроти и преисполненной дерзких и оскорбительных выражений и против правительства и против самого государя императора... Посему, обращаясь к суждению о мере наказания Писарева и сокращения оного по указу 17 апреля, сенат находит, что первоначальное упорное запирательство его в преступлении, а потом неискренность и в самом сознании, несмотря на все делаемые ему увещания, ведут к тому, что он должен понести наказание, ему следующее, в высшей оного мере, а сокращено должно быть оное на основании вышеприведенного указа сенату только на одну треть, т. е. он должен быть лишен некоторых прав и преимуществ и подвергнут заключению в крепости на 2 года и 8 месяцев, а по предмету покушения на распространение сочиненной им возмутительной статьи оставлен в сильном подозрении» [1].

В крепости Писарев провел 4 года, 4 месяца и 18 дней.

Материалов, относящихся к периоду пребывания Писарева в крепости, в нашем распоряжении весьма мало. Приводя отрывки из писаревских писем периода заключения в крепости, Е. Соловьев говорит чуть ли не об идиллических условиях существования заключенного. Писарев успокаивает родных, ни на что не жалуется, ведет переписку с Лидией Осиповной, занят интенсивной творческой работой. Что же удивительного в том, что «особенной бодростью,— как утверждает Соловьев, — отличаются его письма от 1864—65 годов»? [2] Но даже те материалы, которыми мы располагаем, рисуют картину, ничего общего не имеющую с той идиллией, которую нарисовал Е. Соловьев. Писарев действительно держался в крепости с большим достоинством и мужеством, он не ходатайствовал о помиловании и ни у

---

[1] Лемке М. Политические процессы в России 1860-х гг., с. 589.
[2] Соловьев Е. Д. И. Писарев, с. 184.

кого не просил помощи. Письма его к родным[1] действительно лишены уныния: он, напротив, всячески подбадривает своих близких. Но, несмотря на то, что цель писем главным образом и заключалась в этом поддержании духа бодрости у матери, даже в них отразились тяжелые обстоятельства тюремной жизни Писарева. Уже в письме от 16 июля 1862 года[2] он предупреждает мать против чрезмерных надежд, которые, видимо, она питала в связи с ходатайством перед управляющим III отделением генералом Потаповым. Сам он очень трезво относился ко всем превратностям судьбы, которые могли ожидать его в тюрьме. Как ни скрывал это Писарев от родных, но тревожная неопределенность, вызванная задержкой с вынесением приговора, совершенная неизвестность относительно дальнейшей судьбы мучили и волновали его.

В какой мере Писарев считался с самыми неожиданными возможностями, обусловленными его положением в крепости, доказывают слова из письма, по-видимому написанного уже после объявления приговора: «Я очень хорошо знаю, что я не стою на ровной дороге и что, может быть, мне долго или совсем не удастся попасть на нее».

Хотя в письмах и проскальзывали намеки такого рода, но в них ничего не говорится о той жестокой и трудной борьбе, которую пришлось ему выдержать, отстаивая право на литературную работу. Писарев не хотел рассказывать родным обо всех перипетиях этой борьбы. И только материалы, опубликованные в советские годы, проливают свет на эту сторону тюремной жизни Писарева[3].

Заниматься литературной работой Писареву было

---

[1] А. Данилов рассказывал, как письма эти пересылались на волю: «Дмитрию Ивановичу отпускалась для литературных работ бумага на счет; поэтому письма эти писались микроскопическими буквами на маленьких клочках, оторванных от полей печатных страниц. Мать, — которая все свыше четырехлетнее заключение обожаемого сына жила, бросив свой тихий деревенский уголок, против крепости, — постоянно посещала невольного отшельника и, дрожа от страха, уносила в башмаке листок, который переписывала для доставления по адресу, а подлинник хранила на память» (Рус. обозрение, 1893, янв., с. 223).

[2] Письмо не датировано, но в нем есть точное хронологическое указание: «Сегодня ровно две недели с тех пор, как я в крепости» (Соловьев Е. Д. И. Писарев, с. 161).

[3] См.: Д. И. Писарев в Петропавловской крепости. — Лит. наследство, 1936, № 25—26, с. 655—679.

разрешено петербургским военным генерал-губернатором Суворовым по ходатайству матери лишь в июне 1863 года, то есть после почти годичного пребывания в крепости[1]. Сперва управляющий III отделением генерал Потапов намеревался перевести Писарева в Алексеевский равелин, где режим был особенно строгим. «Писарев по своему преступлению,— писал он шефу жандармов князю Долгорукову, — подлежит лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы, а потому, во избежание, чтобы статьи Писарева не произвели бы тех последствий, какие произошли от романа Чернышевского «Что делать?», я полагал бы снестись с министром юстиции, не признает ли он нужным переместить Писарева в Алексеевский равелин, и тогда как выпуск его статей, так и неуместные свидания могут быть прекращены»[2]. Князь Долгоруков оставил это представление без последствий, и 25 июня комендант крепости был поставлен в известность о «высочайшем разрешении» Писареву «продолжать литературные занятия». Прохождение рукописей было чрезвычайно сложным: комендатура крепости, управление петербургского военного генерал-губернатора, сенат — таковы были инстанции, через которые каждая рукопись проходила, не считая обычной цензурной процедуры.

Несмотря на все это, журнальная работа Писарева в крепости поражает своей необычайной интенсивностью.

В 1864 и 1865 годах его статьи появлялись в каждом номере «Русского слова», причем не одна статья, а зачастую сразу несколько работ. За два с половиной года Писарев напечатал 24 статьи; некоторые из них представляли собой фундаментальные работы от 10 до 15 печатных листов. В общей сложности за это время Писарев написал до 140 печатных листов.

Герцен некогда писал в заметке «Состав русского общества», что «Петропавловская крепость есть осьмой вселенский собор, где изменяются и образы мыслей и образы мыслителей»[3]. Ирония судьбы была такова, что

---

[1] По данным М. Н. Гернега, Писарев содержался в одиночной камере Невской куртины. См.: Гернет М. Н. История царской тюрьмы. М.: Госюриздат, 1951.

[2] Д. И. Писарев в Петропавловской крепости, с. 657.

[3] Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М.: Изд-во АН СССР, 1954—1966, т. 2, с. 417.

революционная проповедь Писарева раздавалась именно из застенков этого «вселенского собора». Именно здесь он написал свои наиболее яркие и сильные статьи, в которых в полной мере развернулись его идейно-политические и эстетические взгляды.

А. Л. Волынский, враждебно относившийся к деятельности Писарева, вынужден был, однако, признать, что «он не падал духом. Даже не зная, когда и как окончится его заключение, он переходил от одной темы к другой, затевал полемические войны и бился со своими многочисленными литературными противниками, не давая чувствовать ни единым словом, ни тончайшим намеком своего исключительного, страдальческого положения [1], как это делали бы на его месте люди более мелкого пошиба, склонные к кокетливой браваде и рисовке перед публикой» [2].

Возможность заниматься литературным трудом, помимо того, что она была единственным источником существования для семьи, помимо того, что она удовлетворяла давнюю любовь к творческой работе, была еще для молодого, полного сил и насильственно брошенного в одиночную камеру Петропавловской крепости Писарева единственной формой живой связи с внешним миром. Совершенно понятно поэтому, какие потрясения должны были возбуждать в нем всякие попытки тюремного начальства лишить его этой возможности. А такие попытки предпринимались неоднократно. Так, в ноябре 1864 года, когда стал известен приговор сената, комендант Петропавловской крепости генерал Сорокин предложил перевести Писарева в Шлиссельбургскую крепость. Только вмешательство петербургского генерал-губернатора Суворова предотвратило осуществление этого плана. Перевод в Шлиссельбург, по существовавшему положению, означал бы для Писарева полное пресечение возможности вести литературную работу. В конце декабря 1865 года, видимо под влиянием предостережений, которые сделаны были «Русскому слову» за статьи Писарева о Чернышевском и о Конте, в тюремном режиме его произошло резкое ухудшение.

---

[1] Это не совсем так: в статье «Посмотрим!» в ответ на упреки Антоновича в непонимании образа Рахметова, он сослался на *особые условия*, не позволяющие ему сказать все, что он думает о революционной сути героя Чернышевского. Разумеется, в этом не было никакой жалобы на «страдальческое положение».

[2] Волынский А. Л. Русские критики. СПб., 1896, с. 497.

У него отобрали все его книги и таким образом совершенно лишили возможности продолжать литературную деятельность. В письме на имя Суворова по этому поводу Писарев указывал: «Вы можете себе представить, князь, как тяжело ложатся все эти огорчения на человека, потрясенного уже тремя с половиной годами одиночного заключения. У меня ужасно болит голова, путаются мысли, и я страдаю бессонницей, так что в сутки мне удается заснуть всего на 2 или на 3 часа» [1].

Попытки лишить Писарева возможности продолжать литературную работу угнетающе действовали на него, и в этом же письме он унизился до того, что называл свои занятия надежным средством преодоления «опасных заблуждений» [2]. И на сей раз вмешательство Суворова помогло разрешить конфликт с начальством крепости в пользу Писарева. Впрочем, через несколько месяцев после выстрела Каракозова (4 апреля 1866 года) заключенным были запрещены всякие литературные занятия. Суворова уволили за «либерализм».

Для настроений Писарева в бытность его в тюрьме любопытен эпизод, рассказанный Н. В. Шелгуновым. Протоиерей Петропавловского собора Полисадов стал наведываться в камеру к Писареву. О чем говорил он с узником — неизвестно, но закончились эти визиты плачевно. Писарев однажды выгнал протоиерея и в ярости швырнул в него книгой. Видимо, тюремный «пастырь» переоценил свое красноречие и всерьез предположил, будто можно Дмитрия Ивановича наставить на путь христианского «благочестия».

К последнему периоду пребывания Писарева в крепости относится событие, доставившее ему немало радости и удовлетворения. В письме к Писареву от 17 декабря 1865 года издатель Ф. Павленков выразил желание «приобрести право на издание *полного* собрания» [3] его сочинений. В 1866 году оно начало выходить из печати. Полушутя-полусерьезно писал Писарев матери: «Где это видано, чтобы издавалось полное... собрание сочинений живого, а не мертвого русского критика и публициста, которому всего 26 лет и которого г. Анто-

---

[1] Д. И. Писарев в Петропавловской крепости, с. 665.
[2] Там же, с. 664.
[3] Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР, № 9547. LVIб. 65.

нович считает неумным, Катков — вредным, Николай Соловьев — антихристом и пр.» [1]. Это был успех, и успех несомненный!

Последние месяцы пребывания Писарева в крепости были особенно тяжелы. Лишенный возможности отдаваться любимому литературному труду, он мучительно переживал свое заточение. Попытки матери летом 1865 года добиться у царя досрочного освобождения сына, хотя бы за счет зачисления времени, проведенного в тюрьме до приговора, не увенчались успехом. И только после манифеста от 28 октября 1865 года, сокращавшего сроки заключения по приговорам на одну треть, Писарев был освобожден из крепости (18 ноября 1866 года) под поручительство матери и без права отлучаться из Петербурга. Некрасов имел полное основание утверждать, что Писарев перенес тюрьму, не дрогнув нравственно [2]. Но из крепости он вышел физически надломленным. III отделение продолжало считать его опасным и нераскаявшимся преступником: за ним тут же, по выходе из тюрьмы, было установлено «длительное наблюдение».

Из обстоятельств личной жизни Писарева в последний период, сыгравших значительную роль в его биографии, следует упомянуть об его отношениях с М. А. Маркович. Мария Александровна Маркович (Марко Вовчок, 1834—1907) приходилась Писареву троюродной сестрой. Познакомился с ней Писарев в конце пятидесятых годов. В 1859 году он напечатал в «Рассвете» рецензию на сборник ее народных рассказов, а в 1860 году написал о ее творчестве большую статью. В письме к Л. Майкову он называет Маркович «семейный талант наш» [3]. В Петербурге Маркович появилась в конце 1866 года, после шестилетнего пребывания за границей. Возобновленное знакомство вскоре перешло в интимные отношения между ними. Осенью 1867 года Писарев переселился к Маркович. Новое чувство, так же как и прежняя любовь к Раисе, целиком и без остатка захватило Писарева. Варвара Дмитриевна с явной горечью писала в письме от 28 сентября 1867 года: «Я не писала к тебе это время потому,

---

[1] Соловьев Е. Д. И. Писарев, с. 192.

[2] Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 12-ти т. М.: Гослитиздат, 1948—1953, т. 11, с. 114—115.

[3] Шестидесятые годы, с. 145.

что была больна,— и теперь очень хвораю... Письмо твое, где ты писал об своей холодности, меня нисколько не удивило — да тут ничего и нет удивительного: когда любят, и любят сильно — то все мамашеньки в сторону...» [1] Характерно обращение в другом письме Варвары Дмитриевны: «Милый и все-таки любимый Митя». В данном случае почти повторилась та же история, что и с Раисой Кореневой. Маркович оставалась внутренне чуждым Писареву человеком, большая и сильная любовь его не встретила ответного чувства. Того «прочного, хорошего и живого счастья» (из письма к Маркович от 1 декабря 1867 года) [2], которого искал Писарев, он не нашел и сейчас и переживал это болезненно. В письме от 9 декабря 1867 года он писал ей: «Неужели действительно вне моей работы, во мне самом... ты не находишь ничего, что могло бы объяснить симпатию и, следовательно, сделать бесполезной и даже невозможной снисходительность, потому что, в сущности, снисходительными... могут быть только к тому, что презирают... Я весь целиком отдался тебе, я не могу и не хочу взять себя обратно, я не имею и не хочу иметь существования вне тебя, и в то же время я всегда вижу висящую над моей головой опасность разрыва наших отношений» [3]. Ответные письма Маркович, хранящиеся в Институте русской литературы АН СССР, объясняют и оправдывают тревогу и сомнения Писарева. Эти письма, не в пример горячим его излияниям, кратки, холодноваты, хотя и дружественны. Маркович коротко сообщает о делах, неизменно осведомляется о здоровье Дмитрия Ивановича, но в них нет и намека на ту огромную, всепоглощающую силу чувства, которая так ясно сказывается в письмах Писарева. В мемуарах цензора В. Лазаревского, близко знавшего многих писателей, в том числе и Маркович, содержатся факты, свидетельствующие даже о неискреннем отношении Марии Александровны к Писареву.

Если Лазаревскому и нельзя во всем верить, то все же, видимо, в основе его утверждений о том, что Маркович «глумилась над болезненной страстью» Писарева, есть доля истины. И это еще более осложняло и

---

[1] Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР. № 9551. LVIб. 66.

[2] Шестидесятые годы, с. 156.

[3] Там же, с. 163.

запутывало жизнь Писарева, еще более усугубляло его болезненное состояние по выходе из крепости.

Обстоятельства складывались для него чрезвычайно трудные. «Современник» и «Русское слово» были закрыты. Порвав с Благосветловым (об этом ниже), критик вынужден был перебиваться случайными литературными работами. Лишь летом 1867 года Писарев был приглашен Некрасовым сотрудничать сперва в сборнике, а затем и в «Отечественных записках». В письме к матери от 3 июля 1867 года Дмитрий Иванович так описывал свое свидание с Некрасовым:

«Ко мне неожиданно явился утром книгопродавец Звонарев и сообщил мне, что Некрасов желал бы повидаться со мною для переговоров о сборнике, который он намерен издать осенью. Если, дескать, вы желаете, Николай Алексеевич сами приедут к вам, а если можно, то они просят пожаловать к ним сегодня утром. Я ответил, что пожалую,— и поехал. Прием был, разумеется, самый любезный. С первого взгляда Некрасов мне ужасно не понравился, мне показалось у него в лице что-то до крайности фальшивое. Но уже минут через пять свидания прелесть очень большого и деятельного ума выступила передо мною на первый план и совершенно изгладила собою первое неприятное впечатление. Было говорено достаточно — и о сборнике, и о предполагаемом журнале, и о литературе, и о современном положении дел. Практический результат свидания получался следующий. Некрасов просил меня написать для сборника статьи 2—3, всего листов 10, о чем я сам пожелаю. Я решил, что о «Дыме», потом о романах Андре Лео и еще о Дидеро. Все это Некрасов совершенно одобрил. Я сказал, что мне платили в «Русск. слове» и в «Деле» по 50 рублей за лист и что меньше этого я взять не могу. На это Некрасов отвечал, что он никогда не решится предложить мне такую плату и что в его сборнике норма будет 75 р. за лист. Я согласился и на это. Затем я сказал, что в настоящее время я живу переводами и что мне, для того чтобы работать для сборника, надо будет на несколько недель отказаться от переводов. Чтобы существовать во время этих нескольких недель — потребуются деньги, а у меня их нет. Некрасов предложил мне немедленно вперед, сколько потребуется. Я отказался от наличных, но попросил записку, по которой, в случае надобности,

могу немедленно получить 200 р. Записка была немедленно написана и лежит у меня в шкатулке» [1].

Сближение с Некрасовым является в биографии Писарева событием весьма значительным. Знаменателен тот факт, что, уйдя из «Русского слова», Писарев пошел работать в журнал Некрасова. Сближение с «Отечественными записками» Некрасова свидетельствовало о новых чертах в мировоззрении Писарева. В «Отечественных записках» Писарев опубликовал такие серьезные работы, как «Старое барство», «Французский крестьянин в 1789 году».

Вместе с тем нельзя не признать, что по выходе из тюрьмы Писарев ощутил резкий упадок сил. Разительная перемена в обстановке, невероятное напряжение сил, контраст между тишиной одиночного заключения и шумным Петербургом, тяжкая, тревожная и мучительная любовь к Маркович — все это не могло не сказаться самым пагубным образом на физическом состоянии Писарева.

В письме к И. С. Тургеневу он отмечал: «...я все это время, уже около полугода, чувствую себя не способным работать так, как работалось прежде, в запертой клетке. Вся моя нервная система потрясена переходом к свободе, и я до сих пор не могу оправиться от этого потрясения. Вы видите сами, как нескладно написано это письмо и как дрожит моя рука» (IV, 424).

Однако, несмотря на все это, он строил самые радужные планы и был преисполнен разнообразнейших творческих замыслов.

«Однажды, в конце февраля,— рассказывает знакомый Писарева Кутейников,— он зашел ко мне очень веселый,— сказал, что летом поедет за границу, строил планы своих будущих работ... Он собирался ехать в мае, уже начал официальные хлопоты по этому предмету, но хлопоты эти остались безуспешны: в выдаче заграничного паспорта ему было отказано» [2].

А. М. Скабичевский вспоминает об этом времени: «Он влетел в редакцию («Отечественных записок».— *Л. П.*) ...такой веселый и оживленный, каким я его давно не видел. «Должно быть,— подумал я невольно,—

---

[1] См.: Соловьев Е. Д. И. Писарев, с. 242—243.

[2] Кутейников Н. Несколько слов в память Д. И. Писарева. — Неделя, 1868, № 33, с. 1049.

он дождался праздника своей любви!» Пришел он с целью проститься перед своим отъездом на лето в Дуббельн на морские купанья. Восторженное расположение духа его, «сияние», как он сам выражался о подобных радостных моментах своей жизни, еще более просияло, когда вошла в редакцию совершенно незнакомая ему девушка с большим поясным фотографическим портретом его и, узнавши подлинник, подошла к нему с робкой просьбой подписаться под портретом, что Писарев тотчас же, конечно, охотно исполнил» [1].

Летом 1868 года Писарев уехал на морские купанья в Дуббельн и 4 июля, купаясь в море, утонул.

Скабичевский со слов близких людей рассказал о трагической гибели Писарева: «Купальное место, где брал морские ванны Писарев, было расположено так, что с берега на некоторое расстояние было мелко; затем следовал глубокий фарватер. За ним шла мель; далее — опять глубокое место, опять мель. Будучи хорошим пловцом, Писарев таким образом переплывал два или три фарватера, отдыхая на каждой промежуточной мели. Так случилось и на этот раз: судя по тому, где было найдено его тело, можно заключить, что он благополучно переплыл два глубокие места, а в третьем утонул,— вследствие ли нервного удара или судорог, осталось покрытым мраком неизвестности. Он пошел купаться один; место, где он купался, было пустынное, и в то же время он так далеко уплыл, что никто не заметил, когда он погрузился в воду. Лишь продолжительное отсутствие возбудило тревогу в близких; начались поиски, причем тело его было найдено и вынуто из воды рыбаками по прошествии многих часов после несчастия. Это был вполне уже бездыханный труп, и о спасении жизни утопшего нечего было и думать» [2].

Тело Писарева было перевезено в Ригу. Начались хлопоты о разрешении доставить его в Петербург. Долгое время родители Писарева не знали, что произошло с сыном. В письме к А. К. Перелю от 12 июля Варвара Дмитриевна просила сообщить, «что с Митей»,— по сообщению одного знакомого, он заболел; рижский

---

[1] Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. М.; Л.: Изд-во ЗИФ, 1928, с. 210.
[2] Там же, с. 211.

полицмейстер на запросы не отвечает, и Варвара Дмитриевна просит снестись с М. А. Вовчок: «...доставьте ей мое письмо и скажите, ради бога, если знаете, что с Митей. Целая семья в отчаянье — отец, бедный, совершенно убит, плачет, как ребенок. Александр Карлович! Вы добрый, и вы сами отец, вы поймете, как тяжела неизвестность...» [1]

Только 27 июля, после получения разрешения, гроб с телом Писарева был перевезен в столицу.

29 июля состоялись похороны. В журнале «Дело» сообщалось: «В понедельник, 29 июля, были похороны Д. И. Писарева... В час пополудни от ворот Мариинской больницы двинулось погребальное шествие, сопровождаемое огромным числом друзей и почитателей покойного. Несмотря на тяжесть свинцового гроба, его сняли с катафалка и несли на руках попеременно до самого Волкова кладбища. В числе публики было много дам. «Кого это хоронят?» — спрашивали многие по дороге и, узнав, что Писарева, примыкали к процессии и шли без шапок до самой могилы.

Рядом с могилой Добролюбова свинцовый гроб был опущен в землю. На его крышку посыпались цветы. Долго длилось над могилой то глубокое молчание, которое подчас бывает красноречивее всяких слов. Наконец оно было прервано. Было сказано четыре коротких слова...

...Были прочитаны два стихотворения, посвященные памяти Писарева» [2].

Д. К. Гирс (1836—1886), произносивший речь над гробом Писарева, был арестован и сослан [3].

«Еще одно несчастье постигло наш маленький отряд,— писал Герцен.— Закатилась яркая звезда, которая

---

[1] Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР. № 9552. LVIб. 66.

[2] С Невского берега. — Дело, 1868, авг., с. 111—112.

[3] В письме к Некрасову от 10 ноября Гирс сообщает, с какой поспешностью его арестовали и выслали: «Опасения мои и слухи оправдались, многоуважаемый Николай Алексеич; как вы видите, с понедельника на вторник, в ночь, меня арестовали, в 3 ч., а в 6 ч. я уже был на железной дороге. Ни с кем не пришлось даже проститься. У меня не было никакой теплой одежды. Я выехал в городском осеннем пальто, не в состоянии был даже взять белья, к⟨ото⟩рое было у прачки, — без вещей, так как предупрежден был, что за вещи на железной дороге должен сам платить, а у меня в кармане было всего несколько рублей» (Лит. наследство, 1949, № 51—52, с. 211).

много обещала; с нею исчезли едва сложившиеся дарования, оборвалась едва наметившаяся литературная деятельность. Писарев — язвительный критик, иногда склонный преувеличивать, всегда исполненный вдохновения, благородства и энергии,— утонул, купаясь. Несмотря на свою молодость, он много выстрадал. Недавно он вышел из крепости, после нескольких лет заточения» [1].

В стихотворении, посвященном гибели Писарева, Некрасов, обращаясь к Марко Вовчок, писал:

Не рыдай так безумно над ним!
Хорошо умереть молодым...

Беспощадная пошлость ни тени
Положить не успела на нем,
Становись перед ним на колени,
Украшай его кудри венком!

Перед ним преклониться не стыдно
Вспомни, сколькие пали в борьбе,
Сколько раз уже было тебе
За великое имя обидно!

А теперь его слава прочна:
Под холодною крышкою гроба
На нее не наложат пятна
Ни ошибка, ни случай, ни злоба... [2]

Так сложилась судьба Писарева. Выросший и воспитанный в тепличной атмосфере патриархальной помещичьей усадьбы, он порвал со своим классом и отдал свой огромный талант народу, пробуждающемуся к активной социально-политической жизни.

Биография Писарева сложилась так, что главные непосредственные импульсы он получал не столько от живой жизни, сколько от книги. До 1861 года — усадьба, раннее интеллектуальное развитие, гимназия и университет. Короткое общение с жизненной практикой и снова почти на четыре с половиной года — искусственная атмосфера одиночной камеры и единственный источник познания — книга. Несмотря на это (и тем удивительней!), Писарев умел чутко улавливать запросы русской действительности. Отмеченное обстоятельство не могло, с одной стороны, не наложить отпечатка на

---

[1] Герцен А. И. Соч.: В 9-ти т. М.: Гослитиздат, 1955—1958, т. 8, с. 363.

[2] Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем, т. 9, с. 114

отдельные стороны писаревского мировоззрения, а с другой — оно свидетельствовало о том, что, по существу, Писарев только вступал в жизнь, и кто знает, сколько богатых возможностей таилось в нем.

«Нам дороги образы этих двух юношей, едва мелькнувших вслед за Белинским и Чернышевским на пороге истории,— писала Вера Засулич о Писареве и Добролюбове.— Рано сошли со сцены и их великие предшественники, но они все-таки успели встать перед нами во весь рост; эти оба еще росли; их нельзя даже представить себе остановившимися на том понимании, какого они достигли перед смертью. В них все еще было im Werden» [1].

Глава вторая
ВОПРОСЫ РЕВОЛЮЦИИ И СОЦИАЛИЗМА

1

Литературная деятельность Писарева длилась с 1859 по 1868 год. Она целиком протекала в рамках шестидесятых годов. Это была знаменательная и бурная эпоха в истории России, эпоха крутой ломки старых, феодальных порядков и нарождения новых, буржуазных отношений, эпоха большого общественного подъема и грозного нарастания революционной борьбы.

В сентябре 1855 года наши войска оставили Севастополь. Война с Англией и Францией была проиграна, несмотря на то, что русские солдаты и матросы своей отвагой, героизмом, стойкостью покрыли себя неувядаемой славой. На полях сражений в Крыму с огромной бедственной силой обнаружилась несостоятельность феодально-крепостнического строя, экономическая и военная отсталость страны.

Смерть Николая I явилась как бы символическим выражением исторического перелома — старые крепостнические порядки потерпели крушение, нужны новые идеи и новые пути. Необходимость перемен чувствовали все — и Александр II, который заявил, что лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно начнет само собой

---

[1] Засýлич В. И. Сборник статей. СПб., [б. г.], т. 2, с. 301.

уничтожаться снизу, и завсегдатаи аристократических салонов, и весьма умеренные журналисты. С особенной остротой властную потребность в преобразовании жизни ощущали народные массы, те самые крестьяне, которые в солдатских мундирах кровью своей защищали родину, немилосердно обрекшую их на рабское существование.

Еще в «Рассвете» Писарев подчеркивал, что перед русским обществом со всей остротой встала задача — извлечь для себя все необходимые уроки из трагического опыта Крымской войны:

«Прошло уже более трех лет после заключения парижского мира, события последней великой войны обратились для нас в прошедшее, и мы рассуждаем об этом прошедшем, обсуживаем его без горечи и без увлечения, разбирая наши ошибки и отыскивая, объясняя себе причины этих ошибок... Чем чистосердечнее и откровеннее подобные статьи разоблачают наши слабости, чем беспощаднее анализируют они ошибки, чем менее они проникнуты ложным патриотизмом, хвалящим свое потому только, что оно свое, тем с большим сочувствием встречает их наше общество, которое требует себе не лести, а правды» [1].

Позднее о роли Крымской войны в социально-политическом развитии России он говорил так: «Удар вызвал ощущение боли, и вслед за тем явилось желание отделаться от этой боли» (III, 8).

Весь вопрос заключался в том, какими путями пойдет обновление страны, в каких формах будет отменено крепостное право. Русская революционная демократия во главе с Чернышевским стояла за то, чтобы реформа была проведена в интересах народа, чтобы крестьянам была безвозмездно отдана помещичья земля, а вместо тиранического самодержавия в России утвердилась бы республика.

Правительственные круги намечали провести реформу руками крепостников — так, чтобы отмена крепостного строя, стимулируя буржуазное развитие страны, оставила бы в неприкосновенности монархию и не нанесла ущерба помещичьему землевладению.

Изживая либеральные иллюзии и упования на Александра II, передовые люди России все отчетливей

---

[1] Рассвет, 1859, дек., с. 75.

сознавали, что новый царь — тот же реакционный самодержец, что и его предшественник.

Эти настроения оказали свое влияние и на Писарева. В стихотворении, посвященном открытию памятника Николаю I и датированном 1860 годом, он писал:

Что же будет впереди,
Если царь, в котором прежде
Мы любили, как в надежде,
Наш счастливейший удел,
Сам, как будто в посмеянье,
Наше прежнее страданье
Нам напомнить захотел? [1]

19 февраля 1861 года был принят «Манифест» об освобождении крестьян. Он был прочитан по всей стране в пышной, торжественной обстановке, под звон колоколов священниками в полном облачении. Царские власти и их верные литературные слуги вроде Каткова поспешили объявить манифест величайшим благодеянием для народа.

Но не прошло и месяца после опубликования манифеста, как мир был потрясен кровавыми расстрелами в Польше. 1 мая 1861 года Герцен писал, обращаясь к Александру II: «Вам достаточно было сорока дней, чтоб из величайшего царя России, из освободителя крестьян, сделаться простым убийцей, убийцей из-за угла!» [2]

Когда стало известно во всех подробностях Положение 19 февраля, явственно обнаружилось, что и польские дела и реформу творила одна и та же рука — рука самодержавного тирана. Манифест квалифицировался в «Колоколе» как обман народа.

Огарев в статье «Разбор нового крепостного права» писал:

«Старое крепостное право заменено новым.

Вообще крепостное право *не отменено.*

Народ царем обманут!» [3]

Обман постепенно дошел до сознания народа. По России прокатилась волна крестьянских выступлений. В стране все больше обозначались элементы революционного кризиса. 12 апреля в селе Бездна произошло

---

[1] Красный архив, 1928, т. 28, с. 230.
[2] Колокол, 1861, 1 мая, № 97, с. 813.
[3] Там же, 15 июня, № 101, с. 848.

событие, всколыхнувшее всю Россию. Солдаты под командованием графа Апраксина расстреляли крестьян, собравшихся послушать Антона Петрова, рассказывавшего им о манифесте, о дарованной воле. По официальным данным, было убито 55 человек и ранен 71.

Сам Антон Петров был предан суду и через неделю 19 апреля, расстрелян в присутствии жителей села Бездны и селений всего Спасского уезда.

К крестьянским выступлениям в 1861 году прибавились студенческие волнения. В Петербургском и Московском университетах осенью 1861 года произошли бурные демонстрации. Формально требования студентов не выходили за рамки академических интересов, но студенческое движение, бесспорно, носило политический характер.

Профессор Петербургского университета А. В. Никитенко 23 сентября 1861 года записывал в дневнике: «Студенты шумят и требуют отмены всяких ограничений. Они, как и крестьяне в некоторых губерниях, кричат: «„Воля, воля!“» [1]

В корреспонденции «Еще о Московском университете», крайне важной для понимания умственных процессов, происходивших среди передовой молодежи, следующим образом характеризуется отношение студенчества к профессуре: «...выбирайте: или революционная дорога с нами, или мы станем считать вас императорскими чиновниками и одни пробивать свою дорогу» [2].

Росту революционных настроений в это время способствовали и международные события. Это прежде всего относится к национально-освободительной борьбе в Италии и к гражданской войне в Америке. Характеризуя международную обстановку в 1861 году, Благосветлов писал: «Везде заметно неудовольствие настоящим и ожидание лучшего в будущем; везде чувствуется потребность обновить ветхого человека, изменить отживший порядок общества...» [3]

Благосветлов доказывал, что революция в Италии — прямой результат деспотического угнетения и политики террора. Итальянские события, развивавшиеся с таким успехом, несмотря на кажущееся могущество Австрии, не в малой степени возбуждали революционные надежды

---

[1] Никитенко А. В. Дневник. Л.: Гослитиздат, 1955, т. 2, с. 211.

[2] Колокол, 1862, 1 апр., № 127, с. 1058.

[3] Рус. слово, 1861, февр., с. 1—2.

в самой России. М. Бакунин писал в обращении к «Русским, польским и всем славянским друзьям»:

«Россия оттаяла, вздохнула впервые после тридцатилетнего николаевского мороза и с молодою энергиею заговорила о необходимости возобновления... Надо было восстановить силу и славу России. Того требовало царское честолюбие, того требовала народная гордость. Но какими средствами ее восстановить? Когда ясно поставился этот вопрос, общественное мнение, дробившееся сначала на множество различных оттенков, создало две главные, друг другу противуположные партии: *партию реформ* и *партию коренного переворота*» [1].

Борьба сторонников этих двух «партий» — партии реформ и партии революции — была, разумеется, жесточайшей классовой борьбой. В России 1859—1861 годов сложилась революционная ситуация. Угроза крестьянского восстания нависла над дворянско-крепостнической монархией. Начало шестидесятых годов ознаменовалось появлением целого ряда революционных прокламаций, призывавших народ к свержению самодержавия. Шелгунов, будущий соратник Писарева по «Русскому слову», в прокламации «К молодому поколению» писал: «Недовольные везде; все ждут чего-то... императорская Россия разлагается» [2].

П. Заичневский в известной прокламации «Молодая Россия» восклицал:

«Скоро, скоро наступит день, когда мы распустим великое знамя будущего, знамя красное, и с громким криком: «Да здравствует социальная и демократическая республика русская!» — двинемся на Зимний дворец истребить живущих там» [3].

В работе «Русская секция Первого Интернационала» Б. П. Козьмин сообщает важные сведения об объединении разрозненных революционных кружков в начале шестидесятых годов и об образовании в 1862 году подпольного революционного общества под названием «Земля и воля». Идейным вдохновителем организации был Чернышевский. Отделения общества созданы были в Москве, Казани, Нижнем-Новгороде, Харькове. В одном только московском отделении общества состояло

---

[1] Колокол, 1862, 15 февр., № 122—123, с. 1021.

[2] См.: Лемке М. Политические процессы в России 1860-х гг., с. 65.

[3] Там же, с. 518.

около четырехсот человек. Главным лозунгом «Земли и воли» было свержение самодержавия и превращение России в демократическую республику. «Земля и воля» пользовалась лондонской типографией Герцена и устроила в Берне другую русскую типографию. Обществом были выпущены один номер журнала «Земля и воля», несколько листовок и прокламаций. Деятельность общества развертывалась в расчете на то, что в 1863 году произойдет повсеместное крестьянское восстание. Разгром крестьянских выступлений, усиление реакции привели к тому, что в конце 1863 года «Земля и воля» перестала существовать [1].

2

Характерной чертой шестидесятых годов был небывалый доселе расцвет журналистики. За короткое время возникло множество листков, газет, журналов. Число их доходило до двухсот пятидесяти. Зародилась массовая сатирическая периодика — явление дотоле неизвестное в России. По ту сторону баррикады, в лагере противников революции, находились виднейшие петербургские и московские журналы: и катковский «Русский вестник», и «Атеней», и «Время» братьев Достоевских (позже выходивший под названием «Эпоха»), не говоря уже об откровенно черносотенной «Домашней беседе» Аскоченского.

Сюда же примыкал журнал Краевского и Дудышкина «Отечественные записки», показной либерализм которого сочетался с активной антиреволюционной проповедью.

Конечно, и между этими журналами были распри. «Время» и «Эпоха» братьев Достоевских, «почвеннические» тенденции которых противоречили западническим установкам Каткова, выступали с полемикой против «Русского вестника»; «Русский вестник» отечески журил «Домашнюю беседу» Аскоченского за то, что она слишком грубо и прямолинейно отстаивала то же, в сущности, за что боролся более замаскированно сам Катков. Но когда дело касалось основного вопроса — вопроса о революции и о мировоззрении, формулировавшем

[1] См.: Козьмин Б. П. Русская секция Первого Интернационала. М.: Изд-во АН СССР, 1957, с. 34—38.

революционные требования народа, они, в общем, выступали единым фронтом.

За всеми спорами о философии, об итальянском министре графе Кавуре, об эстетике скрывался решающий спор о революции, об исторических путях развития России.

И если «Отечественные записки» прикрывали свою идейную позицию туманной фразеологией, если «Время» ограничивалось мистическими пророчествами о судьбах народа, то «Русский вестник» свое отношение к революции выражал со всей отчетливостью. Он призывал бросить рутинное мнение, будто какой-нибудь прогресс возможен «механическими способами». Механический способ — это революция, и революционную идеологию Катков объявляет рутиной.

Защита основ монархического строя, борьба против революции и против материализма, отстаивание таких реформ, которые сочетали бы потребности буржуазного развития России с интересами крепостников-помещиков, — вот те основные принципы, которые объединяли лагерь откровенных реакционеров и либеральничающих «реформаторов».

Этому лагерю противостоял лагерь сторонников революционного преобразования России во главе с «Современником».

Общепризнанным главой революционной демократии шестидесятых годов был Чернышевский, который оказал огромное влияние на русскую общественную мысль и, в частности, на Писарева.

3

В периоды стремительного развития исторических событий люди меняются быстро. Крутая ломка общественных отношений закаляет и просвещает одних, с беспощадной очевидностью разоблачает других. За короткое время Писарев прошел большой путь духовного созревания. Из старательного сотрудника умеренного и мало кому известного журнала «Рассвет» он превратился в замечательного критика и публициста революционно-демократического лагеря.

Работа в «Рассвете», несмотря на то, что в эту пору талант Писарева еще не развернулся во всю силу, представляет все же известный интерес. Писарев вел

весь отдел библиографии. Статьи этого периода обнаруживают, правда в эмбриональном состоянии, отдельные черты его воззрений, позднее получившие свое полное развитие. Эти статьи тем более интересны, что они совпали с периодом назревания умственного *перелома*, происходившего в Писареве.

В чем заключался этот перелом? В работе «Наша университетская наука» Писарев рассказал о двух течениях в студенческой общественности конца пятидесятых годов: о «старых» студентах и «новых» студентах. Под «старыми» студентами Писарев разумел кружок филологов, приверженцев чистой академической науки, равнодушных к политическим исканиям эпохи и отрицательно относившихся к «Современнику» и Добролюбову. «Новые» же студенты считали Добролюбова своим учителем. Себя самого Писарев в это время причислял к «старым» студентам. Однако данные, приводимые им самим, заставляют отнестись к этому свидетельству с некоторым недоверием. Характеризуя «старых» студентов, которых он еще называет «ученой партией», Писарев пишет: «...с каждым годом ряды ученой партии редели, отчасти потому, что ученые кончали курс и поступали на службу в разные департаменты, где они очень быстро затушевывались под общий тон чиновничества, отчасти и потому, что некоторые ученые перебегали на сторону новых студентов и делались сами антагонистами университетской учености» (II, 179). Таким образом, сам Писарев отождествляет переход к «новым» студентам, то есть к сторонникам Добролюбова, с установлением отрицательного отношения к «университетской учености». Но как раз эта определяющая черта, по свидетельству Писарева, в 1858—1859 годах все больше обнаруживалась в нем самом: «С осени 1858 года я объявил себя независимым, и отношения мои к университету и к профессорам, к лекциям и советам сделались чисто отрицательными» (II, 163). Если мы вспомним, что в конце 1858 года он получил приглашение от Кремпина сотрудничать в «Рассвете» и приступил к работе, то станет ясно, что процесс перехода к «новым» студентам совпал с периодом работы в «Рассвете». Как же отразилось все это в статьях и рецензиях Писарева, помещенных на страницах этого журнала?

Писарев в своих обзорах касался самых разнообразных тем — и исторических, и педагогических, и литера-

турных. Как уже говорилось, наряду с заметками и рецензиями, он напечатал в «Рассвете» большие статьи об «Обломове» и «Дворянском гнезде» [1].

Период сотрудничества в «Рассвете» был для Писарева периодом политического и литературного становления. Его воззрения отличаются еще неопределенностью и противоречивостью. Он отдает обильную дань либеральному филантропизму [2]. В статье «Эпизод из истории Нидерландов» [3] он сочувствует «прогрессистам», но готов признать драматизм и величие «ревнителей старины». Он придерживается религиозных убеждений, и ему представляется справедливой мысль о положительной роли русской церкви в борьбе против рабства [4]. В ряде статей этой поры он приемлет воззрения сторонников «эстетической критики», их отрицательное отношение к литературе активной и действенной. Нет сомнения, что эти взгляды отражали суждения, сложившиеся в кружке филологов. Об участниках этого кружка Скабичевский говорил, что они были постепеновцами и заклятыми врагами «каких бы то ни было увлечений и крайностей. Приверженцы чистой науки и чистого искусства, они всецело отрицали сатиру и требовали, чтобы поэты изображали одни положительные стороны жизни и, чуждые ненависти и злобы, возбуждали одни эстетические эмоции... Наибольшую вражду постепеновцы питали к «Современнику»... смотря свысока и с презрением на сотрудников и приверженцев „Современника"...» [5]. Влияние ревнителей «чистого искусства» и сторонников политической умеренности явственно отразилось в работах Писарева, напечатанных в «Рассвете». Но в них проявилась и другая важная черта. Они не только лишены «вражды и презрения» к «Современнику», а напротив, во многих своих суждениях автор *опирается на мнения «Современника»*, популяризирует их, а иногда и просто повторяет. Он счи-

---

[1] Подробней о работе Писарева в «Рассвете» см.: Плоткин Л. А. Писарев и общественно-литературное движение шестидесятых годов. М.: Изд-во АН СССР, 1945.

[2] См. его заметки «Джон Говард» (Полн. собр. соч.: В 6-ти т., 5-е изд. СПб., 1909, т. 1, с. 21—22); «Уильям Чаннинг» (там же, с. 63—67).

[3] Там же, с. 116—123.

[4] См. заметку «Голос русской древней церкви об улучшении быта несвободных людей» (там же, с. 56—59).

[5] Скабичевский А. М. Литературные воспоминания, с. 112—113.

тает «Современник» *лучшим русским журналом.* Именно отсюда возникают темы эмансипации женщины, темы раскрепощения крестьян, темы освободительной борьбы народов. Отсюда возникают и начатки материалистического мировоззрения. Точно так же, как в личной жизни, колебания в выборе профессии решаются в том смысле, что Писарев начинает отдавать предпочтение журнализму, а не ученой карьере и тем самым нарушает основную заповедь кружка филологов,— и в идейном плане Писарев, правда пока еще неуверенно, начинает преодолевать политический индифферентизм и приобщаться к животрепещущим проблемам современности.

Между периодом работы в «Рассвете» (1859) и началом систематического и планомерного сотрудничества в «Русском слове» (1861) образуется некий промежуток времени, на протяжении которого в мировоззрении Писарева происходят сложные перемены. Наиболее значительным произведением этой поры, если не считать переводов и статьи о М. Вовчок, является диссертация «Аполлоний Тианский». Сам Писарев указал, что предмет диссертации он начал изучать в начале октября 1860 года, в ноябре он приступил к написанию работы и окончил ее к началу января (II, 183). Таким образом, даты написания «Аполлония Тианского» — ноябрь 1860 года — январь 1861 года. Иными словами, работа эта должна характеризовать умственное развитие Писарева в период, непосредственно предшествовавший его журнальной деятельности в «Русском слове», в период, когда он еще только складывался как мыслитель. Нужно, однако, отметить, что полностью ответить на вопрос, каковы были убеждения Писарева в конце 1860 года, каковы его взгляды до сотрудничества в «Русском слове», судя по одному только «Аполлонию Тианскому», весьма затруднительно. Объясняется это следующим. Автограф диссертации не сохранился. Судить о работе мы можем только по журнальному тексту. Но «Аполлоний Тианский» был напечатан в июньской, июльской и августовской книжках «Русского слова» за 1861 год. И хотя Писарев отмечал, что он старался *сразу* обработать материал так, чтобы статью можно было напечатать в каком-нибудь литературном журнале, напрашивается естественное предположение, что Писарев не мог опубликовать диссертацию без предварительного редактирования. Есть в статье и прямые свидетельства

того, что Писарев пересматривал свою работу перед опубликованием в «Русском слове». «Говорить подробно о Платоне,— пишет он в «Аполлонии Тианском»,— я считаю лишним, потому что общий характер его учения изложен уже был мною читателям в статье „Идеализм Платона"»[1]. Эта ссылка почти выясняет вопрос о том, когда готовил диссертацию для печати Писарев. «Идеализм Платона» помечен в журнале 10 апреля, стало быть «Аполлоний Тианский» подготовлялся к печати не раньше апреля. Упоминание об «Идеализме Платона» в том контексте, который приведен нами, заставляет предполагать, что эта статья, возможно, представляет собой переработку соответствующей главы о Платоне из диссертации. Правда, Писарев указывает на конкретный повод для написания статьи «Идеализм Платона» — книгу Клеванова (I, 75). Но это не противоречит нашему предположению: то, что в диссертации Платону отведены были специальные страницы, подтверждает сам Писарев; именно эти страницы он, вероятнее всего, и положил в основу статьи о Платоне.

Несмотря на то, что «Аполлония Тианского», в силу высказанных выше соображений, трудно полностью приурочить к точному и конкретному периоду, работа эта в целом весьма характерна для мировоззрения Писарева этого периода.

Об Аполлонии Тианском до нас дошло только одно более или менее подробное свидетельство — биография, составленная Филостратом (если не считать отдельных упоминаний у Диона Кассия, Порфирия и др.) якобы со слов одного из учеников Аполлония, Дамиса Ниневийского. В научной литературе эта биография расценивается не столько как исторический источник, сколько как художественное творение.

Апокрифичность Филостратова труда, с одной стороны, ограничивала возможности научного анализа личности и деятельности Аполлония, но с другой — открывала большой простор для свободного толкования образа самого Аполлония.

В науке существовало мнение, что Аполлоний Тианский был для своей эпохи чем-то вроде божества, которое даже противопоставлялось Христу. Образ, создан-

[1] Писарев Д. И. Полн. собр. соч.: В 6-ти т., т. 2, с. 96.

ный Филостратом, был по преимуществу образом полумифического религиозного апостола.

Как же интерпретировал личность Аполлония Писарев?

Недостаток и неопределенность фактических сведений об Аполлонии оказались для Писарева фактором благоприятным, позволившим ему пересоздать образ пифагорейского мыслителя на свой лад. Этот образ он рисует на широком историческом фоне. Характер эпохи, породившей Аполлония, раскрыт уже в самом названии работы. Нам неизвестно, как называлась работа в рукописи, но в журнальном тексте, а затем и в собраниях сочинений она имела подзаголовок: «Агония древнего римского общества в его политическом, нравственном и религиозном состоянии». Разложение и распад античной культуры во всех ее проявлениях — вот исторический фон, на котором рисует образ Аполлония Писарев. Этому историческому фону посвящена вся первая часть работы. Состояние римского общества он характеризует следующими чертами: рабство и цезаристский деспотизм, подавление личности, общий упадок в культуре, морали и религии.

При таких обстоятельствах развернулась деятельность Аполлония Тианского. В изложении Писарева сразу же резко выделяется черта, отличающая его концепцию от существовавших в науке точек зрения на Аполлония. И для Филострата и для позднейших исследователей Аполлоний — «божественный человек», герой религиозной легенды. Для Писарева в нем ничего нет от религиозной идеализации, он прежде всего *практический политик*, *философ* и *моралист*. Характер деятельности Аполлония Писарев определяет следующими словами: «...он был медик, проповедник, филантроп, коммунист и демократ» [1].

В трактовке Аполлония у Писарева должны быть отмечены некоторые важные обстоятельства. Это, во-первых, отношение к «коммунизму» Аполлония; Писарев говорит про Аполлония, что он «является вдохновенным защитником бедной и притесненной черни и поборником общинного права... Аполлоний решал вопрос о пауперизме с плеча и прямо бросался в несбыточные и оскорбительные для личности человека утопии коммунизма. В воззвании его к богатым аспендийцам

---

[1] Писарев Д. И. Полн. собр. соч.: В 6-ти т., т. 2, с. 124.

выражена только мысль о том, что земля общая мать и кормилица всех людей...»[1]

По поводу этого места В. Я Кирпотин заявляет: «...Писарев винит коммунизм в недостатке научной и методологической обоснованности и бросает ему самый сильный... упрек — упрек в оскорбительности для личности коммунистических идей... он открыто выступает против коммунизма»[2].

В том, что Писарев в самом начале шестидесятых годов не был приверженцем социалистических и коммунистических идей, нет ничего удивительного. Но действительно ли он выставлял против коммунизма самые сильные упреки и относился ли он к коммунистическим учениям резко отрицательно? В. Я. Кирпотин делает этот вывод на основании слов Писарева о несбыточности и *оскорбительности* для личности коммунистических идей. Но думается нам, что эпитет *оскорбительные* относился не к идеям коммунизма вообще, а к «коммунизму» Аполлония, к определенным историческим формам «коммунистических утопий».

В этом нас убеждает оценка, которую дает сам Писарев социальному учению Аполлония. «Стараясь своими речами внушить богачам любовь к умеренному и простому образу жизни, стараясь возбудить в них чувство милосердия, Аполлоний, при всей своей мудрости, брал только одну сторону того социального вопроса, который он старался разрешить. Римская чернь и без того жила милостынею, которую давало ей правительство; и без того толпы клиентов получали подачку с барского стола. Усиливая милосердие высшего класса, можно было еще больше развратить низший. Надо было возбудить в пролетариях желание и дать им средства обходиться без милостыни. Для этого нужно было поднять и оживить в них чувство человеческого достоинства, а было ли это возможно?»[3] Из этих слов явствует, что оскорбительность для человеческого достоинства некоторых черт в учении Аполлония заключается в том, что Аполлоний проповедует филантропизм, что призыв к общинному владению землей рассчитан был на милосердие богачей и что «коммунизм»

---

[1] Писарев Д. И. Полн. собр. соч. в 6-ти т., т. 2, с. 123.

[2] Кирпотин В. Радикальный разночинец Д. И. Писарев. М.: Изд-во Сов. лит., 1934, с. 175.

[3] Писарев Д. И. Полн. собр. соч.: В 6-ти т., т. 2, с. 131.

такого рода способен был лишь еще больше развратить «низшие классы».

Можно согласиться с тем, что Писарев в пору написания диссертации не был еще социалистом, но было бы неправильно видеть в нем *резкого и принципиального противника* коммунистических идей. Скорее всего можно судить по «Аполлонию Тианскому» о том, что его воззрения в это время были еще шаткими и неустановившимися.

Столь же неустановившимися и противоречивыми представляются нам его суждения о проблемах политической тактики. Писарев неоднократно говорит о политической *умеренности* Аполлония и считает ее признаком глубокого и трезвого ума.

Однако чрезвычайно показательно, что, подводя итоги деятельности Аполлония, Писарев говорит: «...уменье Аполлония приноравливать свои убеждения к потребностям времени и соразмерять свои слова с личностью собеседника содействовало его успеху... но это же самое свойство мешало Аполлонию произвести какой-нибудь сильный переворот в общественном сознании; его проповеди выслушивались с удовольствием и с благоговейным вниманием, но они были так спокойны и так умно соображены с обстоятельствами, что могли только навести слушателей на размышления, а не бросить им в душу какое-нибудь пламенное чувство» [1].

Иными словами, отсутствие «страсти», та умеренность, которую Писарев как будто приемлет, привели к тому, что деятельность Аполлония не имела серьезного отклика и осталась даже безрезультатной. С одной стороны, одобрение политической умеренности Аполлония и с другой — признание безуспешности деятельности такого рода,— так колеблется Писарев в оценке политической тактики своего героя. Эти противоречия могли возникнуть и в результате позднейших переделок. Однако думается нам, что скорее всего они являются прямым выражением той неустойчивости политических убеждений, о которой мы говорили выше.

В идейной эволюции Писарева «Аполлоний Тианский», по сравнению со статьями в «Рассвете», представлял собой шаг вперед. Здесь впервые появились, хотя и в противоречивой интерпретации, проблемы революции и социализма. Здесь впервые появился вопрос

[1] Писарев Д. И. Полн. собр. соч.: В 6-ти т., т. 2, с. 150.

о неудовлетворенности существующим строем, вопрос о деспотизме и рабстве, вопрос о социальных противоречиях. Здесь, наконец, впервые появился в более или менее отчетливом виде вопрос о путях обновления общественного организма, вопрос *о свободе личности.*

4

Систематическое сотрудничество Писарева в «Русском слове» началось с весны 1861 года. «Русское слово» было основано в 1858 году меценатствующим дилетантом графом Кушелевым-Безбородко. Первые два года редактировал журнал Я. Полонский. С 1860 года на пост редактора был приглашен Благосветлов. До 1861 года «Русское слово» представляло собой весьма бесцветный журнал, лишенный самостоятельной и оригинальной физиономии. Единственно, что выделялось в нем,— это статьи Благосветлова. Самым слабым местом «Русского слова» был критический отдел. Критические опыты самого Кушелева-Безбородко поражали своим дилетантизмом, а литературное направление журнала определяли такие случайные люди, как Де-Пуле, биограф Кольцова и Никитина, сторонник чистого искусства, который на страницах журнала пропагандировал теории эстетической критики[1]. Поэзия представлена была именами Фета, Апухтина, Полонского. Весьма посредственным был беллетристический отдел.

Приняв на себя редактирование, Благосветлов не мог не почувствовать бесцветности общего направления журнала и чрезвычайной слабости его публицистики и критики.

Надо отдать должное Благосветлову: в двадцатилетнем студенте Писареве, которого порекомендовал ему Я. Полонский, он сумел угадать огромные возможности, которые шли навстречу и воззрениям самого Благосветлова и его планам реорганизации и улучшения журнала.

Что представлял собой Благосветлов, каково было его влияние на Писарева?

---

[1] Ср. «эстетическое кредо» Де-Пуле: «...мы оставляем за искусством эпитет *подкрашивания* в отношении представляемой им жизни: искусству нечего делать с обыденной жизнию; оно погибло бы в ее омуте, если бы не было возможности ее *подкрашивать...»* (Рус. слово, 1860, март, с. 2).

Из биографических данных о Г. Е. Благосветлове (1824—1880), известных нам, заслуживают особого внимания некоторые факты. Это прежде всего связь с Герценом и «Колоколом». В бытность свою за границей, куда он уехал в 1857 году, Благосветлов сблизился с Герценом и обучал его детей. В это же время он вел довольно интенсивную революционно-пропагандистскую работу и, в частности, пересылал в Россию через сотрудника «Русского слова» В. Попова нелегальную политическую литературу. Но особенное значение имеет то обстоятельство, что в 1862 году Благосветлов был введен в члены Центрального Комитета революционной организации «Земля и воля», о которой речь шла выше. Знал ли Писарев об этом, был ли он в курсе подпольной работы Благосветлова — сказать трудно. У нас пока нет данных для ответа на этот вопрос. Следовало бы только обратить внимание на то, что некоторые программные принципиальные высказывания Писарева о революции явно совпадают с аналогичными местами в листовках и воззваниях «Земли и воли». Явилось ли это результатом непосредственного общения с Благосветловым или же было общим, так сказать, идейным достоянием русской демократии шестидесятых годов — сказать затруднительно. Об этих совпадениях речь будет идти ниже.

Что касается взглядов Благосветлова, то одной из главных идей, которую он подробно развивал, была идея политической свободы, идея гармонического развития личности. Такое развитие, утверждал он, возможно только в обществе с гармонически развитыми общественными отношениями. Под гармонически развитыми общественными отношениями Благосветлов понимает свободный труд, равномерное распределение полезной деятельности и равномерное распределение общественного богатства между всеми членами общества. По мнению Благосветлова, обязательным условием осуществления этого гармонического общественного строя является *воспитание гражданской личности.* Гражданская личность — подлинная основа исторического прогресса. Гражданская личность — это индивидуум, осознавший себя органической частью целого. Умственная эмансипация — единственный путь для воспитания индивидуального самосознания, и Благосветлов не перестает

пропагандировать идею необходимости народного просвещения.

Благосветлов понимал, что современное ему социальное устройство в России, да и на Западе, далеко отстоит от идеальной общественной гармонии, рисовавшейся ему в будущем.

Каким же путем будет осуществлен переход от современного уродливого общественного устройства к идеальному строю будущего? Здесь мы сталкиваемся с известной двойственностью воззрений Благосветлова. С одной стороны, искреннее революционное воодушевление, а с другой — дух буржуазной умеренности,— такова амплитуда колебаний Благосветлова в центральном вопросе эпохи, в вопросе о революции.

В статьях и письмах своих Благосветлов горячо сочувствует освободительной войне итальянского народа. Но вместе с тем в статье о Маколее мы читаем такие строки: «Он знал, как трудно вырабатывается общечеловеческий прогресс, каких страшных усилий и жертв, какого пота и крови стоит народам каждый шаг их движения вперед. С тем вместе его гуманному чувству были противны эти бессмысленные политические драмы, которые оканчивались перед его глазами безумными реакциями и упадком нравственных сил народа»[1].

Революционные восстания объявлены бессмысленными политическими драмами. Правда, бессмысленность их Благосветлов видит в том, что они оканчиваются безумными реакциями. Но, как бы то ни было, благотворность революционных скачков для исторического прогресса была Благосветлову в эту пору не до конца ясна. Приведенные выше слова сказаны были в самом начале 1861 года. В 1862 году мы видим Благосветлова среди руководителей «Земли и воли». Очевидно, он за это время пережил сложную эволюцию. Единственное, в чем он был всегда определенен,— это в проповеди «отрицательной доктрины», в обосновании необходимости расчистки почвы от остатков феодальной старины, от сословных предрассудков, от невежества и темноты.

В каком же направлении мог воздействовать на Писарева Благосветлов?

Уже из краткого изложения взглядов Благосветлова вырисовываются те элементы, которые могли оказать

---

[1] Рус. слово, 1861, янв., с. 36.

свое влияние на Писарева. Критическое отношение к действительности; идея воспитания гражданской личности; принципиальное обоснование отрицательной доктрины и просветительская концепция роли и значения образования в историческом прогрессе — таковы были основные черты воззрений Благосветлова, которые содействовали идейному созреванию Писарева. Эти черты во взглядах Благосветлова были новой, более высокой ступенью по сравнению с еще не оформившимися убеждениями Писарева в конце 1860 и в начале 1861 года. И, конечно, взгляды более зрелого публициста, каким был в это время Благосветлов, оказали свое влияние на духовное формирование Писарева.

Но мировоззрение Писарева не исчерпывалось системой взглядов Благосветлова, более того — убеждения Писарева с течением времени приобретали все бóльшую глубину и революционность, Благосветлов же чем дальше, тем явственней склонялся к политической умеренности и все чаще выступал в роли расчетливого журнального предпринимателя. При всех противоречиях, присущих Благосветлову, он сыграл, однако, видную роль в развитии демократической публицистики. В начальном периоде сотрудничества в «Русском слове» влияние Благосветлова должно учитываться в полной мере.

5

Первым произведением Писарева, напечатанным в «Русском слове», был перевод поэмы Гейне «Атта Тролль» [1]. Литературное амплуа Писарева в журнале обозначилось не сразу. Он публикует вначале небольшие рецензии на оригинальную и переводную литературу. В том же номере, где напечатан перевод «Атты Тролля», Писарев поместил рецензию на переводы Костомарова и Берга.

Всерьез дебютировал Писарев на страницах журнала статьей «Идеализм Платона» [2].

Идея воспитания *гражданской личности* получала в этой статье свое философское обоснование. Главная мысль, которую развивает автор, заключается в том,

---

[1] Рус. слово, 1860, дек., с. 1—62.
[2] Рус. слово, 1861, апр., с. 38—63, с датой: «10 апреля».

что идеалистическая философия, аскетизм и социальная тирания — равнозначные понятия. В Платоне Писарев видит родоначальника идеалистической философии. Он подчеркивает свое отрицательное отношение к этой философии и утверждает, что внутренняя несостоятельность идеалистического мировоззрения у Платона достигла своего предела.

Особенное внимание Писарева привлекают те этические выводы, какие вытекают из идеалистического учения Платона. Аскетизм он считает логическим следствием идеализма, который ведет к насильственному подчинению личности заранее предустановленной догме. В идеализме заключено оправдание нравственного и политического насилия:

«Римские пытки и казни, испанская инквизиция, походы против альбигойцев... костер Гуса, Варфоломеевская ночь, Бастилия и проч. и проч. могут быть названы *горькими, но полезными* лекарствами, которые в разные времена и в разных дозах врачи человечества давали своим пациентам *волею-неволею, не спрашиваясь их согласия*. Принцип, проведенный Платоном в его трактатах о государстве и о законах, небезызвестен новейшей европейской цивилизации» (1, 96). В своем тезисе о единстве философии и политики Писарев исходил из положений Чернышевского. Идеализм и свобода личности, доказывает Писарев, несовместимы. Лишь в материалистическом учении эта свобода личности, это полное проявление всех свойств индивидуума находит свое философское обоснование. И в «Аполлонии Тианском» и в «Идеализме Платона» материализм Писарева выступает в гедонистически-эпикурейской форме. В своем отрицании платонизма автор опирается на Эпикура. В «Аполлонии Тианском» мы читаем: «...личность человека в системе Эпикура пользуется таким уважением и такою свободою, каких не знала до него классическая древность... Нравственная философия его по своему духу находится в органической связи с его понятиями о богах и их отношении к людям. В ней проводится та мысль, что благо неделимых должно быть конечною целью всякой человеческой деятельности. Не признавая закона, данного свыше, Эпикур считает единственным безусловным добром наслаждение, единственным безусловным злом — страдание» [1].

---

[1] Писарев Д. И. Полн. собр. соч.: В 6-ти т., т. 2, с. 99.

Писарев подчеркивает, что ни одно учение не открывает такого обширного поля свободе личности, и потому ни одно учение более эпикуреизма не подает повода к злоупотреблениям.

Но совершенно понятно, что злоупотребления системой против самой системы ничего не говорят. И, анализируя философские учения древности, он не скрывает своих симпатий к эпикурейскому гедонизму.

Таким образом, уже в «Идеализме Платона» проявились важные особенности воззрений Писарева: его борьба против идеализма и против аскетической морали, защита материалистического миропонимания, отстаивание личной свободы и эпикурейские и индивидуалистические тенденции. Эти черты нашли свое развитие в «Схоластике XIX века», первая половина которой была напечатана в майской книжке «Русского слова». Хотя статья «Идеализм Платона» и была написана в свойственных Писареву ярких полемических тонах, но, в общем, она была посвящена исторической и, так сказать, академической теме. Иное дело «Схоластика XIX века». Ею Писарев вторгался в самую гущу журнальной борьбы начала шестидесятых годов.

Писарев и «Русское слово» выступили в качестве соратников Чернышевского в тех острых и напряженных боях, которые приходилось «Современнику» вести с «филистерской» журналистикой.

Вместе с «Современником» Писарев выступал против славянофильства. В 1861 и 1862 годах напечатаны были статьи Чернышевского, Елисеева и Антоновича, разоблачавшие реакционную идеологию славянофилов. В статьях «Русский Дон-Кихот и «Бедная русская мысль» (1862) Писарев тоже коснулся этой проблемы. Он решал ее менее остро, чем Чернышевский и его соратники. Писарев полагал, что славянофильство принадлежит прошлому и что, стало быть, полемизировать с ним нет нужды. Важнее определить ту психологическую почву, на которой оно возникло. При всем том статьи «Русский Дон-Кихот» и «Бедная русская мысль» насыщены были ярким и живым политическим содержанием. Автор подвергал резкой критике мистико-религиозные концепции славянофилов, их обскурантизм, их утверждения, что русская цивилизация не подчинена господству разума. В июне 1868 года состоялся процесс по делу издателя сочинений Писарева — Павленкова. Одним из пунктов обвинения служила как раз статья

«Русский Дон-Кихот», в которой самым криминальным было признано осмеяние религиозно-нравственной философии славянофилов. «И где все это проповедуется? — восклицал прокурор Тизенгаузен.— В славянской державе, в христианской стране, исповедующей православие... веру, верховный защитник и хранитель догматов коей — император... И в этой-то стране провозглашается, что православные верования не что иное, как замысловатое миросозерцание, допотопные идеи, сказки нянюшки...» [1]

Особенно показательной была борьба вокруг знаменитой статьи Чернышевского «Антропологический принцип в философии». Статья была написана в связи с брошюрой Лаврова «Очерки вопросов практической философии» и содержала в себе изложение и дальнейшую конкретизацию фейербаховской философии. Первым выступил против Чернышевского «Русский вестник». Он опубликовал в выдержках статью профессора Киевской духовной академии Юркевича, проникнутую откровенным мракобесием. Юркевич, например, в противовес материалистическому монизму Чернышевского, утверждал монизм идеалистический, который, в конечном счете, приводил к обоснованию идеи бога.

«Когда греческий философ Платон учил,— писал Юркевич,—что тело человека создано из вечной материи, которая не имеет ничего общего с духом, то он таким образом допускал дуализм *метафизический* как в составе мира вообще, так и в составе человека. Христианское миросозерцание отстранило этот метафизический дуализм: материю признает оно произведением духа...» [2]

К доводам Юркевича против Чернышевского присоединилась вся реакционная и либеральная печать. Внутренние разногласия были забыты перед лицом общего врага — революционной материалистической философии. Катков утверждал, что Юркевич разоблачает наглое шарлатанство, выдаваемое за высшую современную философию. Дудышкин в «Отечественных записках», повторив аргументацию Юркевича и перепечатав его статью в своем журнале, поставил противника Чернышевского на первое место между всеми, когда-либо писавшими о философии в России.

---

[1] Писарев Д. И. Полн. собр. соч.: В 6-ти т., 5-е изд., доп. вып. СПб., 1913, с. 255.

[2] Рус. вестник, 1861, апр., с. 91.

Консервативный лагерь, равно как и цензурное ведомство, с первых же принципиальных выступлений Писарева, и особенно после появления «Схоластики XIX века», увидели в нем сильного и опасного врага. Цензор А. В. Никитенко записал 14 октября 1861 года в своем дневнике: «В «Русском слове» появился новый пророк в модном направлении — ⟨Д. И.⟩ Писарев. Он в прошедшем году кончил курс в нашем университете и теперь поместил в «Русском слове» статью: «Схоластика XIX века и процессы жизни». Прочитав ее, признаюсь, я даже раздражился, и в этом расположении духа я говорил (в Главном управлении цензуры.— *Л. П.*) слишком горячо...»[1] В воззрениях Писарева и его единомышленников Никитенко усмотрел угрозу «кровавого потопа в будущем». В официальном представлении о «Русском слове» он утверждал, что этот журнал «разрушает все авторитеты власти, нравственности, верований, науки... Материализм — его главная и единственная доктрина. Из этого само собой уже проистекает такое прекрасное, отрадное явление, как анархия, или, лучше сказать, проистекают всевозможные анархии — политическая, нравственная, умственная, эстетическая»[2].

В «Схоластике XIX века» Писарев действительно солидаризировался с материалистическими воззрениями Чернышевского и обрушивался со всем полемическим пылом на противников «Современника». В споре с Юркевичем он полностью и безоговорочно подчеркнул свои симпатии и сочувствие автору «Антропологического принципа в философии». В Чернышевском Писарев видел вождя русской демократии. Но «Схоластика XIX века» не просто повторяла воззрения Чернышевского. Она содержала в себе и особые, своеобразные тенденции. Две основные мысли звучат лейтмотивом во всей статье: наука и литература должны вплотную сблизиться с современностью, с частной жизнью; литературе необходимо всерьез заняться проблемами личной свободы и индивидуальной нравственности. Перенесение центра тяжести с социально-экономических проблем на вопросы личности связано было с воздействием Благосветлова.

---

[1] Никитенко А. В. Дневник, т. 2, с. 227.

[2] Евгеньев-Максимов В. Д. И. Писарев и охранители.— Голос минувшего, 1919, янв. — апр., с. 135.

В ранних выступлениях Писарева сказалось и сильное влияние Герцена. В литературе о Писареве обычно сопоставлялись его взгляды со взглядами Чернышевского и Добролюбова и почти не учитывалось влияние, которое оказывал на Писарева Герцен [1]. Можно без преувеличения сказать, что на всем протяжении деятельности Писарева Герцен оставался для него одним из самых светлых и благородных деятелей русской общественной мысли. Упускалось из виду, что имя Герцена толкнуло Писарева на самое яркое и сильное политическое выступление,— мы имеем в виду его прокламацию против Шедо-Ферроти. Нельзя забывать, что травля Герцена не была здесь случайным поводом для нелегального выступления. Напротив, желание защитить Герцена от посягательств полицейского агента было органической потребностью для Писарева, и, только убедившись в невозможности поместить рецензию на пасквиль Фиркса в «Русском слове», Писарев согласился отдать прокламацию Баллоду. Эта прокламация проникнута горячим и искренним сочувствием к Герцену, которого Писарев рисует «честным деятелем мысли», борцом против дряхлого деспотизма, дряхлой религии, дряхлых устоев современной официальной нравственности. Через три года, в 1865 году, в статье «Пушкин и Белинский», отметив, что «Бельтов так же далек от Онегина, как творец Бельтова далек от Пушкина» (III, 337), Писарев подчеркнул кровное родство «новейших реалистов» с типом Бельтовых: «...мы узнаем в нем наших предшественников, мы уважаем и любим в нем наших учителей, мы понимаем, что без *них* не могло бы быть и *нас*» (III, 337). Нельзя яснее выразить преемственность идей Герцена и идей Писарева, нежели она выражена здесь. Любопытно, что в статье «Еще раз Базаров» Герцен, имея в виду не столько тургеневского, сколько писаревского Базарова, писал: «Декабристы — наши великие отцы, Базаровы — наши блудные дети» [2].

---

[1] Если говорить о генезисе взглядов Писарева, следует упомянуть наряду с утопическими социалистами, наряду с Белинским, Герценом и Чернышевским, русского критика конца сороковых годов Валериана Майкова. Майков был пропагандистом промышленного развития; «туманным теориям» идеализма он противопоставлял позитивистские убеждения, в вопросах эстетики он был сторонником утилитарных принципов.

[2] Герцен А. И. Соч.: В 9-ти т., т. 8, с. 390.

То, что и художественное творчество, и политическая деятельность Герцена привлекали пристальное внимание Писарева, не подлежит сомнению. В 1858 году он сообщал Л. Майкову о том, что прочитал роман «Кто виноват?». Писареву, бесспорно, были известны заграничные издания Герцена. В прокламации против Шедо-Ферроти он указывал: «Конечно, и «Полярная звезда», и «Колокол», и «Голоса из России», и грозное «Под суд» известны нашей публике... все эти вещи провозятся и читаются вопреки воле правительства...» (II, 121). Сотрудничество с Благосветловым могло только закрепить это влияние: вспомним о связях Благосветлова с Герценом и «Колоколом».

С особой наглядностью влияние идей Герцена на Писарева проявилось именно в ранний период. Идею освобождения личности, призыв к сближению науки с жизнью, резкую критику крепостничества — вот что наиболее отчетливо усвоил Писарев в учении Герцена. О политическом влиянии деятельности Герцена на Писарева свидетельствуют следующие слова Писарева в «Схоластике XIX века»: «Припомните, господа, ближайших литературных друзей Белинского, людей, которым он в дружеских письмах выражал самое теплое сочувствие и уважение: вы увидите, что многие из них свистали, да и до сих пор свищут тем богатырским посвистом, от которого у многих звонит в ушах и который без промаха бьет в цель, несмотря на расстояние» (I, 131—132). Здесь содержится прямой намек на Герцена. Другом Белинского, который «без промаха бьет в цель, *несмотря на расстояние*» (курсив наш.— *Л. П.*), мог быть только эмигрант Герцен, заграничные издания которого доходили до России и действительно «били без промаха». В «Схоластике XIX века» Писарев, наконец, прямо ссылается на источник своих взглядов: «...хорошие произведения,— пишет он,— представляют нам характеры и образы, посредственные — выражают стремления и воззрения авторов; и те и другие могут дать повод к обсуждению разных сторон нашей вседневной жизни; а эти стороны нуждаются в пересмотре и в расчищении; это выразил еще в «Петербургском сборнике» талантливый и рыцарски честный человек, автор статьи «Капризы и раздумье», и эта мысль нашла себе полное сочувствие в теплой душе Белинского» (I, 110).

Имя Герцена было запретным. Естественно, что назвать автора статьи «Капризы и раздумье» Писарев в силу цензурных условий не мог. В «Петербургском сборнике» была напечатана первая глава статьи Герцена, вторая опубликована была в «Современнике». Вероятно, и с нею Писарев был знаком. Нам представляется, что сама внутренняя устремленность «Схоластики XIX века» с ее пафосом борьбы против мертвых, безжизненных схоластических концепций восходит к Герцену, который еще в сороковых годах, в «Письмах об изучении природы» и в «Дилетантизме в науке», боролся против схоластического «буддизма в науке». Намек на это содержится в словах самого Писарева, что спорить с Юркевичем — все равно что «входить в мрачный лабиринт... буддийской науки, от которой мы сторонимся с немым благоговением (I, 138).

Идейная зависимость «Схоластики XIX века» от взглядов Герцена не подлежит сомнению. В статье «Капризы и раздумье» Герцен писал:

«Человек стоит беспрестанно на коленях перед тем или другим — перед золотым тельцом или перед внешним долгом...»[1]. Герцен, пожалуй, впервые в этой же статье выдвинул идею «разумного эгоизма». «Что такое эгоизм? — пишет он.— Сознание моей личности, ее замкнутости, ее прав? Или что-нибудь другое? Где окончивается эгоизм и где начинается любовь? Да и действительно ли эгоизм и любовь противуположны; могут ли они быть друг без друга? Могу ли я любить кого-нибудь не для себя; могу ли я любить, если это не доставляет *мне*, именно *мне*, удовольствия?»[2]. «Эгоизм развитого, мыслящего человека благороден, он-то и есть его любовь к науке, к искусству, к ближнему, к широкой жизни, к неприкосновенности и проч.»[3].

Мысли Герцена о расчистке человеческого сознания от «наследственного хлама», о перестройке бытовых отношений, о разумном эгоизме, об освобождении личности были прочно усвоены Писаревым.

Вслед за Герценом Писарев утверждал: «Литература во всех своих видоизменениях должна бить в одну точку; она должна всеми своими силами эмансипировать человеческую личность от тех разнообразных стеснений, которые налагают на нее робость собствен-

[1] Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т., т. 2, с. 93.
[2] Там же, с. 96.
[3] Там же, с. 97.

ной мысли, предрассудки касты, авторитет предания, стремление к общему идеалу и весь тот отживший хлам, который мешает живому человеку свободно дышать и развиваться во все стороны» (I, 103).

Разумеется, в ряде важных пунктов Писарев существенно отличался от Герцена. Сторонник индустриальной культуры, Писарев был равнодушен к увлечению Герцена общиной. Но это обстоятельство не умаляет того большого и серьезного воздействия, которое оказал Герцен на Писарева.

Постановка вопроса о личной свободе, о переоценке моральных ценностей, об освобождении от дряхлых догматов феодальной нравственности сама по себе делала Писарева соратником Чернышевского. Все эти вопросы неизбежно должны были выйти за рамки только моральных проблем и соприкасались с проблемами политическими.

Отрицание старой морали приводило к общественно-политическим выводам. «Истинно гениальный человек,— писал Благосветлов,— не может иначе смотреть на окружающую его жизнь, как отрицательным взглядом» [1].

Политический смысл этого отрицания старого приобрел особую остроту в ультиматуме, провозглашенном Писаревым во второй половине «Схоластики XIX века», напечатанной спустя три месяца после первой. Он высмеял здесь политическую умеренность либеральных фразеров. Совершенно недвусмысленно звучали слова о том, что «если голодный народ дойдет до крайней степени страдания — он взбунтуется» (I, 149). Революционный переворот объявлен надежным средством оздоровления общественного организма. «...Как только зло или, проще, неудобство общественного устройства становится невыносимым для большинства граждан, так это устройство и сваливается, как засохший струп, как бесполезная чешуя» (I, 151). И отсюда практический лозунг: «Словом, вот ultimatum нашего лагеря: что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержит удар, то годится, что разлетится вдребезги, то хлам...» (I, 135).

Это место вызвало повышенный интерес цензуры: ультиматум можно было понять во всей его угрожающей антимонархической силе. То, что Писарев именно

[1] Рус. слово, 1861, май, с. 5.

такой революционный смысл придавал своему ультиматуму, доказывают другие его статьи этого же периода.

Мы отмечали индивидуалистические тенденции в работах Писарева, его пристальное внимание к проблемам индивидуальной морали. Однако даже в раннем периоде идейного развития Писарева интересы народного развития, народное благосостояние были для него основополагающими при решении всех проблем общественной жизни. Так, уже в первой рецензии на «Народные книжки», напечатанной в «Русском слове», Писарев писал о необходимости умственной эмансипации народных масс: «...великой задачей нашего времени становится умственная эманципация масс, через которую предвидится им исход к лучшему положению не только их самих, но и всего общества» (I, 57).

Индивидуалистические тенденции заключались в том, что Писарев в это время полагал, будто воспитание *личности* является единственным путем к достижению общенародного прогресса. В «Аполлонии Тианском» он писал: «О прогрессе в государстве этом не может быть речи; прогресс основан на развитии отдельных личностей, которое приводит со временем к реформе существующего порядка вещей» [1].

Но при всех индивидуалистических тенденциях интересы народа были для него критерием в решении всех социальных проблем. В целом цикле статей он настойчиво утверждает мысль о *политической суверенности народа* [2], о неотъемлемом праве народа на политическое самоопределение. С наибольшей отчетливостью это выражено в статьях «Меттерних» и «Бедная русская мысль».

Почти в одно время со второй частью «Схоластики XIX века» Писарев опубликовал большую работу «Меттерних» [3]. На первый взгляд, появление в самый разгар журнальной полемики, затрагивающей жгучие вопросы современной жизни в России, статьи об умершем за два года до этого австрийском министре кажется и непонятным и неоправданным. Однако при ближайшем рассмотрении эта ретроспективная статья оказывается зло-

---

[1] Писарев Д. И. Полн. собр. соч.: В 6-ти т., т. 2, с. 16.

[2] Суверенность народа Писарев определяет в «Исторических эскизах» как «властительность народа».

[3] Рус. слово, 1861, ноябрь, с. 1—40; дек., с. 1—44.

бодневным памфлетом, направленным не столько против австрийской монархии, сколько против русского самодержавия. Как ряд других работ Писарева, «Меттерних» содержит в себе два плана: непосредственное изложение материала и внутренние аллюзии, иносказательный план. Одним из таких непосредственных мотивов статьи является отклик на итальянские события, и в этом смысле «Меттерних» примыкает к статьям Добролюбова и Благосветлова об Италии. Меттерниха с его реакционной политикой Благосветлов считал прямым виновником революционных событий в Италии.

Об этом же говорил и Писарев: Меттерних для него — воплощение реакционной, деспотической, антинародной политики.

Суть политики Меттерниха заключалась, по Писареву, в угнетении народа, в культивировании политического произвола, в гонениях на свободу и просвещение. Излагая биографию Меттерниха и рассказывая об основных чертах его политической деятельности, Писарев ставит, во-первых, вопрос о суверенности народа, о его праве на политическое самоопределение, во-вторых, он утверждает, что реакционная деспотия, стремящаяся подавить революцию, не способна этой цели достигнуть и приходит к противоположным результатам — террористические репрессии способны только разжечь пламя революции: «Он боялся революции и всеми силами старался отклонить или по крайней мере отсрочить ее, и в то же время своими распоряжениями заготовил горючего материала на целые десятки революций и вулканизировал всю почву новоприобретенных австрийских владений» [1].

Характеризуя положение вещей в Австро-Венгрии, Писарев пишет, что ни одно сословие не могло быть довольно. Дворянство было оскорблено невниманием к нему венского двора; духовенство выражало недовольство индифферентизмом Меттерниха в делах церкви; простой народ приводили в отчаяние налоги и поборы; купцы жаловались на уродливые таможенные распоряжения; литераторы возмущались гнетом цензуры; наконец, вся нация в одинаковой степени страдала от произвола в судах, от неспособности администраторов, от всемогущества полиции и от нахальства военного сословия.

---

[1] Писарев Д. И. Полн. собр. соч.: В 6-ти т., т. 1, с. 578.

Писарев подчеркивает, что боязнь революции, вражда между народом и правительством порождали политику полумер и компромиссов, политику обмана, которая привела к взрыву.

Вряд ли можно предположить, чтобы фигура Меттерниха заинтересовала Писарева сама по себе. Она воспринималась им как *символ* реакции. Статья имела в виду не столько австрийского канцлера, сколько политику Александра II. Становятся понятными и те черты, которые Писарев выделял в Меттернихе. Миролюбивые жесты и политические репрессии, хладнокровная деспотия, недоверие к народу и страх перед революцией, политика полумер, игнорирование и непонимание народных интересов, гонение на свободную мысль — все это, может быть, больше относилось к Александру II, чем к Меттерниху.

Меттерних для Писарева, несмотря на длительную и зловещую роль, которую он играл в мировой политике,— посредственность и ничтожество. «Все в этом человеке,— отмечает Писарев,— мелко, посредственно. Ни дальновидности, ни великодушия, ни даже мужественной твердости» [1]. В нем нет даже того мрачного величия, которое свойственно было деспотам, прославившимся в истории своей тиранией. Это просто трусливый, слабый и ничтожный человек, и то, что он играл такую зловещую роль, объясняется политическими условиями абсолютизма. Характерно, что эти же личные черты Писарев отмечал в Александре II. В прокламации против Шедо- Ферроти, где Писареву не надо было прибегать ни к каким иносказаниям, он прямо писал: «Посмотрите на Александра II: в его личном характере нет ни подлости, ни злости, а сколько подлостей и злодеяний лежит уже на его совести!.. на что ни погляди, везде или грубое преступление, или жалкая трусость. Слабые люди, поставленные высоко, легко делаются злодеями» (II, 122—123).

В австрийском канцлере Писарев оттенял такие качества, в которых без труда узнавались черты русского императора. Ряд оценок и определений, касающихся как будто австрийского кабинета, почти текстуально совпадают с целым рядом мест в прокламации против Шедо-Ферроти.

---

[1] Писарев Д. И. Полн. собр. соч.: В 6-ти т., т. 1, с. 608.

Лейтмотив статьи «Меттерних» — мысль о невозможности «играть» безнаказанно народными интересами, о невозможности игнорировать народные потребности, мысль о праве народа в революции искать освобождения от реакционной деспотии. Писарев на материале австрийских и итальянских событий доказывал, что реакционная политика Александра, как и политика Меттерниха, неизбежно приведет к революционному взрыву.

Теме исторической роли народа посвящена и статья «Бедная русская мысль» [1]. Она написана в связи с книгой Пекарского «Наука и литература в России при Петре Великом». Историческую роль Петра Писарев трактовал с просветительской точки зрения. Он не отрицал выдающихся дарований Петра. Но в реформаторской деятельности Петра он видел только деспотизм и тиранию, только варварские *методы*; огромное значение для судеб России деятельности Петра Писарев недостаточно отчетливо понимал.

Статья, однако, выходит и за пределы рецензии на книгу Пекарского и за рамки рассмотрения деятельности Петра. В сущности, Писарева не интересует личность Петра как таковая. В его лице он видит лишь некое воплощение абсолютизма. Писарев ставит вопрос о роли исторических деятелей, о закономерностях исторического развития, о суверенитете народа. Он доказывает, что индивидуальная воля не может определять течение исторических событий.

В этой связи Писарев выступает против «мудрителей над жизнью» — так он называет тех, кто, пренебрегая народными потребностями, ломает жизнь народа по своему произволу. Он доказывает, что живая жизнь всегда побеждала их искусственные построения. «В конце концов непонятая и насильственно ломаемая жизнь всегда одерживала победу уже потому, что она переживала своего противника...» (II, 58). Он указывает на то, что во всей всемирной истории нет ни одного примера, чтобы личная воля одного человека, отрешенная от естественных потребностей народа и эпохи, основала какое-нибудь прочное государственное или социальное здание. Так, монархии, основанные завоеваниями одного человека, начиная от монархии Александра Македонского и кончая империею Наполеона I, не переживали

---

[1] Рус. слово, 1862, апр., с. 23—44; май, с. 45—79.

своих основателей и, «насильственно сколоченные из разнородных кусков и вершков» (II, 59), мгновенно распадались и гибли.

Доказывая безрезультатность цивилизаторских попыток Петра, Писарев, однако, подчеркивает, что эти попытки ни к чему не привели вовсе не потому, что *вообще* преобразования невозможны, а лишь потому, что реформы Петра не затрагивали *основ* народной жизни. Лишь подлинно революционные преобразования, такие, которые затронули бы основные стороны гражданского и экономического быта народа, могли бы изменить народную жизнь.

«Мудрение над жизнью», игнорирование народных интересов и народных потребностей Писарев видит не только в деятельности Петра. Он говорит об этих «мудрителях»: «...они все насиловали природу человека, они все вели связанных людей к какой-нибудь мечтательной цели, они все играли людьми, как шашками; следовательно, ни один из них не уважал человеческой личности, следовательно, ни один из них не окажется невиновным перед судом истории; все поголовно могут быть названы врагами человечества...» (II, 81).

Идея политического абсолютизма, по его мнению, чужда и враждебна народу. Абсолютистский произвол Писарев считает пережитком диких и варварских времен. Когда мыслят и живут полною человеческою жизнью целые тысячи или миллионы разумных существ, тогда единичная мысль и единичная воля тонут и исчезают в общих проявлениях великой народной мысли, великой народной воли...

Великий прогресс во всемирной истории заключается именно в постепенном росте демократии. Доказывая приоритет народа в решении исторических судеб, Писарев призывал к активной борьбе за права народа против политического произвола.

Революционный смысл статьи был до того очевиден, что издатель Павленков в 1868 году был предан суду за включение этой статьи в собрание сочинений Писарева. В обвинительном заключении указывалось: «По изложению автора, политические властители представляют только как сила реакционная, угнетательная и стесняющая естественное развитие народной жизни, или по крайней мере как начало, несмысленно мудрящее над народной жизнию, вертящее ею по-своему и навязывающее народу свою непрошеную опеку; народ же

или общество выставляются как элемент гонимый, протестующий, борющийся с гонителями и наконец поборающий их личную волю. По мнению автора, в нации развитой и цивилизованной личная деятельность правителей не имеет почти никакого значения, а все успехи гражданской жизни совершаются или естественным ее течением — сменою поколений, или же крупными переворотами. Автор самыми черными красками, хотя и иносказательно, рисует характер неограниченного правления и многознаменательным тоном напоминает читателю примеры Карла I и Иакова II английских и Карла X и Людовика-Филиппа французских; не видит в России ни прежде, ни после Петра Великого никакого исторического движения жизни (исключая реформы 19 февраля 1861 года); к личности же и деяниям Петра Великого относится в самом презрительном тоне; издевается над патриотизмом и консервативными чувствами прежних наших писателей, восхваляет насмешку, презрение и желчь, которыми проникнута нынешняя литература наша, и только в этих ее качествах видит надежду будущего»[1].

Упоминая о реформе 1861 года, обвинительное заключение имело в виду следующее место в статье «Бедная русская мысль». Говоря об учреждениях, основанных Петром, Писарев писал: «...но скажите по совести, положа руку на сердце, какое дело русскому народу до всех этих общеполезных учреждений? Многие ли из этих семидесяти миллионов знают о их существовании?

Вот манифест 19 февраля 1861 года — дело совсем другое; об нем через полгода знала вся Россия, и мужики повеселели на всем протяжении земли:

От хладных финских скал
До пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая.

Этот манифест — историческое событие, эпоха для жизни России» (II, 67).

Писарев, разумеется, понимал значение реформы. Весной 1862 года он уже сознавал крепостнический ее характер. Знал он и о кровавом подавлении крестьянских волнений. С этой точки зрения слова: «мужики повеселели на всем протяжении земли», да еще подкреп-

---

[1] Писарев Д. И. Полн. собр. соч.: В 6-ти т., доп. вып., с. 250—251.

ленные стихами, звучали явной иронией, которая, однако, не дошла до авторов обвинительного заключения. Иронический характер этих слов доказывается тем, что через два месяца после написания «Бедной русской мысли» он писал в прокламации против Шедо-Ферроти о зверских расправах с «повеселевшими мужиками». Там же он говорил о «нелепом решении крестьянского вопроса» (II, 123). Примечательно то, что в письме к Павленкову от 20 апреля 1868 года Писарев согласился с тем толкованием, которое придавали статье цензурный комитет и прокурор: «Читая обвинительный акт, я убедился в том, что в нем нет клеветы и что Цензурный комитет и прокурор действительно увидели в моих статьях только то, что я хотел в них выразить»[1]. Писарев, таким образом, признал, что иносказание было разгадано правильно и что в статье он действительно обрушивался на самые принципы монархического правления, признавая их губительную роль для народной жизни.

Необходимо отметить, что и на первом этапе своего сотрудничества в «Русском слове» Писарев ставил вопросы общественного развития не только в плане чисто политическом. Уже тогда он анализировал проблему *социально-экономических* противоречий общества, противоречий между классами, между эксплуататорами и эксплуатируемыми.

В революционно-просветительском плане он решал вопрос о «неразумности» общественного строя, основанного на неравенстве людей, на эксплуатации меньшинством трудящегося большинства, о строе, при котором тот, кто трудится и создает материальные ценности, лишен самых элементарных условий существования, а нетрудовые, паразитирующие классы пользуются всеми благами жизни. Это свое представление о нелепости и неразумности общественного строя, чреватого грозными социальными потрясениями, он выразил в памфлете «Пчелы» (1862).

Все метафоры, иносказания, аллюзии, к которым Писарев прибегал в подцензурной печати, нашли свою политическую расшифровку в статье-прокламации против Шедо-Ферроти. Эта статья имеет в идейном развитии Писарева особое значение. В ней Писарев *единственный* раз высказался прямо и откровенно, не опасаясь

---

[1] Красный архив, 1928, т. 29, с. 212.

«карательной цензуры». Дело все в том, что в 1861—1862 годах, когда Писарев только развернулся как публицист, пора цензурных послаблений, характеризовавшая первый период царствования Александра II, прошла, и цензурные строгости восстанавливались во всем объеме. Этого не мог не учитывать Писарев в своей литературной работе. После 1862 года условия одиночного заключения, необычайно сложная процедура прохождения рукописей через ряд инстанций исключали всякую возможность прямой и откровенной постановки вопросов. Ничего, в сущности, не изменилось и по выходе Писарева из крепости: после выстрела Каракозова началась эпоха белого террора, которая в полной мере отразилась на цензурных нравах.

Таким образом, статья против Шедо-Ферроти — в сущности, единственный документ, со всей откровенностью выражающий политические взгляды Писарева. Правда, конкретное задание этой статьи-прокламации не предусматривало постановку широких программных вопросов. Защитить Герцена и доказать пасквильный характер писаний барона Фиркса — такова ее непосредственная задача. Но обвинения против барона Фиркса переросли в обвинения против самодержавия в целом.

Мысли Писарева перекликаются с теми тенденциями, которые характерны были для «Колокола» и Герцена в это время. Либеральные жесты Александра — не больше как ширма, за которой скрываются «николаевские замашки». Непрерывная цель преступления — вот что составляет политику Александра. Факты, которые приводит для доказательства Писарев,— это те факты, которые широко комментировались на страницах «Колокола». Зверское подавление польского восстания («кровь поляков»), расправа в Бездне («кровь мученика Антона Петрова»), крепостнический характер реформы («нелепое решение крестьянского вопроса»), жестокие репрессии по отношению к студентам и цепь каторжных приговоров («история со студентами, загубленная жизнь Михайлова, Обручева и других»), подавление всякой новой мысли, гонения на литературу — таков сформулированный Писаревым список преступлений правительства Александра II. Писарев доказывал, что дело заключается вовсе не в злой воле Александра, а в *природе* абсолютизма. И здесь мы сталкиваемся с любопытной чертой писаревской статьи: она является своеобразным ключом к иносказаниям и намекам,

выраженным в других его работах. В статье «Пчелы» Писарев говорит о «темноте», которая способствует поддержанию нелепых порядков в улье. В статье о Шедо-Ферроти это становится точным политическим тезисом: «Чтобы подданные его (самодержца.— *Л. П.*) не знали о своих естественных человеческих правах, надо держать их в невежестве...» (II, 122). В той же статье «Пчелы» говорилось о королеве улья — матке и о прожорливых трутнях, которые пользуются трудом рабочих пчел. Здесь опять-таки это становится прямой характеристикой царствующего дома. По поводу обвинения Фиркса, что Герцен сравнивает себя с коронованными особами, Писарев пишет: «И какая же охота честному деятелю мысли сравнивать себя с царственными лежебоками, которые, пользуясь доверчивостью простого народа, поедают вместе с своими придворными деньги, благосостояние и рабочие силы этого народа?» (II, 124). Довольно неопределенные рассуждения Писарева в статье «Бедная русская мысль» о том, что только в варварской империи негров-ашантиев возможно произвольное «мудрение над жизнью», а также рассуждения о несостоятельности «личной воли» одного человека, отрешенной «от естественных потребностей народа и эпохи» (II, 58),— приобретают здесь свой конкретный смысл и расшифровку. «...В наше время,— пишет он,— только учебники географии проводят различие между деспотическим правлением и правлением монархическим неограниченным... В наше время каждый неограниченный монарх поставлен в такое положение, что он может держаться только непрерывным рядом преступлений... Преступление, на которое никогда не решился бы Александр II как частный человек, будет непременно совершено им как самодержцем всея России. Тут место портит человека, а не человек место» (II, 122—123). Наконец, писаревские мысли о пережившей себя нравственности и религии в «Аполлонии Тианском»; писаревские лозунги эмансипации личности от всех стеснений, какие налагают на нее власть авторитета, предания, сословные предрассудки, лозунги, выдвинутые в «Схоластике XIX века»,— здесь опять-таки политически расшифровываются, причем в духе Герцена, в духе программы «Колокола». Писарев напоминает, что эпиграфом к «Полярной звезде» Герцен «взял стих Пушкина: «Да здравствует разум!»... и да падут во имя разума дряхлый деспотизм, дряхлая религия, дряхлые

стропила современной официальной нравственности!» (II, 124).

Писаревская статья проникнута духом активности, действенности. «Обществу,— писал он,— остается или либеральничать с разрешения цензуры, или идти путем тайной пропаганды, тем путем, который повел на каторгу Михайлова и Обручева. Хорошо, мы и на это согласны...» (II, 121). То, что эти слова не риторический прием, доказывает самый характер статьи, характер прокламации, прямо призывавшей к действию. «Низвержение благополучно царствующей династии Романовых и изменение политического и общественного строя составляет единственную цель и надежду всех честных граждан России. Чтобы при теперешнем положении дел не желать революции, надо быть или совершенно ограниченным, или совершенно подкупленным в пользу царствующего зла... На стороне правительства стоят только негодяи, подкупленные теми деньгами, которые обманом и насилием выжимаются из бедного народа. На стороне народа стоит все, что молодо и свежо, все, что способно мыслить и действовать.

Династия Романовых и петербургская бюрократия должны погибнуть...

То, что мертво и гнило, должно само собою свалиться в могилу; нам останется только дать им последний толчок и забросать грязью их смердящие трупы» (II, 125—126).

Изучение статьи Писарева против Шедо-Ферроти, таким образом, позволяет сделать важные выводы. Сопоставление отдельных намеков в других статьях 1861—1862 годов с прокламацией доказывает, что мысли, высказанные в ней, не были случайными, навеянными минутным настроением, а выражали сложные и органические процессы в мировоззрении Писарева. С другой стороны, то, что оставалось неопределенным, иногда зашифрованным из цензурных соображений, к лету 1862 года, судя по прокламации, оформилось в отчетливые политические взгляды. Из автора «невинных» рецензий в «Рассвете», колеблющегося между аполитичными взглядами кружка филологов и «Современником», Писарев за короткое время, прежде всего под влиянием Чернышевского и Герцена, под влиянием бурного подъема освободительного движения, стал революционером и демократом. Несмотря на то, что *положительная* программа его еще не ясна, несмотря на то, что

ему свойственны индивидуалистические тенденции, революционно-*критические* взгляды его отчетливы и определенны. Он против самодержавия, против политического угнетения и экономической эксплуатации народа, он против религии, деспотизма и феодальной морали, он за революционное ниспровержение абсолютистской монархии. Правительство Александра II и народ — таковы, по его мнению, противостоящие друг другу враждебные силы. Вместе с революционным народом против самодержавия — таково в это время политическое credo самого Писарева.

6

Если в анализе мировоззрения Писарева до 1862 года в советской критической литературе не было особых разногласий, за исключением деталей, то оценка дальнейшей эволюции Писарева вызвала существенные споры. В двадцатых и тридцатых годах широкое распространение приобрела концепция, согласно которой Писарева нельзя отнести к революционной демократии. Он-де выразитель идей и настроений радикальной мелкой буржуазии, и в деятельности его нашли свое особое отражение сложные перипетии освободительной борьбы шестидесятых годов. Пока движение развивалось по восходящей кривой, Писарев примыкал к революционным кругам; когда начался спад общественной волны, он отошел от революции и стал пропагандистом культурного капитализма, проповедником мирного пути развития. Эту точку зрения развивал В. Я. Кирпотин[1]. Она лежит в основе статьи В. Гольдинера в «Литературной энциклопедии».

«Эволюция общественно-политических взглядов П⟨исарева⟩ отразила сдвиги, происходившие в среде мелкой городской буржуазии под влиянием общественного движения 60-х гг. В период наибольшего напора волны крестьянской революции П⟨исарев⟩ достиг высшей точки своего социально-политического радикализма. Когда же революционное движение спало, П⟨исарев⟩, отражая происходивший в среде мелкой городской буржуазии отход от революции, разочаровы-

---

[1] См.: Кирпотин В. Я. Радикальный разночинец Д. И. Писарев. М., 1934.

вается в возможности разрешения социальных противоречий революционным путем и ищет мирных путей преобразования общества... Писарев становится идеологом капиталистического развития» [1].

В таком грубом виде эта упрощенная социологическая схема вряд ли сейчас может иметь хождение. Однако отзвуки этих теорий дают о себе знать и в наше время. Так, в брошюре «Д. И. Писарев — выдающийся русский критик и публицист», изданной в 1948 году, справедливо характеризуя Писарева как революционного просветителя, В. Я. Кирпотин тем не менее в ряде случаев возвращается к своей старой схеме общественно-политической эволюции критика. Стремление противопоставить Писарева революционной демократии и ее вождю Н. Г. Чернышевскому проскальзывает в книге М. Розенталя «Философские взгляды Н. Г. Чернышевского», изданной в 1948 году.

Попытка изобразить дело таким образом, будто Писарев после 1862 года эволюционировал вправо и стал проповедником мирного культурничества, совершенно несостоятельна. Писарев оставался верен идеям революционного преобразования общества. Несмотря на временные колебания, его взгляды приобретали все бо́льшую глубину и конкретность.

Прежде всего необходимо уточнить представления об общественном движении в России после 1862 года.

Крестьянское восстание, на которое рассчитывали русские революционеры, не состоялось. В прокламациях Шелгунова и Заичневского, в памфлете Писарева против Шедо-Ферроти звучало твердое убеждение в том, что дни самодержавия сочтены. Это оказалось иллюзией. Правительству удалось подавить недовольство в стране и овладеть положением.

Но можно ли на этом основании говорить об общественном упадке после 1862 года? Выяснение этого вопроса имеет тем большее значение для нас, что именно после 1862 года, после смерти Добролюбова и ссылки на каторгу Чернышевского, по единодушному мнению всех современников и исследователей, Писарев становится одним из самых влиятельных властителей дум русской демократии.

Ленин следующим образом охарактеризовал шестидесятые годы:

---

[1] Лит. энциклопедия. М., 1934, т. 8, с. 672—673.

«19-ое февраля 1861 года знаменует собой начало новой, буржуазной, России, выраставшей из крепостнической эпохи. Либералы 1860-х годов и Чернышевский суть представители двух исторических тенденций, двух исторических сил, которые с тех пор и вплоть до нашего времени определяют исход борьбы за новую Россию» [1].

«Эти две исторические тенденции развивались в течение полувека, прошедшего после 19-го февраля, и расходились все яснее, определеннее и решительнее. Росли силы либерально-монархической буржуазии, проповедовавшей удовлетворение «культурной» работой и чуравшейся революционного подполья. Росли силы демократии и социализма — сначала смешанных воедино в утопической идеологии и в интеллигентской борьбе народовольцев и революционных народников, а с 90-х годов прошлого века начавших расходиться по мере перехода от революционной борьбы террористов и одиночек-пропагандистов к борьбе самих революционных классов» [2].

Прогресс в развитии революционного движения Ленин видел во все более ясном, определенном и решительном расхождении двух исторических тенденций в пореформенный период, двух исторических сил — либерально-монархической буржуазии и сил демократии и социализма. В этих высказываниях Ленина — ключ к пониманию характера второй половины шестидесятых годов.

Нет сомнения, что период после 1862 года ознаменовался усилением реакции. Значительные слои либералов, некогда заигрывавшие с радикальными кругами, эволюционировали вправо.

После волны крестьянских восстаний, после пожаров летом 1862 года репрессивная политика Александра II приняла особенно жестокий характер. Арест и осуждение Чернышевского, Михайлова, Писарева, Красовского, Серно-Соловьевича, Обручева, зверское подавление польского восстания, временное запрещение «Русского слова» и «Современника» — все это факты общеизвестные. В начале 1863 года «Колокол» отмечал: «Арестации продолжаются и вместе с ними какой-то ненужный

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 174—175.
[2] Там же, с. 176.

вялый и тупой террор... Писарев... Сидит с начала ноября»[1].

«Общее вече», обращаясь к правительству, писало: «Если бы вы могли, то даже и к мыслям каждого человека приставили бы цензуру, а не только к языку, ибо говорить нынче непременно нужно по-вашему. И посему у вас есть только власть, а не истина»[2].

Во второй половине шестидесятых годов революционная борьба стала менее интенсивной. Крестьянские восстания были подавлены. Правительство сумело преодолеть революционный кризис. Но в этих новых условиях революционное движение не прекратилось, оно пошло вглубь, приняло новые формы и наполнилось новым содержанием.

В этом отношении знаменательно свидетельство самого Писарева. В статье «Прогулка по садам российской словесности» (1865) он говорит о том, что, несмотря на усиление реакции в 1863 году, успех выпал в этом году не на долю тех книг, которые по душе были либерально-охранительному лагерю, а на долю романа Чернышевского «Что делать?». Внимание общества в 1863 и 1864 годах было по-прежнему приковано к тому, что происходило в революционно-демократическом лагере, несмотря на то, что речь идет «о тех двух годах, когда мы находились в самом невыгодном положении» (III, 255). Имея в виду польское восстание, волну шовинизма, Писарев говорит о 1863 годе: «Для теоретиков[3] этот год был невыносимо тяжел. Разные совершенно нелитературные обстоятельства привлекали внимание общества к таким предметам, которые не поддавались спокойному анализу» (III, 253). Тем знаменательней, по мнению Писарева, поразительный успех романа Чернышевского: «Весною 1863 года появилось в свет то, что Григорьев весьма игриво называл «эпопеей о белой Арапии». Говорят, что те книжки «Современника», в которых напечатана эта белая Арапия, обратились теперь в библиографическую редкость» (III, 254).

Это замечание Писарева интересно во всех отношениях. Оно, во-первых, подчеркивает, что, несмотря на

---

[1] Колокол, 1863, 1 янв., № 153, с. 1274. В дате ошибка: Писарев был арестован в июле.

[2] Иерархам от старообрядца. — Общее вече, 1863, 15 янв., № 9, с. 49.

[3] Так он называет лагерь революционной демократии.

физическое устранение Чернышевского, мощное влияние его идей на общество не прекратилось; во-вторых, замечание Писарева наглядно показывает, что и после 1862 года революционно-демократическая идеология имела в русском обществе широкую и плодотворную почву.

Какие же задачи в новых условиях встали перед революционной демократией? Стихийный протест, разрозненные, единичные выступления крестьян, не освещенные политическим сознанием, доказали свое бессилие. Революцию надо готовить тщательно и кропотливо. Нужно вносить в движение политическую сознательность, нужно воспитывать сознательных революционеров — таков был вывод, который лучшие представители революционной демократии сделали для себя. То, что движение не заглохло, несмотря на суровые репрессии, доказывает возникновение революционной организации ишутинцев и последовавший в 1866 году выстрел Каракозова.

Представление о времени после 1862 года как только о периоде «упадка» неправильно. Интенсивная и разносторонняя деятельность русской демократии сказалась во *всех* областях жизни, во всех областях культуры. Подъем общественной жизни, несмотря на все ограничения и препятствия, которые чинились правительством, выражался в чрезвычайно широком развитии русской науки и, в частности, естествознания; шестидесятые годы — это эпоха подлинного расцвета русской отечественной науки. Блестящие успехи естествознания отвечали коренным и глубоким потребностям национальной культуры, потребностям роста народного благосостояния, потребностям, связанным с необходимостью преодоления социально-экономической отсталости страны.

Принципиально новое в этом движении заключалось в том, что русская культура все больше становилась на путь естественнонаучного познания. Точные науки, науки о природе начали занимать все более важное место.

Материалистическая традиция, идущая от Чернышевского, оказала огромное влияние на развитие естествознания в России. Интерес к естествознанию проникает в широкие круги общества. В Петербурге, Москве, Киеве, Житомире, Самаре, Полтаве с большим успехом проходили публичные лекции по естественным

наукам. Эти лекции превращались в крупные общественные события.

В атмосфере живейших естественнонаучных интересов развернулось дарование великих русских естествоиспытателей. Деятельность Сеченова, Бутлерова, Мечникова, Пирогова, Тимирязева, Менделеева, Ковалевских неотделима от шестидесятых годов, откуда она берет свои истоки.

Ценнейший материал по этому вопросу содержится в работе К. А. Тимирязева «Развитие естествознания в России в эпоху 60-х годов». Это не только исследование по истории науки, но и свидетельство живого участника эпохи. Указывая на замечательные достижения русской науки во всех областях знания — в химии, физиологии, ботанике, математике, Тимирязев пишет о мировом значении русской науки: «Таким образом, за какие-нибудь 10—15 лет русские химики не только догнали своих старших европейских собратий, но порою даже выступали во главе движения, так что в конце рассматриваемого периода английский химик Франкланд мог с полным убеждением сказать, что химия представлена в России лучше, чем в Англии, отечестве Гумфри Дэви, Долтона и Фарадея. Успехи химии были, несомненно, самым выдающимся явлением на общем фоне возрождения наук в ту знаменательную эпоху...» [1].

Огромный и всесторонний подъем научного творчества в шестидесятые годы — факт чрезвычайно характерный для той эпохи. Следует также отметить замечательный расцвет в эти годы художественного творчества. Нельзя признать случайными успехи в этот период *социального романа*, в котором решались коренные проблемы общественного развития. *После* 1862 года создает свою великую национальную эпопею Лев Толстой, Во второй половине шестидесятых годов созданы выдающиеся творения Некрасова. Интенсивно и плодотворно работают в литературе Салтыков-Щедрин, Тургенев, Глеб Успенский, Островский, А. К. Толстой, Слепцов, Помяловский. А литература в России была одним из главных рупоров общественного движения.

Вспомним, наконец, об изумительном расцвете в шестидесятых годах русской живописи и музыки, которые

---

[1] Тимирязев К. А. Соч. М.: Сельхозгиз, 1939, т. 8, с. 154—155.

проникнуты были высокими идеями социального служения.

Лишь разобравшись во всей сложности эпохи, можно понять и дальнейшую эволюцию Писарева.

7

Из всего сказанного вовсе не следует, будто победа сил реакции в 1862 году не внесла никаких изменений в общественную жизнь. Нельзя также пренебрегать и тем фактом, что новая ситуация на первых порах вызвала известное замешательство в революционных кругах, в том числе и у Писарева. Наиболее отчетливо противоречивые тенденции проявились в писаревской «теории реализма». В статье «Реалисты» (1864) Писарев отмечал, что в «русском обществе начинает вырабатываться в настоящее время совершенно самостоятельное направление мысли, которое находится «в самой неразрывной связи с действительными потребностями нашего общества» (III, 7). Это самостоятельное направление он и назвал *реализмом*. В писаревской «теории реализма» необходимо выделить две главные черты: это, во-первых, постановку вопроса о путях преодоления социально-экономической отсталости России и, во-вторых, попытку соединения социализма с естествознанием.

«Теория реализма» связана не только с политическими представлениями, но и с общими основами философского мировоззрения Писарева.

Писарев, как и все революционные демократы, был материалистом. «...Ни одна философия в мире,— писал он в «Схоластике XIX века»,— не привьется к русскому уму так прочно и так легко, как современный, здоровый и свежий материализм» (I, 118).

Писарев был полностью на стороне Чернышевского в борьбе его и с откровенным апологетом идеалистической реакции Юркевичем и с эклектиком Лавровым.

Лавров с особенной горячностью оспаривал тезис Писарева о восприимчивости русского ума к материализму. «Если г. Писарев полагает, что русскому характеру всего сроднее материализм, то я думаю, что он ошибается: русский скептически смотрит на все метафизические вопросы, и для него самая приличная система та, которая бросит за борт весь этот исторический хлам и займется построением человеческого знания и челове-

ческой деятельности. Спорить о веществе и духе — действительно схоластика в наше время, где требования человека не разнообразны. Вместо того чтобы утверждать или отрицать существование того, чего нельзя ни исследовать, ни поверить, покажите только, каким путем мышление человека приходит к понятию, соответствующему словам *вещество и дух*»[1]. Это было напечатано Лавровым в августовской книжке «Русского слова».

Во второй половине «Схоластики», опубликованной в сентябрьской книжке «Русского слова», Писарев снова повторил свой тезис, мотивировав это тем, что идеализм философски оправдывал рабство, а русское общество, борющееся за освобождение народа, именно в материализме обретет идейное оружие. Продолжая традиции герценовских «Писем об изучении природы», Писарев обрушивался на идеалистическую схоластику и требовал от науки решительного внимания к живым потребностям жизни. Разбить замкнутость ученого сословия и сделать науку достоянием массы — таков его лозунг. Идеализм он именовал «нравственным оскоплением личности». Первичность материи и вторичность, отраженность сознания, объективная реальность внешнего мира и его принципиальная познаваемость, единство теории и практики — были для Писарева непреложными истинами. Но, разделяя со всей революционной демократией ненависть к идеализму, к клерикализму и приверженность к материалистическому мировоззрению, Писарев в своих взглядах отличался и некоторыми особенностями. Известное влияние оказали на него естественнонаучные материалисты Фохт, Молешотт и Бюхнер. К Гегелю Писарев относился отрицательно. В его глазах философия Гегеля была не чем иным, как пустой игрой словесных хитросплетений, далекой от насущных потребностей жизни.

Считая себя продолжателем Чернышевского, Писарев ставил своей задачей не только выработку материалистического *метода* и общей теории. Он полагал, что необходимо дать материалистическую *картину* мира. Этой картины мира он у Фейербаха найти не мог. Нашел он ее у естественнонаучных материалистов Фохта, Молешотта и Бюхнера. И со свойственным ему популяризаторским пылом он принялся за изложение их взглядов,

---

[1] Рус. слово, 1861, авг., с. 107.

видя в них резкое противоядие против мистических и религиозных концепций Гогоцких и Юркевичей. Нельзя забывать, что эти работы Писарева относятся к самому раннему периоду его журнальной деятельности: они написаны в 1861—1862 годах, когда ему был всего двадцать один год.

Борясь с идеалистическими, «умозрительными системами», Писарев, как это с ним нередко случалось, впадал в крайность: он отвергал теоретические обобщения и философские концепции и утверждал необходимость эмпирического накопления фактов. Ему казалось, что он только излагает по Фохту, Молешотту и Бюхнеру данные опытной науки о человеке, о его организме, о кровообращении, о дыхательных и пищеварительных органах. Недаром все эти статьи вошли в шестую часть прижизненного собрания сочинений под общим названием «Естественнонаучные статьи». Писарев, однако, усвоил не только конкретные представления Фохта, Молешотта и Бюхнера о человеческом организме, но и некоторые их общетеоретические воззрения.

Основная черта вульгарных материалистов — отождествление психических и физических явлений. Мышление, по их мнению, есть материальный процесс, происходящий в мозгу, процесс этот выражается в перемещении материальных частиц мозгового вещества и аналогичен мускульному движению или движению света. Мышление есть физиологическое отправление мозга.

Сознание вульгарные материалисты отождествляют с чувственностью. Но сознание в этом смысле принадлежит и животным, и не удивительно, что человек для них аналогичен животному, отличаясь лишь большей концентрированностью свойств.

Ленин неоднократно подчеркивал, что признание материальности мысли при всей кажущейся ортодоксальности этого тезиса означает смешение материализма с идеализмом. И не случайно, критикуя Канта, вульгарные материалисты сами впадали в субъективный идеализм. Сводя сознание к чувственности и представляя себе познание мира как эмпирическое чувственное постижение отдельным человеком бытия, Молешотт доходил до таких истин: «Если существуют человек и дерево, то человек необходимо находится в таком отношении к дереву, которое проявляется впечатлением на глаз. Без отношения к глазу, в который дерево посыла-

ет лучи света, оно не существует. Именно вследствие этого отношения существует дерево само по себе»[1].

Иными словами, мир существует лишь в той мере, в какой он воздействует на наши чувства. Так вульгарные материалисты в своей гносеологии скатывались к Беркли.

Эти положения вульгарного материализма оказали свое влияние на Писарева и нашли свое отражение в статьях «Физиологические эскизы Молешотта», «Процесс жизни» и «Физиологические картины», напечатанных в «Русском слове» в 1861—1862 годах. Человеческую деятельность он здесь объясняет физиологическими отправлениями. Особенности исторического развития, общественное бытие человечества ставится им в зависимость от физиологических причин. Измените пищу человека, говорит Писарев, и весь человек мало-помалу изменится. Пищеварение как основа человеческого организма — вот тот ключ, которым могут быть открыты все тайники истории.

Отмечая влияние вульгарного материализма, необходимо, однако, признать, что влияние это во многих работах о Писареве значительно преувеличено. В 1864 году в статье «Реалисты» он говорил о равнодушии натуралистов к философским системам, «начиная с необузданного идеализма Платона и кончая простым материализмом Бюхнера» (III, 34). Но «простой материализм» — это синоним вульгарного материализма. Слова эти указывают на то, что примитивные построения «простого материализма» все меньше удовлетворяли Писарева.

Необходимо также отметить, что Писарев не остановился на этих примитивных концепциях и в области непосредственно научной. В 1864 году он написал большую работу «Прогресс в мире животных и растений». Это одна из самых первых в русской литературе попыток *пропаганды дарвинизма.*

Статья эта прекрасно показывает, с каким восторгом встретил Писарев теорию Дарвина, возражая не против всякой теории вообще, а лишь против теорий, построенных на «умозрительных» предпосылках.

И в этой работе сказалась недооценка диалектики. Писарев отвергал скачкообразность движения в природе, переход одного качественного состояния в другое,

---

[1] Молешотт Я. Круговорот жизни. Харьков, 1866, с. 5.

но самым ценным и принципиально важным в дарвинизме он считал гениальное материалистическое обоснование принципа развития в природе. Если раньше он солидаризировался с мыслью, что жизнь неизменна и совершается в одном и том же кругу, то теперь он полностью признает закон исторического развития жизни, который открыт был Дарвином.

Эволюция естественнонаучных воззрений Писарева от плоских и примитивных представлений Фохта, Молешотта и Бюхнера к гениальной теории дарвинизма доказывает, как пытливо и жадно искал Писарев, с какой готовностью он использовал любую возможность на новом материале обосновать и утвердить материалистические воззрения.

Естественнонаучная, материалистическая пропаганда Писарева имела серьезное положительное значение. России для преодоления экономической отсталости нужно было интенсивное развитие науки и техники. Это Писарев отчетливо понимал. Его публицистическая деятельность совпала с расцветом естественных наук в России и на Западе. Работы Сеченова, Мечникова, Бутлерова, Зинина, Столетова, Либиха, Клода Бернара, Гельмгольца, Дарвина необычайно подвинули вперед естествознание. Писарев сумел лучше других оценить и практическое и теоретическое значение этого бурного развития естествознания. И совершенно справедливым представляется утверждение А. Д. Некрасова, что Писареву «русское общество, может быть, больше, чем кому-нибудь другому, было обязано распространением среди молодежи увлечения естественными науками» [1].

Если можно говорить о *решающем* влиянии на философские воззрения Писарева, то надо отметить воздействие антропологического материализма Чернышевского, который отличался своей революционной устремленностью. Взгляды Фохта, Молешотта и Бюхнера могли играть роль некоего усилителя, чаще всего толкавшего Писарева на парадоксальные крайности. Но основа была заложена Чернышевским, его учением о единстве физических и нравственных явлений, его подходом к человеку как материальному целому, его учением о разумном эгоизме. Именно в этом учении Писарев стремился найти *обоснование необходимости и неизбежности социалистического общества.* В антрополо-

---

[1] Некрасов А. Д. Борьба за дарвинизм. М.; Л.: Биомедгиз, 1937, с. 123.

гическом материализме он видел синтез *естествознания* и *социализма*. На страницах «Русского слова» вопрос о соотношении естественных и социальных наук обсуждался весьма оживленно. Варфоломей Зайцев в статье «Естествознание и юстиция»[1] сделал попытку применить к юридической теории Кетле о невменяемости преступлений взгляды Бюхнера и Фохта.

Н. В. Шелгунов писал в статье «Убыточность незнания» о том, что исторической науке следует опереться на естествознание[2].

Наиболее отчетливо попытка соединить естествознание с социализмом выражена у Писарева. Вопрос о социализме занимал Писарева издавна. Еще в статье «Очерки из истории печати во Франции» (1862) он говорит о вековом споре между трудом и капиталом. Для того чтобы спасти пролетария от голодной смерти, доказывает он, «надо было обеспечить его существование не филантропическими заведениями, похожими на тюрьмы, а таким общественным порядком, который отнял бы у одного человека возможность эксплуатировать труд сотни других людей»[3]. Уже будучи в крепости, в 1863 году, Писарев написал статью «Очерки из истории труда», в которой приходит к тем же выводам. Излагая взгляды американского экономиста Кэри, Писарев раскрывает картину острых социальных противоречий и конфликтов, зреющих в недрах общества, основанного на частной собственности и эксплуатации труда. Он отвергает мальтузианские теории, которые усматривали причину нищеты в перенаселенности и в непомерном возрастании потребностей у трудящегося большинства.

Все бедствия и все горести большинства человечества проистекают, по мнению Писарева, совсем не от «многолюдства», а от ненормальной организации труда, от того, что эксплуататоры присваивают себе все блага, созданные трудовым народом.

«Везде и всегда,— пишет он,— цивилизации гибнут оттого, что плоды их растут и зреют для немногих» (II, 314).

Писарев ясно понимал слабые стороны «чисто земледельческих стран». Он был горячим сторонником инду-

---

[1] Рус. слово, 1863, июль, с. 98—127.
[2] Рус. слово, 1863, апр.
[3] Писарев Д. И. Полн. собр. соч.: В 6-ти т., т. 2, с. 476.

стриального развития и неоднократно подчеркивал ту мысль, что расцвет промышленности является вернейшим залогом социального прогресса. Преодоление исторической отсталости России он мыслит на путях индустриализации. Не мог он не видеть, что именно капитализм несет за собой развитие индустрии. Но это отнюдь не значит, что он был апологетом капитализма. Напротив, анализируя противоречия капиталистических стран, он пришел к выводу, что только крушение власти капитала может уничтожить нищету и неравенство.

Он предсказывал то время, когда «царству капитала» придет конец: «Теперь всеми сделанными открытиями пользуется ничтожное меньшинство, но только очень близорукие мыслители могут воображать себе, что так будет всегда. Средневековая теократия упала, феодализм упал, абсолютизм упал; упадет когда-нибудь и тираническое господство капитала» (II, 308).

Социалистическая окраска «Очерков из истории труда» была столь очевидна, что и цензура вынуждена была отметить: «Хотя... статья написана весьма умеренным тоном, но и в ней нельзя не заметить социалистических тенденций» [1].

Таким образом, в социалистическом строе Писарев видел такую общественную организацию, которая полностью разрешает вопрос «о голодных и раздетых» и создает условия для разумной и гармонической жизни. Но в чем же заключается *необходимость* осуществления социалистического строя? Или это только прекрасная *мечта* «друзей человечества»? На этот вопрос писаревская «теория реализма» отвечает так: в самой *природе* человека заложена необходимость осуществления социализма.

Принцип экономии сил, культ естественных потребностей и, главное, идея пользы и общечеловеческой солидарности — краеугольные камни этой теории. «Вполне последовательное стремление к пользе,— утверждал Писарев,— называется реализмом и непременно обусловливает собою строгую экономию умственных сил, то есть постоянное отрицание всех умственных занятий, не приносящих никому пользы» (III, 20). Какие же это умственные занятия, приносящие пользу? Это прежде всего и главным образом распространение положитель-

---

[1] Евгеньев-Максимов В. Д. И. Писарев и охранители. — Голос минувшего, 1919, янв. — апр., с. 152.

ных знаний о человеке и природе, пропаганда естественных наук. Значение естественных наук представлялось Писареву в преувеличенном виде. Они в его глазах начинали играть роль универсального средства от всех общественных зол. Здесь Писарев впадал в доподлинный идеализм.

Утверждая тезис о материальности мысли и растворяя сознание в физиологическом бытии, он самое бытие в *историческом* плане ставил в зависимость от сознания. Излагая учение Конта о трех периодах человечества — теологическом, метафизическом и позитивном, Писарев согласен с его положением, что общественная жизнь человечества в каждую данную эпоху находится в прямой зависимости от тех способов и приемов, посредством которых люди объясняют себе явления природы. Господствующее мировоззрение кладет свою печать на все отрасли социальной действительности. Когда изменяется миросозерцание, тогда и в общественной жизни происходят соответственные перемены; когда борются между собой различные мировоззрения, тогда и общественная жизнь «наполняется тревогами и волнениями»; когда одно из борющихся миросозерцаний одерживает окончательную победу над другим, тогда и в общественной жизни водворяется спокойствие и единодушие.

Человек, по Писареву, представляет собой продукт природы. В зависимости от способов объяснения окружающего изменяются и все условия социального бытия. Следовательно, вся задача заключается в том, чтобы возможно правильней эту природу, включая сюда и человека, истолковать.

Так именно и поступают «мыслящие реалисты». Все свои действия они основывают на идее *общечеловеческой солидарности*, которая является одним из основных законов самой человеческой природы. И если в действительности эта идея не находит себе еще практического применения, то только потому, что массе она неизвестна, и человеческая жизнь поэтому оказывается искаженной, изуродованной.

Человеческий организм, по мнению Писарева, устроен так, что он может развиваться и удовлетворяет всем своим потребностям только в том случае, если он находится в постоянных и разнообразных сношениях с другими подобными себе организмами. На земном шаре существует множество отдельных человеческих обществ;

между этими обществами могут существовать или дружеские, или враждебные отношения. Первые несравненно выгоднее последних. Чем больше дружеских отношений и чем меньше вражды, тем лучше для каждого из отдельных обществ; а чем успешнее развивается общество, тем приятнее живется каждому из его членов, то есть каждому отдельному человеческому организму. Таким образом и выходит, что участь одного зависит от участи всех.

Вполне расчетливый эгоизм, таким образом, совершенно совпадает с подлинным человеколюбием. Идея общечеловеческой солидарности — это синонимическая замена слова «социализм», которое по совершенно понятным причинам в работах, имеющих значение практической программы, употребить он не мог. *Писаревская «теория реализма» тем и знаменательна, что Писарев напряженно ищет обоснования закономерности и необходимости социализма и находит это обоснование в естествознании.* Ленин писал:

«Могущественный ток к обществоведению от естествознания шел, как известно, не только в эпоху Петти, но и в эпоху Маркса»[1].

Эту тенденцию эпохи Писарев чутко уловил. Но естественнонаучному материализму человек не был известен как совокупность общественных отношений. И вместо анализа общественных отношений, продуктом и творцом которых являются реальные личности, естественнонаучные материалисты, в том числе и Писарев, имели дело с абстрактной биологической особью, которую произвольно наделяли теми или иными чертами.

Начав с материалистических посылок, Писарев закончил идеалистическим выводом, согласно которому «только мысль может переделать и обновить весь строй человеческой жизни» (III, 105).

Утверждение Писарева, что естествознание раскроет человеку глаза на его собственную природу и тем самым приведет к осуществлению основного ее закона — идеи общечеловеческой солидарности, было утопичным[2]. Он полагал, что «если естествознание обогатит наше общество мыслящими людьми, если... агрономы, фабриканты и... капиталисты выучатся мыслить, то эти люди вместе

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 25, с. 41.

[2] Влияние утопическкго социализма на Писарева выяснено в работе Б. П. Козьмина «Д. И. Писарев и социализм». — Литература и марксизм, 1929, кн. IV, V, VI.

с тем выучатся понимать как свою собственную пользу, так и потребности того мира, который их окружает. Тогда они поймут, что эта польза и эти потребности... сливаются между собой... что выгоднее и приятнее увеличивать общее богатство страны, чем выманивать или выдавливать последние гроши из худых карманов производителей и потребителей». Каждый капиталист может сделаться разумным эгоистом. Для этого надо только, «чтобы в нашем обществе постоянно поддерживалась та светлая струя живой мысли, которую вносит к нам зарождающееся естествознание» [1].

Размножать «мыслящих реалистов», пропагандистов естествознания, экономить умственные силы, сосредоточить всю энергию на осуществлении этого дела — вот та «программа-минимум», которая, по мнению Писарева, является составной частью великой программы социалистического преобразования жизни.

Прогрессивным во всей этой системе взглядов было то, что Писарев выступал сторонником индустриального развития страны, поборником технического прогресса, призванного преодолеть историческую отсталость России. Пропаганда естественных наук имела огромное положительное значение. Немало крупных русских естествоиспытателей пошли в науку под благотворным воздействием зажигательного пропагандистского слова Писарева. Но с точки зрения социально-политической программа эта была, бесспорно, утопической. Писарев некогда бросил замечательную фразу: «Слова и иллюзии гибнут — факты остаются». Его «теория реализма» тоже относилась к мечтательным иллюзиям, которые разрушались от соприкосновения с безжалостными фактами исторического развития. Пламенная пропаганда естествознания, которая сыграла в высшей степени положительную роль, сама по себе не решала и не могла решить вопроса о «голодных и раздетых».

8

Разделял ли, однако, в это время Писарев вместе с традиционным утопическим социализмом надежды на мирное разрешение социальных противоречий, отошел

---

[1] Писарев Д. И. Избр. соч. в 2-х т. М.: ГИХЛ, 1934, т. 1, с. 526, 527.

ли он от революции, превратившись объективно в апологета буржуазного культурничества? Следует отметить, что именно в этот период — 1863—1865 годы — явно обнаружились в мировоззрении Писарева черты, которые отличали его от Чернышевского. Колебания и непоследовательность Писарева выразились совсем не в том, что он под влиянием поражения революции *отказался* от революционных путей и пришел к выработке мирной культурнической программы. Совсем нет. Колебания его заключались в том, что, по-прежнему сознавая всю историческую правомерность революции и *вовсе не отказываясь от нее*, он, однако, признавал *одновременно* возможность и других, не революционных, мирных путей социального прогресса. И здесь выступали наружу те черты, которые делали его менее последовательным мыслителем, нежели Чернышевский. Сам Писарев в полемике с «Современником» подчеркивал свое несогласие с Добролюбовым по ряду общественных и литературных проблем. Но дело, разумеется, заключается не столько в этих личных оценках, сколько в объективном положении вещей. Первое, самое кардинальное расхождение между Писаревым и Чернышевским заключалось *в разном подходе к революции*. Для последнего революционное ниспровержение самодержавия было *главным, обязательным* и *необходимым* условием дальнейшего социального прогресса страны. Писарев тоже сочувствовал революционным методам. Но преодоление исторической отсталости страны и разрешение вопроса «о голодных и раздетых» возможно было, по его мнению, и другими путями, если в ближайшее время не предвиделось реальной перспективы революционного переворота. Анализ материала, однако, показывает, что даже в 1863—1864 годах, в период наиболее неблагоприятный, по свидетельству самого Писарева, для революционной демократии, несмотря на утопические и культурнические тенденции, *рядом* с этими тенденциями у Писарева существовали другие взгляды, с полной очевидностью свидетельствующие о том, что он оставался *принципиальным сторонником революции*. В этом смысле большой интерес представляет работа Писарева «Исторические эскизы» [1], посвященная французской революции.

---

[1] Рус. слово, 1864, янв., с. 1—79; февр., с. 1—65.

В работах на исторические темы Писарев был менее связан цензурными условиями, чем в статьях программно-практического характера, и это не могло не отразиться на их содержании. Эта бо́льшая внутренняя свобода сказалась в «Исторических эскизах». Он, правда, намекает на необходимость считаться с обстановкой при анализе такой щекотливой темы, как французская революция. «Читатель понимает, что на трудном и скользком пути без гомеровского спокойствия нет спасения» [1]. Но, несмотря на готовность соблюсти «гомеровское спокойствие», свои симпатии и антипатии, свой взгляд на французскую революцию он выразил со всей той полнотой, какая только доступна была ему.

В русской журналистике тема французской революции имела свою давнюю традицию. Неоднократно к ней возвращались и в шестидесятые годы. Но в спорах на эту тему речь шла не о приятии и неприятии революции *в целом*, споры шли преимущественно об эпохе якобинской диктатуры. В зависимости от отношения к ней можно было безошибочно определить политические позиции автора. И либеральная и тем более «охранительная» журналистика заявляли о своем безоговорочно отрицательном отношении к якобинской диктатуре и революционному террору. Чтобы не перегружать изложение доказательствами, приведем два примера. В «Русском слове» в 1860 году, когда этот журнал стоял еще на позициях либеральной благонамеренности, А. Лохвицкий в «Обзоре современных конституций» [2] обрушился на «фанатиков революции». Он резко разграничил «начала 1789 года», которые приемлет, и террор, который с негодованием отвергает. А катковский «Русский вестник» писал о якобинской диктатуре как о системе «самой деспотической и кровожадной, которая когда-либо господствовала в мире» [3].

Таким образом, и либералы и реакционеры сходились в своем отрицательном отношении к якобинцам. Несмотря на то, что Писарев, не желая, видимо, создавать себе дополнительные трудности «на скользком и трудном пути», довел изложение лишь до 1792 года, позиция его не оставляет никаких сомнений. Он показывает, насколько поверхностной и тенденциозной явля-

---

[1] Писарев Д. И. Полн. собр. соч.: В 6-ти т., т. 3, с. 115.
[2] Рус. слово, 1860, янв., с. 308—353.
[3] Рус. вестник, 1866, февр., с. 837.

ется попытка обвинить во всем злонамеренность «демагогов», подстрекавших «чернь на насильственные действия. В экономическом бытии народа, в настроениях масс надо искать ключ к событиям. Он напоминает о том, «какие неистощимые запасы пламенного, бесстрашного и беспощадного отрицания накопились в сознании и в чувстве всего французского народа во время долгих веков безгласности и страдания» [1].

«Не отдельные единицы,— подчеркивает он,— и не частные явления создают общие положения, а, наоборот, общие положения сообщают единицам и явлениям всю их силу и весь их смысл. Не клубы, не речи ораторов, не газеты Демулена и Марата производили в низших слоях французского общества неумолимое озлобление, а, напротив, существовавшее озлобление порождало и поддерживало и клубы, и яростные речи, и неистовые газеты» [2].

В революции он видел наиболее острую форму борьбы классов. Писареву был ясен буржуазный характер французской революции: «Пролетарий... смекнул в одну минуту, что, кроме родовой аристократии, есть еще аристократия денежная и что этой последней аристократии он, пролетарий, доставил над первой полную победу, от которой ему, пролетарию, не досталось ничего, кроме горячих подзатыльников» [3].

Писарев подчеркивает, что победа третьего сословия вызвала к жизни новые противоречия и что якобинцы явились представителями народа, в противовес либералам, которые были защитниками буржуазии. С этой точки зрения в высшей степени показательно примечание, которое он делает к слову «либерал»: «Слово *либерал* в конце прошлого столетия не было употребительно, но я позволю себе называть таким образом политиков буржуазии, чтобы отличить их от якобинцев, кордельеров и других предводителей пролетариата, которых я буду называть *демократами*» [4].

В революционном терроре якобинцев Писарев видел «неотразимую необходимость». Отмечая исторический смысл и историческую необходимость якобинской диктатуры, Писарев с иронией говорил о французских ли-

---

[1] Писарев Д. И. Полн. собр. соч.: В 6-ти т., т. 3, с. 144.
[2] Там же, с. 170.
[3] Там же, с. 158.
[4] Там же, с. 209.

бералах, которые «с пафосом превозносят «les grands principes de 1789» и вслед за тем казнят своим негодованием „les excèsses de 1793“»[1]. Приемля и оправдывая революционные методы якобинцев, Писарев и после 1862 года оставался убежденным и принципиальным сторонником революции, несмотря на то, что он *в это же время* говорил о возможности «химического», то есть нереволюционного, пути социального прогресса.

Он с насмешкой отзывался о «постепеновцах». Но критика «постепеновцев» в известной мере опровергала и теорию «химического» пути социального прогресса. И это противоречие было не единственным у Писарева. В тех же «Исторических эскизах» Писарев высказывает чрезвычайно важные мысли о коренных, определяющих факторах исторического развития. «...Действующая сила,— пишет он,— лежала и лежит всегда и везде — не в единицах, не в кружках, не в литературных произведениях, а в общих и преимущественно — в экономических условиях существования народных масс». Но если движущей пружиной исторического развития являются экономические условия существования народных масс, то как примирить с этим тезис Писарева, что мысль и только мысль может обновить и переделать весь строй человеческой жизни? Правда, Писарев указывает на то, что идея становится силой, когда она прокладывает себе «дорогу в мир материальных интересов»[2].

Но каким путем идея становится материальной силой, на это Писарев ответа дать не мог. По его определению, «*масса — это стихия*», законы развития которой лежат главным образом в сфере экономических отношений. В какой же связи со стихийным движением масс находятся «мыслящие реалисты»? Писарев понимал, что для достижения в революции прочных результатов, под которыми он разумел «экономические и социальные преобразования»[3], недостаточно одного стихийного протеста и разрозненных бунтов, а нужна и «долговременная, напряженная и строго последовательная деятельность»[4]. Иными словами, нужны организованность и революционная теория. Требование революционной

---

[1] Писарев Д. И. Полн. собр. соч.: В 6-ти т., т. 3, с. 174.
[2] Там же, с. 171, 232.
[3] Там же, с. 235.
[4] Там же, с. 153.

сознательности — важнейшая черта мировоззрения Писарева. «Мыслящие реалисты» у него не только «организаторы народного труда», но и революционеры. Доказательством этому служит то, что образцом мыслящего реалиста для него был Рахметов. Но как соединить сознательность революционного меньшинства со стихийным движением самих масс — на это Писарев не мог дать ответа. Не мог потому, что средствами антропологического материализма эту проблему решить невозможно было. Только исторический материализм удовлетворительно решил эту важнейшую задачу общественного развития.

Противоречия, которые мы выше отметили у Писарева, вытекали из того, что Писарев колебался между *историческим идеализмом и историческим материализмом*, и, инстинктивно приближаясь в ряде пунктов к историко-материалистическому объяснению социального развития, он не смог преодолеть до конца исторический идеализм. Вот почему он пытался революционные убеждения сочетать с «теорией реализма».

Оставаясь принципиальным сторонником революции, Писарев не противопоставлял «теорию реализма» революционным методам. Прибегая к условной терминологии подцензурной печати, он подчеркивал, что им совсем не отвергается историческая роль революционной борьбы масс. «Народное чувство, народный энтузиазм остаются при всех своих правах: если они могут привести к цели быстро, пускай приводят» (II, 364), — писал он в «Цветах невинного юмора». Под «народным энтузиазмом» подразумевалась революционная борьба масс. Правда, литература, ошибочно полагал он, ничего не может сделать ни для охлаждения, ни для разогревания народного чувства. Но размножение «мыслящих реалистов» не только не противоречит революционным методам, но, напротив, является своеобразным дополнением к ним. «Если даже чувство и энтузиазм,— писал он в той же статье,— приведут к какому-нибудь результату, то упрочить этот результат могут только люди, умеющие мыслить. Стало быть, размножать мыслящих людей — вот альфа и омега всякого разумного общественного развития» (II, 364—365).

Как мы видим. Писарев совсем не отказывался от революционного преобразования жизни.

Характерно, что во второй половине шестидесятых годов Писарев усилил борьбу против либерализма. Сви-

детельством этого могут служить статьи «Подрастающая гуманность и «Генрих Гейне». Либерал для него — это человек, опошляющий великие лозунги свободы. В России — это отступник, ренегат, прикрывающий свое предательство пышными и пустыми фразами, отказавшийся от борьбы и примирившийся с самодержавной деспотией. В условиях наступившей реакции, когда вчерашние попутчики демократии трусливо изменили ей, переметнулись в правительственный лагерь, борьба Писарева против либералов имела большое и актуальное значение.

9

В свете всего сказанного о социально-политических позициях Писарева несколько по-иному должна быть расценена известная полемика между «Русским словом» и «Современником», развернувшаяся в 1864—1865 годах. Об этой полемике существует довольно большая литература. В дореволюционной историографии она рассматривалась главным образом как беспринципный «раскол в нигилистах», свидетельствующий о неуживчивости революционных демократов шестидесятых годов. Непозволительная грубость полемических приемов — вот главное, что останавливало внимание И. Иванова, А. Волынского и других, писавших на эту тему.

В советском литературоведении к дискуссии подошли не как к беспринципной перебранке, а как к серьезному идейному расхождению. В ряде работ[1] утверждалось, что Писарев отстаивал культурническую концепцию в противовес революционной платформе «Современника» и Антоновича. Изучение материалов дискуссии приводит к несколько иным выводам.

Полемика между «Современником» и «Русским словом» затронула множество самых разнообразных вопросов, она нередко носила личный характер и изобиловала грубыми выпадами.

Следует отметить, что Писарев, судя по материалам, был против такого характера спора.

---

[1] Кирпотин В. Я. Радикальный разночинец Д. И. Писарев. М.: Сов. лит., 1934; Евгеньев-Максимов В. Последние годы «Современника». Л.: Гослитиздат, 1939.

В письме к Благосветлову из крепости он предлагал поместить в «Русском слове» специальное «Объяснение» по поводу своей работы «Реалисты», обращенное к «Современнику». В «Объяснении» говорилось:

«...Если бы «Современник» счел удобным вступить с нами в спокойное и дельное рассуждение о затронутых нами вопросах, то мы бы с удовольствием поддержали с ним разговор, имея в виду одну общую цель — выяснение тех идей, которые одинаково дороги «Современнику» и «Русскому слову»...

Мы никогда не скрывали нашего уважения к добросовестным и умным деятелям «Современника» но, когда «Современник», по нашему мнению, ошибался, мы тотчас указывали ему и публике его ошибки. Мы будем очень благодарны «Современнику», если он будет поступать с нами точно таким же образом. Пусть страдают иногда личные самолюбия, но пусть выясняются наши идеи» [1].

«Объяснение» не было напечатано.

В заметке «г. Постороннему сатирику „Современника“» [2] автор, укрывшийся под псевдонимом «Заштатный юморист», отвергая обвинения «Современника», подчеркивал, что «Русское слово» вовсе не нападает на «Современник» в целом, а лишь на отступления от линии Чернышевского.

Но полемика, вопреки желанию «Русского слова», приняла именно универсальный и чрезвычайно резкий характер. Главную роль в полемике играл Антонович, выступавший под псевдонимом «Посторонний сатирик». Особенно грубо нападал он на Благосветлова, обвиняя его во враждебном отношении к «Современнику» Чернышевского, в неблаговидных личных поступках, в прислужничестве Кушелеву-Безбородко и т. д. Благосветлов в специальной заметке «Последнее мое объяснение с г. Посторонним сатириком „Современника“» подробно остановился на этих обвинениях и доказал, что он спорил с «Современником» до того, как туда пришел Чернышевский, и что его взгляды не расходятся со взглядами Чернышевского. Довольно подробно он ответил и на личные выпады Антоновича.

Общий *идейный* смысл расхождений с наибольшей яркостью и глубиной развернут был Писаревым.

---

[1] Рус. обозрение, 1893, окт., с. 864.

[2] Рус. слово, 1864, дек.

«Цветы невинного юмора», «Реалисты», «Мотивы русской драмы», «Кукольная трагедия с букетом гражданской скорби» и «Посмотрим!» — таковы главные полемические выступления Писарева. В ходе самой полемики отдельные положения Писарева уточнялись, а некоторые видоизменялись. Главный предмет спора, если говорить о политической его стороне, сосредоточивался вокруг образов Катерины, Базарова и Рахметова.

В статье «Мотивы русской драмы» Писарев выступил против добролюбовской концепции образа Катерины. Катерина для него — воплощение *стихийного протеста,* а на этом пути, доказывает Писарев, ждать решения больших исторических задач нельзя. Писарев выступает против «коленопреклонения перед народною мудростью и перед народною правдою...» (II, 366). Основной двигатель исторического процесса — знания, разум. Центральной проблемой русской жизни остается вопрос о народном труде. В каких формах будет он решен, как будет совершен переход к «лучшим условиям существования», Писарев не указывает. Надо отметить, что добролюбовская концепция Катерины была сложней и многозначительней, чем это представлялось Писареву. Катерина была для Добролюбова «лучом света», потому что в ней по-своему воплотился бурный протест против лжи и гнета «темного царства». Добролюбовская оценка «Грозы» неотделима от его идеи народной революции, идеи, которая составляла внутренний пафос и смысл всей деятельности критика.

Если можно говорить о культурнических тенденциях Писарева, то они выражены в статьях 1864 года и, в частности, в статье «Мотивы русской драмы». Он писал в ней: «Но придет время,— и оно уже вовсе не далеко,— когда вся умная часть молодежи, без различия сословия и состояния, будет жить полною умственною жизнью и смотреть на вещи рассудительно и серьезно. Тогда молодой землевладелец поставит свое хозяйство на европейскую ногу; тогда молодой капиталист заведет те фабрики, которые нам необходимы, и устроит их так, как того требуют общие интересы хозяина и работников...» (II, 393). Симптоматично, что в этой статье наряду с Базаровым он называет еще не Рахметова, а Лопухова: «...одинокая личность русского прогрессиста разрослась в целый тип, который нашел уже себе свое выражение в литературе и который называется или

Базаровым, или Лопуховым» (II, 393—394). Полезная и разумная культуртрегерская деятельность Лопухова — вот что *пока* привлекает к себе внимание Писарева. Но Писарев был бы ординарнейшим либералом, если бы он ограничивался этой программой общественного развития. Уже в 1864 году Писарев понимал ограниченный и *временный* характер своей социально-политической концепции. Провозгласив в качестве конечной цели «реализма» установление социалистического общества, основанного на «общечеловеческой солидарности», Писарев говорил в «Реалистах»: «Читатель видит... что все стремления наших реалистов, все их радости и надежды, весь смысл и все содержание их жизни пока исчерпывается тремя словами: «*любовь*, *знание* и *труд*». После всего, что я говорил выше, эти слова не нуждаются в комментариях» (III, 138). Словами «любовь, знание и труд», подчеркивает Писарев, *пока* исчерпывается содержание социальной программы реализма. Этим он указывал на временный ее характер. Важно при этом отметить, что и в этой, так сказать, *программе-минимум* революционные и социалистические идеалы не устранялись. На это указывают слова, которые, по Писареву, исчерпывали содержание социальной программы реализма: *любовь,* знание и труд. Любовь здесь имеет специфический смысл. Титанами *любви* Писарев называл вождей революционных и социалистических движений масс.

В дальнейшем ходе полемики позиция Писарева приобрела бо́льшую определенность и четкость. Вопрос о сознательном меньшинстве и народе решается в революционном, а отнюдь не в культурническом плане. Принципиальное отношение к революции устанавливается не только на материале европейской истории, как в «Исторических эскизах», но и применительно к русской действительности. Писарев считал себя продолжателем традиций «Современника» и выступал против непоследовательности и шатаний этого журнала. В статье «Кукольная трагедия с букетом гражданской скорби» он писал, мотивируя свое обращение к творчеству Станицкого: [1] «Изучение г. Станицкого особенно интересно для нас потому, что этот писатель постоянно работает для «Современника» и постоянно уродует своим фразерством светлые и широкие идеи, которые развивали в

---

[1] Под этим псевдонимом выступала А. Панаева.

этом журнале действительно мыслящие и дельные люди» [1].

Наиболее отчетливо свое отношение к «Современнику» и к проблемам, поднятым в полемике, Писарев выразил в статье «Посмотрим!», которой, в сущности, и завершился спор, длившийся свыше двух лет. В этой статье Писареву пришлось опровергать и личные нападки Антоновича и отвечать на целый ряд и важных и мелких вопросов, поднятых в дискуссии. Но в этой статье отчетливей, чем что бы то ни было, был сформулирован центральный пункт разногласий: «Предстоит решить вопрос о том, кто из наших любимцев, добролюбовский или мой, Катерина или Базаров, заключают в себе элементы, необходимые для решения общественной задачи, поставленной русскому народу всем течением нашей исторической жизни? Добролюбов говорит, что нам нужен в настоящее время *«русский сильный характер»*. Я полагаю, что это мнение совершенно ошибочно. Сильных характеров у нас всегда было много, и они до сих пор существуют у нас в большом изобилии» (III, 460). Видеть в русском народе недостаток характера, говорит Писарев, может только человек, не знакомый с русской историей. В трудные и критические периоды русской истории этот характер проявлялся в полной мере. Самые размеры русского государства свидетельствуют о необычайном упорстве, выносливости народа, умеющего преодолевать самые, казалось бы, непреодолимые препятствия. И Писарев делает такой вывод: «Наша общественная или народная жизнь нуждается совсем не в сильных характерах, которых у нее за глаза довольно, а только и исключительно в одной *сознательности*. Как только наши неутомимые и неустрашимые труженики узнают и поймут совершенно ясно, что — ложь и что — правда, что — вред и что — польза, кто — враг и кто — друг, так они и пойдут твердыми шагами к разумной и счастливой жизни, не останавливаясь перед трудностями, не пугаясь опасностей, не слушая лживых обещаний и спокойно устраняя все рогатки и шлагбаумы» (III, 461).

Писарев утверждает, что тип, решающий общественную задачу, воплощен самым блестящим и самым глубоким мыслителем «Современника» Чернышевским

---

[1] Писарев Д. И. Полн. собр. соч.: В 6-ти т., т. 5, с. 155—156.

в личности Рахметова; «...а на кого же Рахметов больше похож — на Базарова или на Катерину?» (III, 462).

Мы указывали, что Писарев упрощал взгляды Добролюбова, но сама постановка вопроса о Катерине и Базарове была продиктована мыслью о том, что и для закрепления результатов революции нужны люди базаровского типа, потребны прежде всего знания.

Примечательно, в каком контексте развивает эту мысль Писарев. Он доказывает, что каждое важное событие в исторической жизни народа вызывает тысячи проявлений самого чистого и высокого героизма, а оканчивается оно самой нелепой и печальной развязкой, если у народа не оказывается в наличности тех умственных способностей, тех знаний и той опытности, которые могли бы повернуть куда следует дальнейший ход общественной истории. Пример, которым иллюстрирует этот тезис Писарев, полностью подтверждает высказанное нами мнение. «Посмотрите, например, на первую французскую революцию: энергии, героизма, любви к отечеству и всяких других добродетелей было истрачено столько, что их хватило бы на освобождение всех народов земного шара; а между тем движение завершилось военным деспотизмом и позорнейшею реставрациею именно оттого, что не нашлось в запасе положительных знаний, без которых и самый гениальный организатор всегда потерпит полнейшую неудачу» (III, 462). И отсюда вывод: «...нам необходимы исключительно люди знания, т. е. знания должны быть усвоены теми железными характерами, которыми переполнена наша народная жизнь» (III, 465).

Итак, для того чтобы революция принесла с собой подлинное благо народу, для того чтобы она не завершилась еще большим деспотизмом, нужны знания, сознательность, нужны «мыслящие реалисты», без которых Базаровы и Рахметовы тоже ничего поделать не смогут. Можно утверждать, что в рассуждениях об определяющей роли знания сказывались идеалистические преувеличения Писарева. Но нельзя не видеть, что вся эта система взглядов была проникнута революционным воодушевлением и ничего общего не имела с отходом от революционных и социалистических идей.

Главная историческая задача русской действительности, по Писареву, заключается в воспитании революционной интеллигенции и в революционном просвещении народа. *Не стихийный протест, а революционная*

сознательность — вот на что должна ориентироваться передовая русская общественная мысль. Непонимание этой главной задачи, по его мнению, уводит от революционного пути на путь либерального прекраснодушия. И Писарев в соответствии с этим бросает Антоновичу обвинение в том, что тот скатывается на либеральные позиции и изменяет знамени Чернышевского. «Вы, например, не понимаете, что когда в обществе есть не только голодные люди, но даже голодные классы, то обществу рано, нелепо, отвратительно, неприлично и вредно заботиться об удовлетворении других потребностей второстепенной важности, развившихся у крошечного меньшинства сытых и разжиревших людей» (III, 450—451). Писарев ссылается на Чернышевского, который сравнивает неразумное общество, имеющее мало хлеба и в то же время заботящееся о музыкальных консерваториях, об операх, балетах, картинах и статуях, с глупым дикарем; тот ходит нагишом и босиком и в то же время украшает себя золотыми браслетами и жемчужными ожерельями. «Поэтому,— заключает Писарев,— советую вам совершенно искренне, бросьте название реалиста, которое вам совершенно не к лицу... а еще того лучше, назовите себя *либералом* и разделите это почетное и комфортабельное название с «Московскими ведомостями», с «Сыном отечества», с «Голосом», с «Отечественными записками», словом, со всею русскою журналистикою, кроме «Домашней беседы» — с одной стороны, и «Русского слова» — с другой» (III, 451).

То, что Писарев, опираясь на Чернышевского, видел в Рахметове революционера и именно в этом он усматривал его сущность, доказывается следующими словами Писарева. «...Что касается до его (Рахметова.— *Л. П.*) сущности,— отвечал он Антоновичу,— то она и подавно осталась для вас темною; это совершенно очевидно, потому что, если бы она для вас была ясна, вы бы немедленно сообразили, что упрекать противника в ее непонимании — в высшей степени недобросовестно, так как противник на эти упреки не может ответить ровно ничего и ни при каких условиях не может представить печатных доказательств своего понимания» (III, 485).

Писарев совершенно прозрачно намекал, что он вынужден ограничиваться при определении Рахметова словами об «общеполезной работе» в силу того, что,

сидя в крепости, он лишен какой бы то ни было возможности подробно разобрать революционное содержание образа Рахметова. Антоновичу это тоже, конечно, было известно, и поэтому его требование, чтобы Писарев охарактеризовал подробнее Рахметова, Писарев называет «ребяческим».

Таким образом, если отвлечься от побочных тем, затронутых в полемике, можно выделить центральный пункт разногласий. Речь шла о *новых* задачах революционной демократии, о том, чтобы ориентироваться *прежде всего на революционную сознательность*, речь шла о дальнейшем развитии идей Чернышевского и о борьбе против эпигонов, которые ортодоксальной фразеологией прикрывали либерально-примиренческий пересмотр революционных традиций «Современника».

Надо, разумеется, со всей отчетливостью представить себе, что к упрекам, которые выдвигал Писарев против Антоновича, Добролюбов никакого отношения не имел. Добролюбов и Чернышевский всегда ставили вопрос о воспитании сознательных революционных борцов, они никогда не обожествляли стихийного движения масс.

Но в новых условиях, когда надежды на близкую народную революцию не оправдались и путь к ней оказался более долгим и трудным, Писарев считал главной, основной, первоочередной задачей формирование мыслящих, сознательных, идейно закаленных революционеров.

10

Возникает, естественно, вопрос: имела ли под собой почву позиция «Русского слова», в какой мере справедливы были обвинения Писаревым Антоновича в либеральных тенденциях и в отходе некоторых сотрудников «Современника» от революционных принципов.

Различные и вполне объективные свидетельства позволяют утверждать, что основания для этого Писарев имел.

В своих воспоминаниях Елисеев так характеризовал возобновленный «Современник»: «Правда, цель осталась та же, и весь наличный персонал журнала, оставшийся от прежнего «Современника», так же искренне и горячо ратовал за ту же цель, что и прежде, но преж-

ней души «Современника», в нем действовавшей, всем управлявшей и направлявшей, уже не было. Этою душою «Современника» был до сих пор Н. Г. Чернышевский, но он при закрытии журнала в 1862 г. был арестован и заключен в крепость... Остальной персонал сотрудников «Современника» составляли все люди более или менее ординарные, хорошие работники по разным детальным частям журнала и специальностям, но не имевшие ни верного глазомера, чтобы надлежащим образом оценивать все тяготеющие над журналом сторонние влияния, ни таланта уметь находить и умно вести себя среди этих влияний...» [1]

По этому поводу В. Е. Евгеньев-Максимов замечает: «Нет никакого сомнения, что под «новыми руководителями журнала» Елисеев имел в виду отнюдь не Некрасова, ведавшего беллетристикой и принадлежавшего к числу не «новых», а прежних руководителей журнала, а тех именно лиц, в руках которых находились небеллетристические отделы журнала, т. е. самого себя, Антоновича, Жуковского и Пыпина. Относительно всех их вместе и каждого в отдельности действительно нельзя не признать, что в усложнившихся условиях начавшейся реакции они оказались не в силах с достаточной четкостью проводить программу прежнего „Современника“» [2].

Евгеньев-Максимов указывает на статью Ю. Г. Жуковского «Затруднения женского дела». В этой статье Жуковский скептически отзывался об учреждении женских артелей, которое пропагандировалось в романе Чернышевского и встречало горячую поддержку со стороны Елисеева.

Сам Елисеев занял отрицательную позицию в отношении «снов» Веры Павловны. В октябрьском «Внутреннем обозрении» 1863 года он писал о «четвертом сне» Веры Павловны: «Мы можем... сказать, что автор позволил себе самую чудовищную идеализацию для настоящего времени. Крепкому смыслу, трезвому взгляду она, конечно, и теперь может доставить большую пользу. Но мы, россияне, наклонные к идеальничанью от нашей юности, не извлечем из нее ничего поучительного

---

[1] Антонович М. А. и Елисеев Г. З. Шестидесятые годы. Воспоминания. М.; Л.: Academia, 1933, с. 267—268.

[2] Евгеньев-Максимов В. Последние годы «Современника», с. 252.

для себя, напротив, будем почерпать здесь истинную пагубу для наших нравов и для нашей жизни»[1].

В январской книжке «Современника» за 1863 год была напечатана статья Унковского, в которой доказывалось, что судебная реформа «сама по себе могла бы прославить нынешнее царствование и заслужить ему вечную благодарность всех грядущих поколений»[2]. В том же номере во «Внутреннем обозрении» утверждалось, что правительство Александра II прививает русскому народу европейскую цивилизацию тем самым путем, за который стоит «Современник».

Показательно, что «Отечественные записки» с явным одобрением отозвались об этих выступлениях «Современника» в защиту правительства[3].

Эволюция, которую переживал «Современник», зафиксирована в высказываниях самих сотрудников журнала. В письме А. Н. Пыпина от 1867 года к Некрасову по поводу новой редакции «Отечественных записок» мы читаем: «Я ничего не хочу сказать,— пишет он,— лично против Краевского,— но наши литературные отношения были таковы, что соединение двух литературных оттенков, столь различных, в одно — представляется мне невозможным. Или мы должны слишком перемениться (*хотя мы уже значительно переменились*), или Краевский должен перемениться, для того чтобы эта комбинация была возможна»[4]. Характер этих *перемен* не оставляет сомнений.

Наконец, цензура, которая с чрезвычайным вниманием следила за «Современником», констатировала в 1868 году, что в последних книжках «прекращенного „Современника“» было значительно умерено «радикальное его направление»[5].

Однако главным оппонентом Писарева был прежде всего М. Антонович. Что же он представлял собой?

Начало публицистической карьеры М. А. Антоновича было весьма многообещающим. В 1859 году, еще будучи на последнем курсе Петербургской духовной ака-

---

[1] Евгеньев-Максимов В. Последние годы «Современника», с. 255.

[2] Унковский А. М. Новые основания судопроизводства.— Современник, 1863, янв., с. 401.

[3] См.: Отеч. зап., 1863, март. Современная хроника России, с. 26.

[4] См.: Плоткин Л. А. Писарев и литературно-общественное движение шестидесятых годов. М.: Изд-во АН СССР, 1945, с. 261.

[5] Там же.

демии, он принес свою первую статью в «Современник». Добролюбов в молодом авторе усмотрел хорошие задатки, и Антоновича привлекли к сотрудничеству в журнале. Статьи его начали появляться на страницах «Современника». Он выступал по ответственным и принципиальным вопросам. Чернышевский с большой похвалой отозвался о нем в «Полемических красотах». После смерти Добролюбова Антонович начал выступать в роли литературного критика, а с 1863 года по 1866 год, после ареста Чернышевского, он стал одним из главных сотрудников «Современника». Его перу принадлежали основные руководящие статьи в журнале. Он вел полемику с целым рядом литературно-политических противников. Его выступления — в центре тогдашней журнальной борьбы. Эта энергичная литературная деятельность оборвалась, однако, самым неожиданным образом. В 1866 году был закрыт «Современник», а в новый журнал, приобретенный Некрасовым, «Отечественные записки», Антонович не был приглашен. Дальнейшая его литературная биография сложилась крайне неудачно. Он сотрудничал в таких второстепенных органах, как журнал «Космос» и провинциальная газета «Тифлисский вестник». Его привлекли в журнал «Слово» заведовать критическим отделом, но работа в «Слове» оказалась недолговременной. Антонович, не поладив с редакцией, вскоре ушел оттуда. В восьмидесятых годах он стал чиновником в министерстве финансов, одновременно занимаясь естествознанием. Вернуться к большой литературной работе так ему и не удалось. Умер Антонович в 1918 году.

В «Современнике» при Чернышевском и Добролюбове Антонович отстаивал материалистические и революционные взгляды на том участке, который был ему поручен,— на участке философском. Надо, однако, отметить, что, будучи пропагандистом идей антропологического материализма, Антонович был лишен той глубины и гибкости мысли, которая составляла одну из самых сильных черт Чернышевского.

Несмотря на это, философские статьи Антоновича, печатавшиеся на страницах «Современника» при Чернышевском, обнаруживали в нем даровитого популяризатора материалистических идей. Философские работы Антоновича, при всех своих отдельных недостатках, сыграли, несомненно, положительную роль и вошли яркой страницей в историю развития материализма в России.

Под руководством Чернышевского Антонович умел талантливо популяризировать то «свежее и здоровое направление мысли», о котором говорит Писарев. Но играть роль идейного руководителя «Современника» ему оказалось не под силу. Арест Чернышевского явился для Антоновича личной катастрофой. Он был хорошим соратником великого революционера. Но четырехлетие, проведенное им в «Современнике» без Чернышевского, доказало, что он не способен двигать дальше, развивать применительно к новым условиям принципы своего учителя. На всю жизнь сохранился у него культ великих шестидесятников — Чернышевского и Добролюбова. Принципы добролюбовской критики он считал для себя священными и ревностно отстаивал их от всяких посягательств. Но оставаться просто шестидесятником нельзя было. Жизнь ставила новые вопросы. На эти вопросы надо было давать вразумительные ответы. Этих ответов у Антоновича не было. Писарев беспощадно охарактеризовал позиции своего оппонента: «...у вас нет самостоятельного миросозерцания, которое вы могли бы противопоставить нашим идеям... у вас нет ничего, кроме грошового самолюбия, а между тем вы стоите на виду, вы — первый атлет «Современника», на ваших плечах лежит фирма журнала, за вами добролюбовские предания, за вами «Полемические красоты», все это вы должны поддержать, каждая ваша ошибка будет замечена и осмеяна вашими многочисленными противниками, и все это вы сами понимаете вполне» (III, 303).

Надо признать, что в этой злой и безжалостной характеристике было немало верного. Прямые и конкретные лозунги революционной демократии — лозунги крестьянской революции — у Антоновича выцветали, становились расплывчатыми и неопределенными. В полемике со славянофилами дальше самых общих «святых идеалов» на Западе он не шел. И если критическая часть полемических выступлений Антоновича против аксаковского «Дня» еще имела какой-то серьезный смысл, то положительной программы в это время у Антоновича, в сущности, не было.

Беспочвенность позиции Антоновича сказалась в его полемике с «Русским словом». С нескрываемым раздражением отозвался о беспричинной, ненужной и вредной грызне Елисеев: «Напрасно некоторые из сотрудников «Современника», в том числе и я, говорили ему, чтобы он бросил эту грызню, бесполезную и неприличную для

журнала; напрасно некоторые из читателей журнала присылали в редакцию журнала ругательные письма за эту грызню. Антонович печатал эти письма и продолжал делать то же, что и прежде» [1].

Резкость полемического стиля, не подкрепленная достаточно серьезным внутренним содержанием, и должна была неизбежно вызвать такие отклики. Шаткой и малоубеждающей была позиция Антоновича в вопросе об «Отцах и детях». В лице Базарова он увидел клеветническую карикатуру на молодежь. Один из самых блестящих романов он объявил антихудожественным пасквилем. «Отцы и дети» для него только плохой и поверхностный морально-философский трактат. Антонович сближал роман «Отцы и дети» с реакционными романами Писемского, Стебницкого (Лескова) и Клюшникова.

Некоторые основания для отрицательной идейной интерпретации «Отцов и детей» у Антоновича были, если учесть историческую обстановку. Но в статье о Тургеневе сказался общий порок мировоззрения Антоновича — схематическая прямолинейность, отсутствие глубины и гибкости. Художественное произведение он свел без остатка к политической тенденции. Субъективными взглядами писателя исчерпывается для Антоновича сущность его творений. Противоречие между политическими убеждениями художника и конкретным содержанием литературного произведения,— то, что Писарев хорошо видел,— Антоновичем начисто отвергалось. В результате понять всю противоречивость «Отцов и детей», показать, что сущность этого романа далеко не исчерпывается антинигилистическими тенденциями, Антонович не сумел. Таким анализом Антонович только дискредитировал революционно-демократический лагерь.

Не сумел Антонович отстоять принципы Чернышевского и в области эстетики.

Антонович вслед за Чернышевским выступал против идеалистических концепций искусства, которые он усматривал в теории реакционного романтизма с его мистицизмом и бегством от реальной действительности. В отстаивании принципов Чернышевского от нападок идеалистической критики и в определении общих задач искусства больших трудностей перед Антоновичем не

---

[1] Антонович М. А. и Елисеев Г. З. Шестидесятые годы. Воспоминания, с. 284—285.

вставало. Трудность возникла в связи с другим. В известных статьях Писарева с большой остротой был поставлен вопрос об искусстве и жизни, о том, в какой мере и для чего оно нужно людям.

Как эту проблему решал Антонович? Прежде всего он устанавливал принципиальное различие между подражанием и воспроизведением жизни. Теория подражания-де исходит из ложного требования, чтобы искусство давало вторую натуру, «подражало природе и само было второй природой»[1]. Теория воспроизведения не имеет подобных претензий. Подражание в интерпретации Антоновича равнозначно натуралистическому копированию жизни; воспроизведение предполагает разумный отбор наиболее характерных и типических черт. Легко заметить, что это еще не решало вопроса, ибо Писарев не допускал, чтобы литература, скажем, была созданием «второй натуры». Антонович попытался вопрос, поставленный Писаревым, решить с позиции антропологического материализма. Привело это его к весьма показательным выводам. «...Эстетическое наслаждение,— писал он,— есть нормальная потребность человеческой природы, удовлетворяемая прекрасными предметами, и невозможно придумать никакого основания, которое бы могло дать право воспрещать или даже порицать удовлетворение этой потребности. Значит, искусство как удовлетворение этой потребности полезно, если бы оно даже больше ничего и не давало человеку, кроме эстетического наслаждения, если бы оно было просто искусством для искусства, без стремления к другим, высшим целям»[2]. Правда, тут же Антонович добавляет, что и чисто эстетическое наслаждение заключает в себе элементы нравственного воспитания, будучи средством гуманизации человека; но Антонович не мог не понять, что поправка его самым радикальным образом видоизменяет основы эстетической теории Чернышевского. Поэтому он подчеркивал, что сущность искусства не исчерпывается одним только возбуждением эстетического наслаждения. Задача его быть проводником полезных идей. «...Всегда поэзия служила одним из главных орудий публицистики, учила, развивала и улучшала общество... У нас также художествен-

---

[1] Антонович М. А. Избр. статьи. Л.: Гослитиздат, 1938, с. 112.

[2] Там же, с. 125.

ные произведения развивали и распространяли новые идеи и направления, приносили пользу обществу своими нравственными и практическими влияниями»[1].

Крайне знаменательны противоречия эстетической системы Антоновича. С одной стороны, предельный «просветительский» дидактизм, с другой — признание искусства как самоцели, искусства для искусства. Противоречие это в известной мере было неизбежным и закономерным. Если искусство ничего не добавляет к нашему пониманию жизни, если непосредственное созерцание действительности дает больше, чем ее изображение в художественных творениях, если, как это весьма красноречиво доказывал Писарев, пропаганду полезных идей может с успехом выполнить и не художник,— тогда, чтобы спасти искусство, Антоновичу ничего не оставалось, как прибегнуть к такому аргументу, как кантовский тезис об искусстве как самоцели. Надо добиваться, чтобы искусство было поставлено на служение человеческому прогрессу, но все же подлинным оправданием существования поэзии, живописи, музыки является их способность удовлетворять эстетические потребности, искони присущие человеческой природе. Логика этих рассуждений привела Антоновича к кантианскому выводу. Этот отход от Чернышевского к Канту, эту уступку идеализму Писарев, разумеется, не преминул учесть, когда он отметил либеральные тенденции Антоновича.

Эта эволюция Антоновича еще резче определилась в последующие годы. От революционных тенденций былых лет остался только пиетет перед великими шестидесятниками. Даже в такой полемически острой статье, как статья о «Братьях Карамазовых», мы встречаемся с типичной либеральной фразеологией.

В заметке по поводу статьи Русанова о Лаврове (1907) Антонович привел слова Русанова о Чернышевском как о «духовном вожде тогдашней революционной интеллигенции» и сопроводил эпитет «революционной» вопросительным знаком. Видимо, революционная суть шестидесятников в восприятии Антоновича все более и более тускнела. Его политические симпатии в дальнейшем не шли дальше либерального народничества. Недаром разрыв со «Словом» произошел у Антоновича из-за нападок этого журнала на Михайловского. Не

[1] Антонович М. А. Избр. статьи. Л.: Гослитиздат, 1938, с. 135.

сумел Антонович уберечь и боевой материалистический дух своего философского мировоззрения. Если раньше он грешил отдельными кантианскими ошибками, то в той же цитированной заметке о Русанове он в материалистической физиологии увидел подтверждение основного принципа кантовского агностицизма: «...материалистическая физиология дала опытные доказательства, подтверждающие в известном смысле основной принцип Канта, и показала, что мы не знаем не только сущности вещей, но не знаем непосредственно даже явлений вещей и их действительного отношения к нам...» [1]

Дело заключалось совсем не в том, как это изображала буржуазная история литературы, что Антонович был «разносителем», который оказался не ко времени, и что отсюда-де вытекала вся неустроенность его дальнейшей литературной судьбы. Дело заключалось в том, что за боевым полемическим задором со временем все меньше оставалось боевого литературного и политического содержания. Дело заключалось в том, что Антонович не только не развивал дальше учения великих вождей революционной демократии применительно к новым условиям, а, напротив, со временем уступал одну позицию за другой.

В дискуссии с «Русским словом» в ряде частных вопросов Антонович был более прав, чем Писарев и Зайцев. В споре о рабстве негров, в полемике о Шопенгауэре и о теоретических положениях Сеченова, в указаниях на некоторые парадоксальные крайности эстетических позиций «Русского слова» правота была на стороне Антоновича. И, однако, перед лицом широких читательских кругов победителем вышел Писарев.

Это, конечно, ни в какой мере не снимает вопроса о прогрессивном значении деятельности Антоновича в целом.

Спустя полвека после ожесточенной полемики с «Русским словом», когда страсти улеглись, Антонович отдал должное и своему язвительному оппоненту, поставив Писарева в один ряд с Чернышевским и Добролюбовым.

В 1911 году стал издаваться журнал «Современник». В письме в редакцию, сравнивая шестидесятые годы с современностью, Антонович писал:

«Вместо таких критиков, как Чернышевский, До-

---

[1] Былое, 1907, апр., с. 293.

бролюбов, Писарев и несколько позже Михайловский, теперь упражняются в критике господа, из которых один именует свои критики «критическими рассказами», но которые вернее было бы назвать критическими водевилями» [1].

В «Голосе минувшего» приведена запись беседы с М. Антоновичем о Лаврове. Говоря о том, что среди молодежи шестидесятых годов Лавров был не очень популярен, Антонович добавил: «Интерес ее был направлен в сторону Чернышевского, а затем отчасти к Писареву» [2].

11

Дальнейшая эволюция Писарева заключалась в преодолении утопических воззрений на культуртрегерскую роль «мыслящих» представителей правящих классов, в углублении его революционных и социалистических убеждений и, в частности, в пересмотре и уточнении вопросов об исторической роли народных масс. Б. П. Козьмин говорит даже *о переломе* в воззрениях Писарева в 1865 году [3]. Фактами, определившими перелом, Козьмин считает, с одной стороны, «Что делать?» Чернышевского, а с другой — подъем рабочего движения на Западе.

Оба обстоятельства, отмеченные Б. Козьминым, действительно оказали большое влияние на Писарева. Однако тезис Б. Козьмина *о переломе* в воззрениях Писарева в 1865 году, в результате которого программа «реализма» была заменена другой программой, представляется неубедительным и не находит подтверждения в материалах.

Начать с того, что о романе Чернышевского Писарев впервые написал не в 1865 году, а в сентябре *1863 года.* Мы имеем в виду статью «Мысли о русских романах», посвященную «Что делать?», которая была запрещена цензурой и не появилась в печати. Судя по секретному письму министру внутренних дел Валуеву, посланному петербургским генерал-губернатором Суворовым, можно думать, что статья Писарева развертывалась в том же плане, что и напечатанная в 1865 году статья «Новый тип» («Мыслящий пролетариат»).

---

[1] Современник, 1911, янв., с. 399.

[2] Голос минувшего, 1915, сент., с. 136.

[3] См.: Литература и марксизм, 1929, кн. VI, с. 40—41, а также: Красная новь, 1941, кн. III, с. 215.

Вот что писал Суворов: «...в прошлом месяце препровождена была мною в Правительствующий Сенат статья Писарева «Мысли о русских романах». Сенат дал мне знать, что в ней находятся обстоятельства, до дела о Писареве относящихся; но сочинение это содержит в себе по преимуществу разбор романа литератора Чернышевского «Что делать?» и, преисполненное похвал этому литературному произведению, с подробным развитием заключающихся в нем материалистических воззрений и социальных идей, по мнению Сената, в случае напечатания оного, может иметь вредное влияние на молодое поколение, проникнутое этими идеями.

Препроводим рукопись Писарева к коменданту С.-Петербургской крепости для передачи по принадлежности, долгом считаю о вышеизложенном отзыве Правительствующего Сената сообщить вашему превосходительству для соображения при рассмотрении цензурою статьи поименованного подсудимого под заглавием „Мысли о русских романах“»[1].

На основании резолюции Валуева статья была запрещена.

Ф. Кузнецов в заметке «Судьба пропавшей статьи Писарева» на основании некоторых дополнительных данных высказывает предположение, что «Мысли о русских романах», написанные в 1863 году, и «Новый тип», напечатанный в 1865 году в «Русском слове»,— это не две различные работы, а одна и та же статья, в крайнем случае — два варианта одной и той же статьи. В связи с этим, заключает автор, «нельзя не поставить под сомнение версию о том, что в 1863—1864 годах Писарев отказался от идей социализма и революции и лишь во второй половине 1865 года в статье «Новый тип» и других вернулся к ним»[2].

В моей работе «Писарев и литературно-общественное движение шестидесятых годов» решительно утверждалось, что Писарев и в 1863—1864 годах остался верен идеям революции и социализма. Предположение Ф. Кузнецова только подкрепляет мое мнение. Но это не снимает, однако, вопроса о противоречиях в его мировоззрении в этот период. Как бы то ни было, роман Чернышевского уже в конце 1863 года произвел на Писарева сильное впечатление.

---

[1] Рус. архив, 1897, № 2, с. 336.
[2] Новый мир, 1957, № 1, с. 304—305.

Далее Б. Козьмин считает главным признаком перелома в воззрениях Писарева признание исторической самодеятельности народных масс, которые могут обходиться без помощи «доброжелателей со стороны». Но эту идею Писарев проводил и в 1862 году в статье «Бедная русская мысль» и в 1863 году в «Очерках из истории труда» («Зарождение культуры»).

Значит ли это, что мы отрицаем всякие *изменения* во взглядах Писарева? Отнюдь нет. Этим мы хотим лишь подчеркнуть, что нельзя говорить о переломе в его умственном развитии. Факты свидетельствуют о колебаниях и противоречиях в социально-политических воззрениях Писарева, и нужно говорить о *тенденции* развития этих противоречий, об *эволюции* его мировоззрения. В этом смысле нам представляется правильным высказывание самого Писарева в статье «Посмотрим!» об *органичности* его развития.

Общее направление эволюции Писарева мы определили в начале главы. Большую роль, безусловно, сыграли здесь факторы, отмеченные Б. Козьминым.

С середины шестидесятых годов рабочий вопрос начинает все больше интересовать русскую журналистику. Это относится и к либерально-охранительным и к революционно-демократическим журналам, хотя, разумеется, характер освещения этой проблемы у них совершенно различен. Либеральные «Отечественные записки» интерпретировали проблему в свойственном им *реформистско-филантропическом* плане.

Особенно вырос интерес к рабочему движению в русской журналистике в связи с борьбой Лассаля против Шульце-Делича. «Русский вестник» выступал против социалистических стремлений пролетариата и защищал буржуазные принципы Шульце-Делича. Он провозглашал лозунг «экономической свободы». Полемизируя с Антоновичем, Писарев указал на *буржуазный* характер этого лозунга [1].

---

[1] В связи с утверждением Антоновича, «что истинный реализм требует во всем свободы и устранения всяких наказаний», Писарев пишет: «*Во всем свободы* — это неправда, потому что таким путем мы придем к принципу буржуазных экономистов: laissez faire, laissez passer, — к тому самому принципу, против которого неутомимо боролись все лучшие наши представители русского реализма (Н. Г. Чернышевский)» (III, 445). Знаменательно, что в своем отрицательном отношении к буржуазной политической экономии Писарев опирается на Чернышевского.

Писарев, безусловно, был знаком с выступлениями русской реакционной журналистики против социалистической пропаганды Лассаля, равно как он был знаком и с самими фактами подъема рабочего движения на Западе в середине шестидесятых годов.

В статье «Посмотрим!» содержится прямое указание на борьбу Лассаля против Шульце-Делича: «Шульце-Деличи и Фаухеры веруют в неприкосновенную святость лихоимства так же искренне или так же неискренне, как Шеллинги и Гегели веруют в свои абсолюты» (III, 443).

Эти слова свидетельствуют не только о том, что Писареву хорошо известна была борьба Лассаля против Шульце-Делича, но и о том, что его симпатии были целиком на стороне Лассаля. Внимание к рабочему вопросу отчетливо проявлялось в самом «Русском слове». Уже в 1863 году в «Домашней летописи» [1], которая, возможно, принадлежала Шелгунову, в осторожных выражениях, обусловленных подозрительным вниманием цензуры к «Русскому слову», разъяснялись принципы социалистической организации общества.

В апрельской и майской книжках «Русского слова» за 1865 год была напечатана статья Соколова «Экономические иллюзии». Соколов выступил против либерального филантропизма по отношению к рабочему классу и указал на ту революционную роль, которую призван сыграть пролетариат.

С августовской книжки «Русского слова» за 1865 год Соколов начал печатать большую работу «О капитале». Соколов с особенной резкостью обращал внимание читателя на эксплуататорскую сущность капиталистического производства. Он указывал на то, что материальные ценности мира созданы рабочими и принадлежат им по праву.

То, что Писарев с большим интересом и вниманием относился к работам Соколова, доказывают его слова в письме к Благосветлову, посланном осенью 1865 года, то есть тогда как раз, когда печатались упомянутые статьи Соколова. Писарев подчеркивает: «...что же касается до идей, то по всем вопросам Соколов не только постоянно идет вместе с нами, но даже часто идет впереди нас и прокладывает нам дорогу» [2]. Мысли Соко-

---

[1] Рус. слово, 1863, июль, с. 35—56.
[2] Рус. обозрение, 1893, март, с. 364.

лова о противоречиях буржуазной цивилизации, об антагонизме между рабочим классом и капиталистами, об эксплуататорской сущности частнособственнического строя, о роли пролетариата в создании всех ценностей мира не могли не привлекать внимания Писарева.

Наконец, для того чтобы понять *истоки интереса* Писарева к пролетарскому движению, нужно учесть публицистическую деятельность Н. В. Шелгунова.

Шелгунов был одним из основных сотрудников «Русского слова». Он вел в журнале «Внутреннее обозрение» («Домашняя летопись») и напечатал на его страницах целый ряд статей, посвященных актуальным социально-политическим проблемам («Убыточность незнания», «Прошедшее и будущее европейской цивилизации», «Три народности», «Женское безделье» и др.). Ярким выражением политических убеждений Шелгунова в начале шестидесятых годов является составленная им революционная прокламация «К молодому поколению». Еще в конце 1861 года Шелгунов первый в России обратил внимание русского читателя на работу Энгельса «Положение рабочего класса в Англии».

В статье «Рабочий пролетариат в Англии и во Франции», напечатанной в конце 1861 года в «Современнике» [1], он изложил подробно и с полным сочувствием содержание книги Энгельса. Книгу Энгельса Шелгунов рассматривал как правдивый и честный рассказ о пороках капитализма. Он подчеркнул полную несостоятельность филантропической политики капиталистов, в которой он усматривал попытку разрешения рабочего вопроса в интересах эксплуататоров. Он с иронией говорил о жалких паллиативах, к которым прибегают защитники капитализма. Корень социальных зол, разъедающих буржуазное общество и порождающих нищету и голод,— капиталистический способ присвоения, а не частные неполадки социального механизма.

Позднее, в других статьях, в частности в статье «Убыточность незнания» (1864), он возвращался к теме пролетариата, а в 1865 году он задумал целый цикл статей, посвященных вопросу о социализме и рабочем движении, под названием «Рабочие ассоциации». Из

[1] Современник, 1861, ноябрь, с. 205—270.

этого цикла он напечатал две статьи: первую — в февральской книжке «Русского слова»[1], вторую — в ноябрьской за тот же год[2]. В интересующем нас плане статья Шелгунова — явление в высшей степени характерное. Он прослеживал истоки пролетарского движения и обнаруживал их еще во времена французской революции. Уже в это время началось политическое пробуждение рабочего класса. Рабочий понял, заявляет Шелгунов, что он обойден и что его интересы противоположны интересам буржуа. Это сознание своих классовых интересов не могло не привести к столкновениям с буржуазией.

Шелгунов указывал, что разбуженный французской революцией, переживший ряд разочарований и поражений, рабочий класс сейчас интенсивно добивается освобождения труда от власти капитала.

Рабочее движение Шелгунов рассматривал как почву для возникновения социалистических теорий. Во второй статье он рассматривал главным образом концепции Фурье и Сен-Симона.

Решающая роль рабочего класса в историческом движении — вот что Шелгунов считает самым главным в учении Сен-Симона.

За эту статью Шелгунова «Русское слово» получило предостережение. Примечательно, что в тех же номерах «Русского слова», где публиковались статьи Шелгунова, Соколова и Писарева на темы о рабочем вопросе, печатался роман Эркмана и Шатриана «Воспоминания пролетария». Таким образом, публицистический и беллетристический отделы приобретали некое внутреннее тематическое единство.

Вопрос о рабочем классе сочетался у Шелгунова с постановкой вопроса о политической свободе, и в этом смысле он шел дальше утопических социалистов. Статью «Цивилизация Китая», сплошь построенную на иносказаниях, он заключил следующими словами: «По законченной организации внутреннего управления и общественной жизни Китай зовут страной цивилизованной; но истинной цивилизации в нем нет, потому что она возможна только там, где есть свобода. Где нет свободы — там Китай»[3].

---

[1] Рус. слово, 1865, февр., с. 1—30.
[2] Там же, ноябрь, с. 1—40.
[3] Шелгунов Н. В. Соч.: В 2-х т. СПб., 1891, т. 1, с. 210.

Широкая постановка Н. Шелгуновым проблемы пролетариата наряду со статьями Соколова не могла не оказать своего влияния на Писарева. С Шелгуновым Писарев познакомился зимой 1861 года, то есть как раз в тот период, когда Шелгунов дебютировал своей статьей о рабочем классе Англии и Франции. Личное общение между Писаревым и Шелгуновым было весьма непродолжительным: Писарев вскоре был арестован, а когда он вышел из крепости, Шелгунов находился в ссылке в Вологодской губернии. Но духовное общение между ними было самое тесное. Шелгунов считал себя последователем Писарева, а Писарев подчеркивал, что в лице Шелгунова он давно видит старого друга, собрата и единомышленника, с которым у него имеются общие духовные интересы. В этом смысле чрезвычайно характерно письмо Писарева Шелгунову в конце 1866 года:

«Виделись мы с вами, если я не ошибаюсь, счетом три раза, но я читал вас постоянно года три или четыре при такой обстановке, когда читается особенно хорошо и когда книга составляет единственный доступный источник наслаждения. Поэтому я вас хорошо знаю и давно люблю, как старого друга и драгоценного собрата...» [1].

Если учесть приведенные выше данные, станет ясным, что статьи Писарева, затрагивавшие вопрос о рабочем классе, не были явлением изолированным и случайным. Основные статьи Писарева 1865 года отличаются своим внутренним единством.

Прежде всего нужно отметить, что проблемы *социального* развития начинают у него все сильнее превалировать над проблемами индивидуальной нравственности. Наиболее рельефно новые черты в социально-политических его воззрениях выражены в статьях 1865 года «Школа и жизнь», «Исторические идеи Огюста Конта» и «Мыслящий пролетариат» («Новый тип»).

Не вдаваясь в рассмотрение специально педагогической программы, развитой Писаревым в статье «Школа и жизнь», отметим только, что Писарев утверждает возможность коренных школьных реформ лишь в результате радикальных *общественных преобразований.* Намечая, в самом, разумеется, общем виде, пути «раз-

---

[1] См.: Шелгунов Н. В. Соч.: В 2-х т., т. 2, с. 734—735.

вития народных сил», Писарев вместе с Шелгуновым и Соколовым со всей остротой поставил вопрос о пролетариате, о его роли в исторических преобразованиях, о рабочих ассоциациях[1] и о необходимости просвещения народных масс и сближения интеллигенции с «работниками».

Он утверждает, что «в настоящее время вся историческая будущность Западной Европы зависит от того, каким образом разрешится рабочий вопрос, то есть каким образом упрочится и обеспечится материальное существование рабочих населений»[2]. Писарев с особой силой указывает на то обстоятельство, что рабочий вопрос «разрешится не какими-нибудь посторонними благодетелями и покровителями, а только самими работниками, когда к их рабочей силе, практической сметливости и трудолюбию присоединятся ясное понимание междучеловеческих отношений и уменье возвышаться от единичных наблюдений до общих выводов и широких умозаключений»[3]. Чрезвычайно важно отметить, что рабочий вопрос не был для Писарева только проблемой западноевропейской жизни. Он подчеркивает, что в России предстоит решить эту историческую задачу. Он, правда, указывает на то, что благодаря младенческому состоянию русской промышленности рабочий вопрос находится в России в зародыше и, вероятно, долго еще не примет в русской жизни тех колоссальных и грозных размеров, которые он принял в Западной Европе. «...Но,— замечает он,— с нашей стороны было бы очень неосновательно думать, что эта чаша пройдет мимо нас и что наша общественная жизнь в своем дальнейшем развитии никогда не наткнется на эту мудреную задачу»[4].

Дальнейшее развитие мыслей о том, что освобождение «работников» будет делом рук их самих, мы находим в большой работе «Исторические идеи Огюста Конта». На основании этой работы некоторые исследователи утверждали, что Писарев эволюционировал

---

[1] О рабочих ассоциациях Писарев писал: «Век машин требует непременно добровольных ассоциаций между работниками, а такие разумные ассоциации возможны только тогда, когда работники находятся уже на довольно высокой ступени умственного развития» (III, 120).

[2] Писарев Д. И. Полн. собр. соч.: В 6-ти т., т. 4, с. 587.

[3] Там же.

[4] Там же.

к *позитивизму*. Это утверждение представляется несостоятельным. С какими идеями Конта Писарев согласен? Он приемлет контовский тезис о том, что движущим фактором общественного развития являются принципы *объяснения* мира. Он согласен с учением Конта о теологической, метафизической и позитивной стадиях человеческого развития и о том, что всемирная история есть история борьбы рассудка с воображением. Однако нетрудно заметить, что эти взгляды Конта Писарев приемлет потому, что они соответствуют *его собственным воззрениям,* которые он высказывал ранее неоднократно. Писарев согласен с общими положениями исторического *идеализма.*

Необходимо, однако, отметить, что Писарев часто к общей историко-идеалистической концепции Конта делает такие поправки, которые содержат принципиальное отрицание позитивистского миропонимания.

Так, контовское понимание движущих сил истории Писарев, по существу, оспаривал. Он подвергает сомнению главный тезис Конта об умственном совершенствовании как определяющем движущем принципе исторического развития: «Что идет впереди, материальное или умственное совершенствование, решить довольно трудно; но можно сказать наверное, что значительные успехи в общем миросозерцании совершенно невозможны там, где физические условия не допускают никаких существенных улучшений материального быта» [1]. Писарев отвергал контовскую концепцию развития нравственности. Он писал: «...ошибка его заключалась именно в том, что он принимал нравственность за отдельную область, в которой могут совершаться самостоятельные изменения и которая посредством этих изменений может действовать на другие области и на всю совокупность человеческого существования и развития» [2]. Писареву было неясно, что Конт перестал бы быть самим собой, если бы он *иначе* взглянул на эволюцию морали. Имманентное саморазвитие морали — непреложный закон исторического идеализма, и то, что этот закон оспаривался Писаревым, доказывает лишь, что контовское идеалистическое объяснение истории Писарева удовлетворить не могло. Если суммировать возражения Писарева Конту, нельзя будет не признать,

---

[1] Писарев Д. И. Полн. собр. соч.: В 6-ти т., т. 4, с. 343.
[2] Там же, с. 399.

что они выражают собою *попытки* преодолеть позитивистский идеализм на путях *материализма*. Это были, подчеркиваем, только *попытки*, зачастую неуверенные и непоследовательные (вспомним апелляции к естествознанию и т. д.), но характер и направленность этих историко-материалистических попыток не подлежат сомнению.

Это станет особенно ясным, когда мы обратимся к социальной концепции позитивизма. Социальную программу Конта Писарев резко и полностью отвергал. Он прямо говорил, что социальная задача для Конта неразрешима. Он считал совершенно ложной в своих основаниях попытку Конта сконструировать умозрительным путем некую идеальную схему общественного строя, навязать нации готовую программу общественного развития, не сообразжаясь с внутренним и естественным движением народа. Несостоятельность и ошибочность конкретных политических убеждений Конта Писарев видел в его пристрастии к католицизму и абсолютизму, которым Конт презрительно противопоставляет «протестантскую метафизику», то есть демократические движения масс.

Писарев доказывал, что попытка Конта ввести нравственность в политику на практике означает разоружение масс в их борьбе против гнета и эксплуатации. Подлинную нравственность в политике Писарев видел в возбуждении социального протеста и в организации отпора тирании и произволу. Перемещение центра тяжести в писаревском мировоззрении, о котором мы говорили выше, с исчерпывающей убедительностью подтверждается *новым* толкованием, которое Писарев дает теории разумного эгоизма.

Если раньше разумный эгоизм был синонимом умственной эмансипации *интеллигенции*, то теперь он становится синонимом *социально-экономического* освобождения *народных масс*. Контовской идее католического милосердия Писарев противопоставляет идею исторической самодеятельности трудящихся масс, преобразующих жизнь на новых началах:

«...Для решения задачи о голодных людях необходимо соблюдение двух условий. Во-первых, задачу эту должны решить непременно те люди, которые в ее разумном решении находят свои личные выгоды, то есть ее должны решать... сами работники... Во-вторых, решение задачи заключается не в возделывании личных до-

бродетелей, а в перестройке общественных учреждений»[1].

Идеи, которые развивали Писарев, Соколов, Шелгунов, не были и не могли быть следствием контизма. Положение Писарева о роли самих «работников» в социальном преобразовании мира возникло в полемике с Контом. Оно явилось дальнейшим логическим развитием взглядов Чернышевского. Мера приближения к Чернышевскому была для Писарева мерой революционной и социалистической последовательности. Писаревская статья о романе «Что делать?» свидетельствует об этом с исчерпывающей убедительностью. Это скорее не критическая статья, а своеобразная политическая декларация, манифест «новых людей». «Что делать?» для Писарева — не просто литературное произведение. Он говорит о нем как о *знамени* революционной демократии и считает себя, во-первых, обязанным защитить это знамя от всех посягательств, откуда бы они ни исходили; во-вторых, он стремится выяснить, какие лозунги на этом знамени написаны. Отвечая тем, кто обвинял роман в «разрушительных тенденциях», Писарев указывал, что эти обвинители из либерально-крепостнического лагеря по-своему правы: «...роман глумится над их эстетикой, разрушает их нравственность, показывает лживость их целомудрия, не скрывает своего презрения к своим судьям» (IV, 8).

Сочувствие «высшим теоретическим комбинациям», которые рутинеры назвали «бессмысленным словом „утопия“», указание на эксплуататорскую сущность капиталистического производства и на паразитизм господствующих классов, подчеркивание значения промышленных ассоциаций, слова о том, что в современном обществе «труду нет простора, труд плохо оплачивается, труд порабощается, и от этих причин происходит все существующее зло» (IV, 14), — подтверждают, что Писарев в романе видел программу социализма и этой программе сочувствовал в полной мере.

Герои Чернышевского, по мнению Писарева, «стремятся к тому времени и к тому порядку вещей, при которых можно было бы любить всех людей и доверчиво протягивать руку каждому» (IV, 12). Что это будущее устройство мыслилось Писареву как социалистическое общество, доказывается тем, наконец, обстоятельством,

---

[1] Писарев Д. И. Полн. собр. соч.: В 6-ти т., т. 5, с. 398.

что он в статье говорит о Роберте Оуэне и Шарле Фурье как об «истинных друзьях человечества» (IV, 27).

В силу понятных причин Писарев не мог ясно выразить в статье своего отношения к революции. Но весь контекст статьи свидетельствует о том, что и эту часть программы Чернышевского он приемлет полностью. «Новые люди», изображенные Чернышевским,— это революционеры. Писарев говорит о них: «Доля их кажется большинству незавидной, но они не могли бы по натуре своей переменить ее. Из них вышли люди, которым досталась слава геройских страданий...» (IV, 7—8). Среди «новых людей» в романе Писарев видит два типа персонажей. Один из них — «обыкновенные люди»: Вера Павловна, Лопухов, Кирсанов. Второй тип представлен Рахметовым. В Рахметове Писарев раскрывал черты революционного вождя. На то, что именно так он понимал Рахметова, Писарев указал еще Антоновичу в статье «Посмотрим!». Но признать это — значило бы для некоторых исследователей шестидесятых годов отказаться от традиционного взгляда на писаревскую эволюцию. Видимо, под влиянием этих соображений появляются совершенно необоснованные утверждения, наподобие тех, какие мы читаем в комментариях к XI тому Полного собрания сочинений Н. Г. Чернышевского: «...революционная суть проповеди Чернышевского осталась Писаревым невоспринятой... Революционного значения образа Рахметова Писарев не понял»[1]. Это заключение делается на том основании, что Писарев не усмотрел разницы между Базаровым и Рахметовым. Между тем, даже учитывая неизбежные в условиях «карательной цензуры» недомолвки, можно без труда увидеть, что революционную суть образа Рахметова Писарев полностью оценил.

Характеризуя Рахметова, он доказывал, что революционные вспышки были *до сих пор* кратковременны и обманывали ожидание масс, но только в революционные периоды массы способны сделать что-нибудь «хорошее и умное». Колоссальные силы Рахметовых развертываются во всю ширь в периоды революционных бурь и потрясений, и для закрепления результатов революции именно Рахметовы и нужны. К отдельным чертам

---

[1] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15-ти т., т. 11, с. 709, 710. (Комментарии А. П. Скафтымова.)

в образе Рахметова Писарев относился отрицательно. Ему претил аскетизм героя Чернышевского, его своеобразная физическая тренировка. Писарев подчеркивал, что не физическая стойкость, а нравственная сопротивляемость — характеристическая черта революционера. Если бы Рахметов увидел, что не может перенести физические муки, указывает Писарев, «...разве он переменил бы что-нибудь в своем образе жизни и в своей деятельности? Разумеется, нет. Скорее умер бы, чем переменил. Стало быть, какая ж это проба?» (IV, 48). Аскетизм он не считал обязательным свойством революционеров. С полным основанием он мог заявить: «...мы вполне понимаем, что за человек Рахметов...» (IV, 48). Этому нисколько не противоречит сближение Рахметова с Базаровым. Дело все в том, что в самом Базарове Писарев видел революционное начало. По его мнению, общественный индифферентизм у людей базаровского типа — вынужденный. «А Базаровым, — писал он еще в 1862 году,— все-таки плохо жить на свете, хоть они припевают и посвистывают. Нет деятельности, нет любви,— стало быть, нет и наслаждения» (II, 50). Революционно-*критическая* деятельность Базарова в области мысли находила свое естественное продолжение в революционно-*практической* деятельности Рахметова. Образ Рахметова возбуждал в душе Писарева надежды на совершенно реальные революционные перспективы. Он верил в проницательность Чернышевского и в его знание действительности.

«...Чернышевский,— пишет он,— видел... много таких явлений, которые очень вразумительно говорят о существовании нового типа и о деятельности особенных людей, подобных Рахметову... А если эти явления действительно существуют, то, может быть, светлое будущее совсем не так неизмеримо далеко от нас, как мы привыкли думать. Где появляются Рахметовы, там они разливают вокруг себя светлые идеи и пробуждают живые надежды» (IV, 49).

Годы 1863—1865 были временем, когда колебания и ошибки Писарева выражались в наибольшей степени. Но и в это время он не изменял своим революционным убеждениям. И в высокой мере знаменательно, что «светлые идеи» и «живые надежды» на социальное освобождение своей родины Писарев черпал из произведений вождя русской демократии шестидесятых годов Николая Гавриловича Чернышевского.

Последний период ознаменовался целым рядом серьезных сдвигов и изменений в жизни и деятельности Писарева. В плане личном — это были новые условия: выход из крепости и близость к Марко Вовчок. В плане литературно-общественном мы имеем в виду разрыв с Благосветловым и переход в «Отечественные записки» Некрасова.

Разрыву с Благосветловым нельзя придавать узкобиографическое значение: он имеет социально-идеологический смысл. Начало этого разрыва относится еще к 1865 году. Непосредственным поводом к конфликту были эксплуататорские замашки Благосветлова [1].

Цинизм издателя «Русского слова» был поразителен: он платил Писареву ничтожный гонорар, мотивируя тем, что-де тот сидит в тюрьме и все равно расходы у него невелики.

После запрещения «Русского слова» Писарев участвовал в сборнике «Луч» и в журнале «Дело», предпринятых Благосветловым, и поддерживал с ним отношения до весны 1867 года. Но достаточно было малейшего внешнего повода, чтобы между ними вспыхнул конфликт, который на этот раз уже окончательно и бесповоротно привел к разрыву.

Суть конфликта заключалась в следующем. В объявлении о выходе журнала «Дело» Благосветлов, в числе других сотрудников журнала, указал фамилию Марко Вовчок. М. А. Маркович потребовала объяснения, на каком основании выставлено ее имя без ее согласия. Благосветлов ответил М. А. Маркович специальным письмом от 25 мая 1867 года. Письмо это написано в тонах грубоватых и даже оскорбительных:

«Милостивая государыня Марья Александровна,

Вам, конечно, известна неофициальная сторона журнала «Дело» и его солидарность с «Рус. словом». Если вы участвовали в «Рус. слове» и не возражали мне, когда ставилось в нем ваше имя,— о чем я также считал лишним предупреждать вас,— то я никогда не понял бы, что можно оскорбить вас в настоящем объявлении «Дела».

---

[1] Подробней об этом см. статью Б. П. Козьмина «Г. Е. Благосветлов и „Русское слово“» — Современник, 1922, кн. I, с. 192—250.

Что же касается ваших отношений к «Рус. слову», то я позволю себе напомнить вам историю их. В 1861 году ваш супруг предложил напечатать в этом журнале ваши две повести, и они были напечатаны. В 1862 году, незадолго до запрещения «Рус. слова», Тургенев сообщил мне ваш адрес за границей и рекомендовал завести с вами постоянные сношения по журналу. В 1864 году г. Пассек просил меня напечатать ваш рассказ из быта духовенства, который, кажется, и до сих пор хранится у меня, запрещенный духовной цензурой. Наконец, у меня есть ваше собственное письмо, в котором вы предлагаете участвовать в «Рус. слове». На основании всех этих фактов я, кажется, мог безобидно для вас поставить ваше имя между такими лицами, которых вы не увидите ни в «Голосе», ни в «Рус. вестнике». И если вы недовольны моим поступком в «Деле», то ради некоторой последовательности вам следовало бы протестовать против моего произвола и в «Р. слове». Понятно, что я введен был в заблуждение пятью годами ваших хороших отношений к журналу, который, повторяю, идет одним путем и почти при одних сотрудниках.

Таким образом, дело сводится к обвинению меня за несоблюдение одной внешней вежливости, а именно — почему я не приехал к вам или не написал вам. Извините меня; у меня слишком много черной работы, чтобы надевать фрак и перчатки. Притом не я составлял и объявление, а Шульгин.

По мне достаточно трех имен из всех, выставленных им, чтобы определить характер и нравственное достоинство журнала. Во всяком случае, чтобы не беспокоить вас на будущее время, я могу поручиться, что ваше имя больше не украсит объявлений «Дела». Только 500 экземляров его выпущено; в остальных вашего имени больше не будет; в этом вы можете удостовериться фактически» [1].

Когда Писареву стало известно об этом письме, он потребовал от Благосветлова, чтобы тот извинился перед Маркович. Благосветлов отказался, и Писарев окончательно порвал с ним.

---

[1] Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР. № 9535. LVIб. 54.

Последняя попытка примириться с Писаревым при посредстве своего помощника по журналу «Дело» была предпринята Благосветловым в конце 1867 года. Университетский товарищ Писарева Н. Кутейников писал 14 декабря 1867 года: «Многоуважаемый Дмитрий Иванович! Вчера у Пятковского Шульгин, заговорив со мною о желании Благ—ва сблизиться опять с вами, просил передать вам об этом как будто бы от его, Шульгина, имени... Шульгин говорил о вспыльчивости Бл—ва, о возможности извинения в первоначальной причине размолвки, о выгоде для вас теперь работать в «Деле» и т. п.» [1].

Судя по переписке, Шульгин даже лично видался с Писаревым. Однако из этой попытки примирить Писарева с Благосветловым ничего не вышло.

Благосветлов указывал на мелочность тех поводов, которыми руководствовался Писарев. Писарев выставляет в качестве главной причины разрыва личные мотивы: бесцеремонное обращение с именем Марко Вовчок, третирование главных сотрудников журнала как наемных поденщиков. То, что Благосветлову эти черты были свойственны, не подлежит сомнению.

Бесцеремонное и грубое игнорирование Благосветловым прав сотрудников журнала, которое в данном случае коснулось человека, близкого и дорогого Писареву, сыграл, бесспорно, свою роль в окончательном разрыве с издателем «Русского слова».

Однако это была не единственная и, может быть, даже не главная причина конфликта. Важные указания на этот счет содержатся в воспоминаниях Шелгунова:

«Сделавшись богатым хозяином, Благосветлов... начал обнаруживать двойственность, которая раньше, когда он был беднее, была или слабее, или менее заметна. Его царапали статьи, в которых говорилось против эксплуатации и в защиту труженика, рабочего и мужика. Мужика он вообще недолюбливал. В подобных статьях он точно читал упрек себе, а может быть, ему казалось, что автор и прямо думал или говорил о нем. Статьи он принимал и печатал, но, кажется, был бы довольнее, если бы подобных статей ему не доставляли» [2].

---

[1] Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР. № 9540. LVIб. 58.

[2] Шелгунов Н. В. Соч.: В 2-х т., т. 2, с. 787.

Но в работах главных сотрудников «Русского слова» как раз к 1865 году *усилились* те тенденции, которые Благосветлову все меньше и меньше нравились. Естественно, что это не могло привести к установлению взаимопонимания между Писаревым и Благосветловым. Характер и направление, которые придал «Делу» после запрещения «Русского слова» Благосветлов, точно так же не могли возбудить сочувствия в Писареве.

«Обстоятельства так круты,— писал Благосветлов Шелгунову,— что надо волей-неволей сообразоваться с ними... рекомендую вам, ради сохранения честной мысли, полнейшую осторожность. Теперь все выдается за социализм» [1]. Новое направление «Дела» не было обусловлено только цензурными гонениями. Благосветлов склонялся к убеждению, что передовая журналистика переоценивала социально-политическую зрелость общества и что нужно приспосабливаться к его действительным настроениям. «Оптимизм завел нас слишком далеко, надо мерить наше общество его собственным аршином; это великий и глупый bambino, которому еще не под силу светлые и честные идеи. Bambino требует репы и чесноку, а ему подносят разные тропические пряности» [2]. Благосветлова все больше привлекала политическая умеренность. Идейные пути Писарева и Благосветлова все явственней расходились. Недаром Писарев в чрезвычайно знаменательном письме к Шелгунову от 10 февраля 1868 года писал:

«Я не считаю его за дурного и низкого человека, но я не вижу никакого основания превращать его в воплощение идеи и думать, что, помимо Благосветлова, нет множества других, гораздо более удобных средств действовать на читающее общество» [3]. Благосветлов перестал быть для Писарева «воплощением идеи» — в этом все дело. А при таких обстоятельствах любая размолвка могла привести к разрыву. Так оно и вышло.

Порвав с Благосветловым, Писарев перешел в «Отечественные записки» Некрасова. Еще в 1862 году, когда «Русское слово» было запрещено, Писарев подчеркивал, что он считает для себя возможным работать либо в «Русском слове», либо в «Современнике». И совершенно естественным поэтому было после разрыва с

---

[1] Благосветлов Г. Е. Соч. СПб., 1882, с. X—XI.
[2] Там же, с. X.
[3] Шестидесятые годы, с. 237.

Благосветловым сближение Писарева с руководителем «Современника» Некрасовым.

После закрытия «Современника» Некрасов задумал издание сборника, в который вошли бы материалы, оставшиеся в редакционном портфеле. Некрасов пригласил участвовать в этом сборнике и Писарева. Судя по письму Писарева к матери от 3 июля 1867 года, их встреча произошла в начале июля. По всей видимости, Некрасов мыслил наметившееся сближение с Писаревым не как кратковременное и продиктованное соображениями журнальной конъюнктуры, а как длительное и прочное сотрудничество. С этой точки зрения понятен и «программный» характер их первой беседы. Сборник остался неосуществленным, но Некрасов в эту уже пору вынашивал планы издания нового журнала. Этим будущим журналом были «Отечественные записки». 8 декабря 1867 года между А. Краевским и Н. А. Некрасовым был заключен договор о передаче фактического руководства журналом Некрасову.

С 1868 года начинается новый период в развитии «Отечественных записок». То, что до этого «Отечественные записки» были органом либеральной благонамеренности, разумеется, никого не могло ввести в заблуждение. Издание реформированных «Отечественных записок» воспринималось как воскрешение «Современника» времен Чернышевского.

Сближение с кругом «Современника» и, в частности, с Некрасовым было результатом предшествующих сдвигов в деятельности Писарева, и, в свою очередь, сближение закрепляло эти изменения и делало их более прочными. Идеи революции и социализма, признание определяющей роли народных масс в революционном переустройстве мира — вот на какой почве могло произойти и произошло сближение Писарева с Некрасовым и кругом «Современника». С этой точки зрения показательны работы, написанные Писаревым в последний период, после выхода из крепости. Здесь прежде всего следует выделить статью «Генрих Гейне» (1867), имеющую большое значение для характеристики идейной эволюции Писарева.

Революционная окраска статьи неоспорима. Отдавая должное великому поэту, Писарев критиковал Гейне за политический дилетантизм, за чисто эстетский подход к революции и социализму. Он с сочувствием говорил о революционных вождях народных масс и называл

их «титанами любви». Он протестовал против рабской покорности и приветствовал революционную самоотверженность масс.

На примере монархической Франции XVIII века он говорил о гибельных последствиях для народа «дурных правительств». Нищета, голод и вырождение — вот что ждет страну даже с деятельным и даровитым народом, в которой утвердится реакционная и деспотическая государственная власть. Читатель понимал, что речь шла не только о Франции, но и о самодержавной России.

Писарев ставил в статье вопрос о моральном обосновании и оправдании революционного насилия. В решении этого вопроса отчетливо видно, как просветительский идеализм боролся в нем с материалистическим пониманием революции как *закона* общественного развития. В рассуждениях на тему об оправданности революционного насилия, изъятых цензурой из последующих изданий и сохранившихся только в прижизненном собрании сочинений, Писарев относился с «почтительным сочувствием» к революционному перевороту. Но революция для него не столько *закон* исторического развития, сколько печальная необходимость, с которой можно мириться лишь ввиду тех благодетельных последствий, которые она несет с собой. Те же мысли он развивал в статье «Борьба за жизнь», написанной в 1867 году. Статья была посвящена роману Достоевского «Преступление и наказание». Писарев опровергал теорию Раскольникова об идентичности понятий «преступник» и «необыкновенный человек». Для Раскольникова каждый великий человек является преступником, ибо он нарушает существующие нормы нравственности и, открывая новые пути, неизбежно жертвует этому новому человеческими жизнями. Писарев опровергал эту теорию. Но в характере опровержения сказывались колебания между просветительским идеализмом и признанием исторической закономерности классовой борьбы и революционного насилия. Отвергая мнение Раскольникова, будто ординарнейший преступник и любой великий человек с точки зрения принципиальной являются одним и тем же, ибо оба они «кровопроливцы», Писарев защищал великих людей и доказывал, что если они (разумея здесь революционных вождей) и участвуют в кровопролитии, то происходит это не по их вине. Причиной кровопролития являются защитники реакции, «поборники невежества, застоя и бесправия» (IV, 347).

Великие же люди, по мнению Писарева, всегда стараются предотвратить кровопролитие. Революционные перевороты и революционное насилие, доказывает он, находят свое *моральное* оправдание не в индивидуальной воле, а в исторической необходимости, в объективной логике *борьбы* классов. «Что кровопролитие бывает иногда неизбежно и ведет за собою самые благодетельные последствия,— говорит Писарев,— это известно всякому человеку, умеющему понимать причинную связь исторических событий» (IV, 346). Писарев разъяснял далее, что неизбежность кровопролития обусловливается совсем не злой волей, аморализмом «необыкновенных людей», а историческим конфликтом между партиями, классами или, если речь идет о войне, нациями.

«...Самые умные и самые честные люди данного общества» обязаны «предупредить... кровопролитие» и «произвести как можно спокойнее ту перемену, которой требуют обстоятельства...» (IV, 346). Но, убедившись в невозможности мирного исхода и в неминуемости открытой борьбы, они должны из роли благоразумных советников перейти к роли воинов и полководцев и довести революционный конфликт, в том случае, если он оказался неизбежным, до своего полного и окончательного, бескомпромиссного разрешения [1]. При всех отступлениях к просветительскому идеализму моральное и историческое оправдание революции в этих рассуждениях выражено с полной ясностью.

Если мы вспомним, что обе статьи — «Генрих Гейне» и «Борьба за жизнь» — были написаны в 1867 году, когда вопрос о революционном «кровопролитии» превратился из чисто теоретической проблемы в вопрос практической действительности и когда в связи с этим усилился полицейский террор,— писаревская постановка вопроса должна быть признана весьма смелой и свидетельствующей об углублении его революционного миросозерцания.

---

[1] Нельзя не отметить, что в вопросе о роли «самых умных» и «самых честных» людей в предупреждении кровопролития Писарев перекликался с программой «Земли и воли». В листовке «Свобода» сказано было, что привлечение на сторону народа «образованных классов» может «предотвратить или по крайней мере ослабить то кровопролитие, которое правительство вызовет своим дальнейшим существованием» (см.: Козьмин Б. П. Русская секция Первого Интернационала, с. 36).

Вопрос о революции Писарев ставил не только в плане ее морального оправдания. В той же статье «Генрих Гейне» он утверждал, что революция имеет исторический смысл только в том случае, если она не ограничивается одним лишь политическим переворотом, в результате которого на смену одному правительству приходит другое, а когда она приносит с собой социально-экономическое преобразование всего общественного строя. Так, французская революция, бесспорно, сыграла прочную прогрессивную роль, однако прямым ее результатом был либерализм. Если вспомнить, что в «Исторических эскизах» Писарев очень четко определил либералов как защитников буржуазии, то эта мысль Писарева расшифровывается так, что плодами победы в революции воспользовалась буржуазия. «На развалинах старого феодализма утвердилась новая плутократия, и бароны финансового мира, банкиры, негоцианты, коммерсанты, фабриканты и всякие *надуванты* вовсе не были расположены делиться с народом выгодами своего положения» (IV, 217).

Выход из этого противоречия мыслится Писаревым на путях *социализма*. Он выступает против частной собственности. Он считает, что перестройка «здания междучеловеческих отношений» приведет к изменению «римского определения собственности». Трагические противоречия Гейне вытекают из того, что он не усвоил «великой идеи, заключающей в себе спасение человечества» (IV, 230), — идеи социализма. Он резко критикует Гейне за его скептическое отношение к социалистам, которых тот именовал «новыми пуританами». «Новые пуритане» не отрицают индивидуальных биологических различий. «Смысл того стремления, которое Гейне называет *пепельно-серым костюмом,* состоит только в том, что тысячи не должны ходить босиком и питаться отрубями для того, чтобы единицы смотрели на хорошие картины, слушали хорошую музыку и декламировали хорошие стихи. Кто находит подобное стремление предосудительным, тот желает, чтобы хлеб, необходимый для пропитания голодных людей, превращался ежегодно в изящные предметы, доставляющие немногим избранным и посвященным тонкие и высокие наслаждения. Здесь Гейне стоит, очевидно, на стороне эксплуататоров и филистеров, но он не всегда рассуждает таким образом» (IV, 234).

Так обогащаются и углубляются представления Писарева о революции и социализме.

Для выяснения социально-политических взглядов Писарева в последний период его деятельности исключительно ценный материал дает статья, напечатанная в 1868 году, уже в «Отечественных записках»,— «Французский крестьянин в 1789 году». Писарев в новом журнале не мог не чувствовать себя в известной мере скованным. Он попал в новую среду, он хотел освоиться с новой обстановкой, прежде чем выступить с принципиальными работами. Он даже согласен был на то, чтобы его статьи печатали пока без его подписи [1]. Несмотря на это, статья, посвященная роману Эркмана и Шатриана «История одного крестьянина в 1789 году», имеет программное значение. Роман этот заинтересовал Писарева тем, что в нем предпринята попытка вскрыть социально-бытовые и психологические побуждения революционных действий масс.

Значение романа Писарев видит в том, что здесь поставлена проблема большой социально-психологической важности. «...Как и почему заморенный и невежественный народ сумел и смог подняться на ноги и обновиться радикальным уничтожением всего средневекового беззакония,— это, конечно, одна из интереснейших и важнейших задач новой истории» (IV, 406).

Статья Писарева замечательна не только тем, что он с симпатией говорит о французской революции, но и тем, что он подчеркивает *решающую* роль борьбы народных масс в историческом развитии человечества. «Великий глас народа» он называет «гласом божиим», потому что он «определяет своим громко произнесенным приговором течение исторических событий» (IV, 400). Эркмана и Шатриана он высоко ценит потому, что они «развивают в своих читателях способность уважать народ, надеяться на него, вдумываться в его интересы, смотреть на совершающиеся события с точки зрения этих интересов, называть злом все то, что усыпляет, а добром все то, что будит народное самосознание» (IV, 402).

Писарев подчеркивает, что народное благо — единственный критерий исторического прогресса.

---

[1] См. письмо Писарева к М. Вовчок от 5 декабря 1867 года.— В кн.: Шестидесятые годы, с. 160.

Для того чтобы масса могла играть ту великую роль, которая ей по праву принадлежит, к ее стихийному протесту должна присоединиться широкая и ясная политическая сознательность — таков вывод, к которому приходит Писарев.

Статья «Французский крестьянин в 1789 году» — последняя напечатанная работа Писарева. Если она и не подводила итогов, то по крайней мере показывала, в каком направлении совершалась эволюция Писарева — революционера и демократа.

Глава третья
ЭСТЕТИКА И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

1

Одной из особенностей русской общественной мысли было то, что политические и философские учения переплетались в России самым тесным образом с эстетическими теориями, с вопросами литературы и искусства. Философ, политик и экономист, Чернышевский был одновременно теоретиком искусства и литературным критиком. Мы не говорим уже о Белинском и Добролюбове, для которых литература была преобладающей сферой деятельности. Синтетический характер присущ и работе Писарева. У него мы видим философские трактаты, политическую публицистику, естественнонаучные этюды. Одно из самых значительных мест занимают у него и статьи, посвященные искусству и литературе.

Эстетические воззрения Писарева вызвали наиболее резкие нападки со стороны либеральной и реакционной критики. Буржуазные историки литературы создали тенденциозный образ фанатика «нигилистической» доктрины разрушения искусства. Вульгарные социологи всячески акцентировали «разрушительные» элементы концепции Писарева и объявляли именно эти элементы наиболее близкими марксизму.

Эстетика Писарева сложна и противоречива. В шестидесятых годах можно установить два главных направления эстетической мысли — материалистическое и идеалистическое. Идеалистическую теорию «чистого искусства» отстаивали Дружинин, Анненков, Лонгинов,

Николай Соловьев, Эдельсон, Дудышкин, Зарин, Страхов.

Теория «чистого искусства» как законченная концепция зародилась не на русской почве. Она возникла в Германии. Теоретическое обоснование концепции «чистого искусства» было дано в эстетике Канта, Шеллинга, Гегеля.

Суть ее может быть сведена к некоторым основным положениям. Теория незаинтересованности эстетического вкуса, учение о прекрасном как целесообразности без цели, представление о том, что искусство является формой мистического прозрения и имеет особый объект, особое содержание — абсолютную красоту, причем прекрасное в искусстве выше, чем прекрасное в жизни,— таковы краеугольные камни этой теории.

У Канта в «Критике способности суждения» мы читаем: «Каждый должен согласиться, что то суждение о красоте, к которому примешивается малейший интерес, очень партийно и отнюдь не есть чистое суждение вкуса. Надо поэтому не быть заинтересованным в существовании вещи и в этом отношении быть совершенно равнодушным, чтобы быть судьею в делах вкуса» [1].

Шлегель эту же мысль высказывает в такой форме: «Чтобы хорошо написать о каком-либо предмете, следует перестать им интересоваться» [2].

А Вакенродер утверждал: «Художественные творения столь же мало по роду своему входят в обыденное течение жизни, как помыслы о боге; они выходят за пределы всего обыкновенного и привычного,— и мы должны устремляться к ним со всей полнотой нашего сердца, чтобы уловить нашими взорами, слишком часто омраченными туманом земным, то, чем они, согласно высшей своей природе, действительно являются» [3].

Учение о незаинтересованности эстетического вкуса — основа теории «искусство для искусства». Оно гласит, что если человек относится к какому-либо явлению жизни с точки зрения его полезности и практической пригодности или с точки зрения нравственной оценки, то это отношение лишено эстетического элемента.

Для того чтобы какое-либо явление носило эстетический характер, оно должно быть выключено из сферы

---

[1] Кант И. Критика способности суждения. СПб., 1898, с. 44.

[2] Литературная теория немецкого романтизма. Л.; Изд-во писателей в Ленинграде, 1934, с. 179.

[3] Там же, с. 150.

жизненных явлений, и тогда только оно станет явлением искусства.

«*Красота,*— писал Кант,— это форма *целесообразности* предмета, поскольку она воспринимается в нем без *представления цели*» [1].

Самый процесс творчества есть акт мистического постижения сущности бытия. «...Искусство,— писал Шеллинг,— нужно считать единственным и от века существующим откровением, какое только может быть; искусство есть чудо, которое, даже однажды свершившись, должно было бы уверить нас в абсолютной реальности высшего бытия» [2].

Какова была судьба этой эстетической концепции в России?

Известно, что влияние эстетического идеализма испытывал на себе и Белинский, но это влияние он преодолел сравнительно быстро. Подлинными же последователями эстетического идеализма явились не революционные демократы, а консервативные течения в литературе.

В 1836 году в своей работе «Теория поэзии...» Шевырев ревностно пропагандировал эстетическую теорию немецкого идеализма. Он писал: «...в числе трех идей, врожденных духу человеческому, следуя Платону, Шеллинг признал и красоту, наравне с истиною и благом, и показал их единство и сродство между собою; самое искусство определил свободным творением духа человеческого, в котором проявляется часть божественной творческой силы; творческую силу поставил в соединении бессознательного божественного вдохновения с сознанием художника; красоту заключил в гармонии бесконечного с конечным (идеи с формою); произведению искусства дал совершенное превосходство над произведением природы и, наконец, освободил его от всякой внешней цели, от всякой посторонней зависимости, утвердив цель искусства в нем самом...» [3]

Как это видно, Шевырев не только излагает основные положения эстетического идеализма, но и целиком приемлет их. В сфере художественной практики наиболее резко формулировал свою приверженность к «чи-

---

[1] Кант И. Критика способности суждения, с. 84—85.

[2] Литературная теория немецкого романтизма, с. 276, 277.

[3] Шевырев С. Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов. М., 1836, с. 231—232.

стому искусству» Фет. Он писал: «Что касается до меня, то, отсылая неверующих к авторитетам таких поэтов-мыслителей, каковы: Шиллер, Гете и Пушкин... прибавлю от себя, что вопросы: о правах гражданства поэзии между прочими человеческими деятельностями, о ее нравственном значении, о современности в данную эпоху и т. п. считаю кошмарами, от которых давно и навсегда отделался» [1].

С наибольшей остротой борьба против «чистого искусства» разгорелась в шестидесятых годах.

Главный вопрос, который дебатировали в ту пору,— это вопрос об *искусстве и жизни*. Идеалисты в разных вариантах развивали мысль, что *искусство выше жизни*. Сфера его — воспроизведение абсолютных идей красоты, добра и правды. Художник, посвящая себя служению этим идеям, отрешен от мимолетной и преходящей злобы дня, от интересов и противоречий социальной действительности. Поэт изображался как импровизатор, интуитивно постигающий тайны мира. Законы искусства объявлялись вечными и абсолютными, не подвластными времени.

Важно отметить, что русская художественная культура в шестидесятых годах на практике развивалась под воздействием материалистической эстетики, а не под влиянием эпигонов эстетического идеализма. Творчество Некрасова, Тургенева, Островского, Толстого, Писемского, Достоевского, творчество передвижников в живописи при всем своем различии отмечено печатью социальных исканий и ничего общего не имело с тем примитивным эстетизмом, который пытались воскресить Н. Соловьев, Эдельсон или Зарин.

В правой журналистике эстетические споры изображались в виде борьбы между защитниками и разрушителями искусства. Разрушение искусства считалось одной из основных характерных черт «нигилиста». Так, «Русский вестник» в поэме «Современные рыцари» вкладывал в уста «нигилиста» такие слова:

Ни страсти, ни нежные чувства
Души не смущают моей;
Терпеть не могу я искусства,
Природы, собак и детей [2].

---

[1] Фет А. О стихотворениях Ф. Тютчева. — Рус. слово, 1859, февр., с. 64.
[2] Рус. вестник, 1863, июнь, с. 823.

«Библиотека для чтения» тоже полагала, что отрицание искусства — главная особенность «прогрессистов»:

«Для читателей русских журналов разногласия распадаются, собственно, на две категории: одни публицисты... *отвергают* искусство... Другая сторона такими отзывами очень обижается: она *признает* искусство» [1].

Суть борьбы, однако, заключалась совсем не в приятии или отрицании искусства. Речь шла о том, как понимать *задачи* искусства, как решать вопрос об искусстве и жизни, и в свете этих проблем политические позиции идеалистической эстетики были чрезвычайно определенны. Борясь против утилитаризма, сторонники «чистого искусства» весьма отчетливо определяли социально-*утилитарный* характер своей эстетической программы.

«Отечественные записки» негодовали по поводу того, что искусство забывает свою обязанность бесстрастия и находит необходимым что-то обличать и что-то отстаивать. Но в шестидесятых годах, когда с такой широтой встали вопросы о судьбе страны, о ее будущем, призывы к «бесстрастию» означали реакционную попытку увести и художника и читателя в сторону от насущных потребностей общественного переустройства страны. Совершенно закономерно поэтому, что Чернышевский, а вслед за ним и Писарев решительно выступили против эпигонов немецкого идеализма.

Писарев считал, что он исходит из тех положений, которые выработаны были Белинским и Чернышевским. Теорию разрушения эстетики Писарев приписывал не себе, а Чернышевскому. Критику Белинского, критику Добролюбова и теперешнюю критику «Русского слова» он считал развитием одной и той же идеи.

Прав ли был он?

Плеханов полагал, что «Писарев, несомненно, развивал дальше взгляды Чернышевского, равно как и Белинского; но он развивал их исключительно с той их стороны, с какой они больше всего грешили идеализмом... «писаревщина» была чем-то вроде приведения к абсурду идеализма наших „просветителей“» [2]. Взгляд Плеханова представляется односторонним и несправедливым.

---

[1] Библиотека для чтения, 1865, февр., кн. I, с. 36.
[2] Плеханов Г. В. Соч. М.: Госиздат, 1925, т. 5, с. 352, 354.

Какое место занимала эстетика Писарева в общем движении революционно-демократической мысли?

В мировой эстетике впервые развернутая критика «чистого искусства» была предпринята русскими революционными демократами. Ни Тэн с его объективистским методом, ни Брюнетьер с его попыткой перенести в литературоведение законы естествознания этой критики не дали и не могли дать, так как они видели свою задачу лишь в эмпирической фиксации «объективных законов» развития художественных школ, без оценки смысла и значения этих школ.

Преодолев влияние идеалистической философии, Белинский в начале сороковых годов резко порвал с эстетикой немецкого идеализма и сформулировал основные принципы материалистической эстетики.

Критикуя К. Аксакова и других последователей немецкого эстетического идеализма, Белинский доказывал, что «чистого искусства» в природе никогда не было и не может быть.

Если применительно к античной древности еще можно говорить о каком-то подобии «чистого искусства», хотя в очень ограниченном и условном смысле, то в наши времена говорить о нем уже совершенно не приходится.

«Собственно художественный интерес не мог не уступить место другим, важнейшим для человечества интересам, и искусство благородно взялось служить им в качестве их органа. Но от этого нисколько не перестало быть искусством, а только получило новый характер» [1].

Что это за интересы, более важные для человечества? В статьях в подцензурной печати Белинский об этом сказать не мог. Рассказал он об этом в переписке. Идеи социального прогресса, интересы общенародной борьбы, идеи социализма — вот те высокие и важные интересы, служить которым должно подлинное искусство, если оно хочет быть серьезным видом человеческой деятельности, а не праздной забавой. Критика эстетизма с точки зрения гуманистических идеалов человечества, с точки зрения социализма — одна из замечательных особенностей русской революционно-демократической эстетики.

---

[1] Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13-ти т. М.: Изд-во АН СССР, 1953—1959, т. 10, с. 310—311.

Белинский всячески подчеркивал, что великую свою социальную роль искусство может выполнить, только оставаясь *искусством*. Искусство дидактическое, поучительное, сухое, холодное и мертвое, произведения которого есть не что иное, как риторические упражнения на заданную тему, было глубоко чуждо Белинскому. Он не переставал повторять, что только подлинные произведения живого и настоящего искусства выполняют свою высокую и действенную социальную функцию.

Если Белинский видел исторический смысл существования искусства в том, что оно, познавая мир своими особыми средствами, воздействует на человека и этим доказывает свою необходимость в обществе, то у Чернышевского в его эстетической системе были такие элементы, которые могли объективно привести к крайним выводам писаревской эстетики.

Чернышевский, как и Писарев, исходил из «реабилитации» действительности и дефетишизации искусства, которую начал еще Белинский. Но Чернышевский шел дальше Белинского.

Диссертация Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» в основе своей имела ту же революционную и материалистическую направленность, что и его философские работы. Выводы антропологического материализма он применил к специальной области искусства.

Чернышевский утверждал, что абсолютно не правы те, кто полагает, будто прекрасное в искусстве выше, чем прекрасное в жизни.

Шаг за шагом он опровергал категории идеалистической эстетики, и главная мысль, которую он при этом проводит в качестве лейтмотива,— прекрасное в жизни выше, чем прекрасное в искусстве.

Что же такое прекрасное? Прекрасное, отвечал он,— это «жизнь по нашим понятиям», это жизнь, как мы ее себе представляем. Все, что напоминает о цветении, о жизнеутверждающем начале, о «полноте жизни»,— все это прекрасно.

Чернышевский понимал, что понятия о прекрасном не имеют абсолютного, вневременного характера. У разных классов, в зависимости от различных условий общественного бытия, вырабатываются и разные представления о прекрасном. Общеизвестен приводимый им пример с идеалом женской красоты у аристократов и крестьян.

Но, признавая историческую относительность идеалов прекрасного, Чернышевский тут же выдвигал в качестве образца вкусы нормального человека. В известной мере этим он противоречил себе, ибо сама эта *норма* была, в свою очередь, явлением исторически обусловленным.

Эстетическая диссертация Чернышевского была проникнута революционным духом. Повернуть художника от «надзвездных сфер» к проблемам социальной жизни — вот в чем был смысл его эстетической теории.

Эстетике Чернышевского были присущи некоторые противоречия. Подчеркивание того обстоятельства, что искусство не больше как бледная копия с действительности, приходило в явное столкновение с тезисом автора, что искусство *объясняет* жизнь и, главное, выносит ей *приговор*. Совершенно ясно, что копия ничего не объясняет в оригинале и никакого приговора ему вынести не может.

Требование *активной оценки* явлений действительности означало преодоление созерцательных элементов фейербаховской философии. Эстетика Чернышевского была не только применением выводов антропологического материализма к искусству, она, по существу, теоретически осмыслила те процессы, которые происходили в русской литературе и нашли себе наиболее яркое выражение в гоголевской школе. Толстой и Тургенев могли очень резко отзываться о диссертации Чернышевского, но в художественной практике своей они, да и не только они, стремились творить так, чтобы каждое их произведение было «учебником жизни».

Призыв воспроизводить все многообразие социальной действительности, объяснять жизнь и выносить ей приговор формулировал задачи боевого реалистического искусства, проникнутого идеями революционного переустройства жизни.

Враги Чернышевского пытались приписать ему мысль о никчемности и ненужности искусства и литературы. Но не кому другому, как Чернышевскому, принадлежат слова о величайшем значении литературы: «...как ни высоко ценим мы значение литературы, но все еще не ценим его достаточно: она неизмеримо важнее почти всего, что ставится выше ее. Байрон в истории человечества лицо едва ли не более важное, нежели Наполеон, а влияние Байрона на развитие человечества

еще далеко не так важно, как влияние многих других писателей...»[1]

Но противоречивость эстетики Чернышевского в том и заключалась, что в ней были и такие элементы, которые приводили к отрицанию искусства.

Если искусство есть не больше как бледная копия с действительности, если прозаический пересказ событий историком или собирателем анекдотов дает не меньше, если не больше, чем создания художественного творчества, тогда зачем же нужно искусство, в чем смысл его существования, каково значение его в обществе и не является ли оно своеобразным рудиментом, который целесообразно уничтожить? Эти вопросы неизбежно встают перед каждым, кто знакомится с эстетикой Чернышевского. Они встали и перед Писаревым. И Писарев их решил со всей категоричностью, на какую он был способен.

2

Литературно-критические взгляды Писарева восходят к Белинскому. Идея социально-политической утилитарности искусства и утверждение примата действительности — вот те два принципа критической деятельности Белинского, которые Писарев для себя считал основоположными. Касаясь литературного обзора Белинского за 1844 год, Писарев говорит: «Уже в 1844 году была провозглашена в русской журналистике та великая идея, что *искусство не должно быть целью самому себе* и что *жизнь выше искусства»* (III, 366).

Но свою основную аргументацию в вопросах эстетики Писарев черпал из произведений Чернышевского. Если искусство представляет собой не больше как комментарий к действительности, тогда некоторые виды художественного творчества становятся ненужными, ибо свою роль комментария они выполняют крайне неудовлетворительно и поэтому могут быть заменены другими видами человеческой деятельности.

К основным положениям своей эстетической концепции Писарев пришел не сразу. В период сотрудни-

---

[1] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15-ти т., т. 3, с. 11.

чества в журнале «Рассвет» он разделял весьма умеренные и традиционные взгляды на искусство.

На этих позициях Писарев, однако, оставался недолго. В «Русском слове» он развернул энергичную борьбу против идеалистической критики. Мистика, проповедь аполитичности, интуитивизм имели в его лице последовательного и неутомимого врага. Любая статья его, посвященная литературе, отмечена резко отрицательным отношением к «филистерскому тупоумию» идеалистических эстетиков.

Неверно, однако, думать, что писаревская теория «разрушения эстетики» сводится только к разрушению *идеалистической* эстетики[1]. В рассуждениях Писарева об эстетике много противоречивого. Прежде всего не всегда достаточно определена терминология. Писарев расширял понятие эстетики до таких пределов, что она становилась синонимом всякой косности и реакции вообще — не только в искусстве, но и в жизни. В «Реалистах», например, он писал: «...эстетика есть самый прочный элемент умственного застоя и самый надежный враг разумного прогресса» (III, 58). Эстетика в этом смысле для него — воплощение пассивного, «художнического», созерцательного отношения к жизни. И недаром он утверждал, что бороться с нею нужно для того, чтобы «превращать чувствительных тунеядцев в мыслящих работников» (III, 74). В другом месте он дает определение уже более узкое и точное: эстетика — это «та критика, которая предпочитает форму содержанию» (III, 103). Наконец, Писарев говорит об эстетике как об определенном типе мироотношения, в котором господствует не критический анализ, а принцип безотчетного личного вкуса (III, 63). Но, разумеется, во всех этих случаях эстетика выступает как синонимическая замена разных понятий. В собственно же эстетических воззрениях Писарева следует различать две стороны: 1) вопрос об эстетике как науке о прекрасном и 2) вопрос об искусстве как таковом. Борьба Писарева против идеалистической критики была прогрессивной. Но в эстетических взглядах Писарева есть и немало ошибочного. Эти ошибочные черты выразились в отрицании возможности существования

---

[1] Так, Н. Четунова в статье «Что разрушал «нигилист» Писарев?» (Лит. критик, 1938, № 8, с. 3—50) утверждала, что Писарев боролся только против *идеалистической концепции* искусства.

эстетики как самостоятельной общественной науки и в отрицании целых отраслей искусства. Отсюда вытекала и третья ошибка его — неправильная оценка таких величайших русских писателей, как Пушкин и Салтыков-Щедрин.

Из каких предпосылок он исходил при этом? Вопрос об эстетике как науке он решал с позиций естественнонаучного материализма. В основу он брал единичный человеческий организм. Все вкусы, навыки и привычки в конечном счете объясняются, по его мнению, своеобразием физической организации человека, его природой.

Отсюда и следует принципиальная невозможность устанавливать объективные критерии и какие-либо закономерности в области эстетических представлений. Эти представления, по мнению Писарева, или зависят от индивидуальных особенностей человека, или же являются пережитком, случайностью, аномалией. Следовательно, и в том и в другом случае никакой закономерности в них нет. Но если нет объективных критериев для оценки предмета, если нет закономерности в его развитии, тогда немыслима и наука, исследующая этот предмет. Так с логической неизбежностью Писарев приходил к мысли, что эстетика как наука о прекрасном должна быть отброшена, ибо она в ряду наук представляет собой пережиток, нечто вроде алхимии и астрологии. В статье «Разрушение эстетики», написанной в 1865 году, и в полемической статье «Посмотрим!» он окончательно оформил свою эстетическую концепцию.

Сама идея прекрасного, по мнению Писарева,— вредная и ложная идея, потому что область прекрасного — такая область, «в которой недовольство действительностью не может повести за собою ничего, кроме бесплодного страдания» (III, 421). Идея прекрасного возбуждает в человеке неясное и туманное стремление к абсолютному совершенству, вызывает в нем недовольство действительностью, в которой он этого совершенства не находит. Идея эта якобы не влечет за собой практического действия и не требует изменения реальной жизни, которая всегда, по мнению эстетиков, останется несовершенной.

Единственная наука, которая по-настоящему может правильно руководить человеческими вкусами, приводя их в соответствие с потребностями организма,— это

физиология и гигиена. Эстетика не просто разрушается, она уничтожается как самостоятельная наука и «преобразовывается в часть физиологии и гигиены так точно, как алхимия преобразовалась в химию, а астрология — в астрономию» (III, 464).

Если отрицание эстетики как самостоятельной общественной науки органически связано с естественнонаучным материализмом, то отрицательное отношение к отдельным искусствам имеет под собой другие основания. Писарев доказывал нецелесообразность отвлечения интеллектуальных сил, необходимых стране для выполнения больших исторических задач, нецелесообразность траты этих сил на «бесполезную» эстетическую деятельность. Довод этот был отчетливо и прямолинейно утилитарен. Но у Писарева была и другая система доказательств. В «Очерках из истории труда» Писарев убеждал читателя, что он совсем не против искусства вообще. Искусство только должно расти на здоровой и подготовленной почве народного благосостояния и просвещения. Для того чтобы искусство было полноценным, нужно решить сначала самые насущные и жизненные задачи, удовлетворить первоочередные «потребности человеческих организмов». (II, 323). Весь вопрос для него, стало быть, лишь в исторической последовательности и актуальности возникающих перед обществом социальных потребностей.

Когда Антонович в «Современнике», отвергая эстетические взгляды Писарева, указывал ему на целесообразность использования художественной деятельности в интересах «реализма», вместо того чтобы разрушать искусство, Писарев ответил ему, что не всякое искусство пригодно для этих целей. Неправильность рассуждений Антоновича, по мнению Писарева, заключалась в том, что, говоря о явлениях общественной жизни и о потребностях человеческого организма, он не умеет расположить эти потребности в той необходимой постепенности, которая вытекает сама собой из их сравнительной важности.

Из всех искусств Писарев готов оставить одну только литературу; все остальные вряд ли могут, по его мнению, служить задачам «реализма», то есть просвещению общества, пропаганде естественных наук и утверждению идеи общечеловеческой солидарности.

Вопрос об искусстве Писарев, как и Белинский, пытался решить с точки зрения утопического социализма.

Идея общечеловеческой солидарности, решение вопроса о «голодных и раздетых», свободный и полезный труд — вот главное, к чему должно стремиться. Все, что помогает решению этих проблем,— полезно, что мешает этому,— наносит обществу ущерб. Писарев не понимал, какую роль в борьбе за социализм могут играть пластические искусства. Главное — осуществление практического идеала социализма в самой жизни. Этому должно быть подчинено все. Интересы народа, вопрос о благосостоянии народных масс — вот критерий, в свете которого решается и вопрос об искусстве, о нужности его и о его бесполезности.

Характерно, что оппоненты Писарева видели связь эстетических его воззрений с социалистическими тенденциями совершенно отчетливо и противопоставляли ему на почве эстетики антисоциалистические убеждения. Так, Н. Соловьев, полемизируя с Писаревым, указывал на практическую неосуществимость идеалов общечеловеческого счастья и на возникающую в связи с этим потребность в искусстве как идеальном эквиваленте жизни, возмещающем ее несовершенства. «Страдания не исчезнут с лица земли, счастие не сделается первым лицом в мире... Люди не будут все богатыми... Вследствие этой-то неизбежности страдания людям нужна поэзия, без которой человек сделался бы мучеником... Поэзия в этом смысле утешительница нашей невеселой жизни» [1].

Но в то время как Белинский сумел найти в социализме, в борьбе народных масс новые стимулы для расцвета всех сторон художественной деятельности человечества, Писарев уклонился в сторону и впал в парадоксальные крайности утилитаристского понимания смысла и назначения искусства. Писареву казалось, что, столь решительно борясь против эстетики и с такой категоричностью отвергая Рафаэля и Бетховена во имя будущего, он расчищает почву для разумного и полезного труда, способствует разрешению социального вопроса, а следовательно, и созданию условий для грядущего расцвета искусства. Писарев жестоко заблуждался. Не Рафаэль и не Бетховен мешали человеческому счастью. Его попытка решить вопрос об искусстве и социализме не удалась. Это, разумеется, ни в какой мере не снимает вопроса о прогрессивном значении

[1] Эпоха, 1864, дек., с. 5.

эстетических воззрений Писарева. Говоря о спорах вокруг эстетики Писарева, Е. Ярославский пишет: «На этих спорах молодежь росла, училась политически мыслить, разбираться в сложных вопросах мировоззрения, так как споры эти всегда выходили за рамки эстетики: спор об эстетике неизбежно превращался в спор о политике. Да и сам Писарев в этих спорах показал образец уменья связать вопросы искусства с самыми злободневными вопросами жизни. Он наносил в этих спорах удар за ударом по всей идеологии отживающих классов, выступал страстно и талантливо в защиту прогрессивных тенденций общественного развития России. И в этом отношении Писарев блестяще продолжал традиции своих предшественников — просветителей»[1].

Революционное значение эстетики Писарева неоспоримо. Но решить полностью задачу создания материалистической эстетики невозможно было на методологической основе недиалектического материализма. Проблему искусства и жизни идеалисты решали путем отказа от практической действительности во имя эстетического идеала. Писареву, с его пафосом практического переустройства мира, была в полной мере ясна реакционность такого решения вопроса. Но, в свою очередь, «реабилитируя» действительность, он поставил под сомнение существование искусства. Проблема оставалась неразрешенной. Только на основе диалектико-материалистического мировоззрения вопрос об искусстве и жизни, об искусстве и социализме был решен и теоретически и практически.

Критическая деятельность Писарева, однако, не исчерпывалась одним «разрушением эстетики». Если для полного решения вопроса об искусстве и социализме ни русская действительность, ни теоретический уровень писаревского материализма не давали достаточно убедительного материала, то оба эти фактора оказались достаточными для обоснования *эстетики революционного просветительства.* Деятельность Писарева развертывалась в обстановке огромного общественного подъема шестидесятых годов. Этот бурный подъем, сознание остроты социальных противоречий, пристальное внимание к проблемам общественного переустройства жиз-

[1] Правда, 1940, № 285, с. 4.

ни, социалистические симпатии сказались у Писарева в тех *требованиях*, которые он предъявлял к искусству. В определении *задач* искусства была сила Писарева.

Желая разрушить всякую эстетику вообще, Писарев, однако, вместе с тем утверждал свою эстетику, эстетику революционного просветительства, в основе которой лежала идея социального преобразования жизни.

Свои требования к искусству Писарев сформулировал с достаточной определенностью. Право требовать от художника известного направления Писарев видит в том, что процесс художественного творчества не есть бессознательный процесс. «Я подозреваю, что это — просто миф, созданный эстетическою критикою для пущей таинственности» (III, 93). А раз поэт творит свои произведения сознательно, стало быть, общество вправе предъявлять к нему определенные требования. Они заключаются в следующем.

Эпоха насыщена острейшими социальными противоречиями. Большинство человечества пребывает в темноте и невежестве и лишено самых элементарных условий нормального существования. И поэт, если он хочет оправдать свое великое и почетное звание, обязан все свои художественные возможности отдать на службу обществу; он должен проникнуться великими освободительными идеями своего времени.

Это является одним из центральных пунктов литературно-критической концепции Писарева. Храм истинного искусства, говорит он, должен превратиться «в мастерскую человеческой мысли, в которой исследователи, писатели и рисовальщики, каждый по-своему, будут стремиться к одной великой цели — к искоренению бедности и невежества» (III, 426). Изображением *страданий человечества,* образным показом всего того отрицательного, что имеется в жизни, раскрытием социальных противоречий и общественной несправедливости искусство может включиться в великую освободительную борьбу человечества и выполнить свою роль организатора общественного мнения.

Подлинный поэт, говорит он, не может «миновать тот громадный мир неподдельного человеческого страдания, который со всех сторон окружает нас сплошною темною стеною» (III, 90).

Категорическое требование к поэту изображать только страдания человечества, безусловно, содержит

в себе элементы догматизма, свойственного просветительской точке зрения. Этот догматизм привел Писарева к крупнейшим ошибкам в оценке Салтыкова-Щедрина и Пушкина.

В значительной мере под влиянием журнальной полемики Писарев резко выступил против Щедрина и обвинил его в «примиряющем и просветляющем» изображении «тяжелых безобразий» глуповской жизни. То, что статья «Цветы невинного юмора» (1864) была скорее полемическим документом, чем критической работой, доказывает тот факт, что до этого, в статье «Схоластика XIX века», Писарев оценил как положительное явление успех «Губернских очерков» в читательской среде.

Но от этого, разумеется, статья Писарева «Цветы невинного юмора» не становится менее ошибочной и более справедливой. Ложен был основной тезис Писарева, что в лице Щедрина нельзя видеть «ни друга, ни врага». Не понял Писарев того огромного социально-политического смысла, которое имело щедринское обличение крепостного права *после* реформы. Критику казалось, что Щедрин занимается пустым и безвредным делом, обличая то, что отменено уже самим правительством. Изолированный от живой русской действительности, Писарев не чувствовал того, что отлично видел и понимал Щедрин: крепостное право отменено, но пережитки его — грозная опасность, и борьба с ними должна вестись неутомимо.

Странным образом, в пылу полемического увлечения, Писарев не понял и сути творческого метода Щедрина, не уловив в нем *сарказма.* «Есть язвы народной жизни,— писал Писарев,— над которыми мыслящий человек может смеяться только желчным и саркастическим смехом...» (II, 348). Это совершенно справедливые слова, но именно таков и был смех Щедрина, и, конечно, упрекать сатирика в том, что он прибегал к «смеху ради смеха», можно было, только исходя из неверных и предвзятых предпосылок.

В письме к А. Н. Пыпину от 2 апреля 1871 года Щедрин писал: «Упрек в «смехе ради смеха» вышел в первый раз от Писарева и имел источником личное его враждебное ко мне чувство. С тех пор всякий, кто на меня рассердится, поднимает эту штуку, и так как эта штука дешевая, то танцевать на ней можно сколько угодно. Если б мне было доказано, что я предаю осме-

янию явления почтенные или не стоящие внимания, я, наверное, прекратил бы деятельность столь идиотскую. Представителем смеха для смеха может быть назван рецензент, голословно обвиняющий в смехе для смеха, да еще с чужих слов, ради того только, что тут есть смешное сочетание слов. Сей человек действительно уподобляется гоголевскому мичману, которому достаточно было показать палец, чтобы возбудить смех. Я же, благодаря моему создателю, могу каждое свое сочинение объяснить, против чего они направлены, и доказать, что они именно направлены против тех проявлений произвола и дикости, которые каждому честному человеку претят» [1].

Характерно, однако, что, несмотря на инцидент со статьей «Цветы невинного юмора», Щедрин вполне объективно и с полным уважением оценивал роль и значение Писарева и называл его имя в одном ряду с именами Белинского и Добролюбова. В письме к Пыпину, отмечая, что «с распадением «Современника» принципиальная почва совсем покинута русскою литературой», он тут же добавлял: «У нас все еще Белинского наследство делят. Большую часть его получили Добролюбов и Писарев, да и своего прибавили...» [2]

А в письме к начинающей писательнице А. А. Виницкой-Будзианик он писал: «...позвольте мне для первого раза посоветовать вам прочитать Белинского, Добролюбова и Писарева» [3].

Совершенно ошибочной была писаревская трактовка и творчества Пушкина. К Пушкину Писарев не всегда относился отрицательно. Мало того — отдельные высказывания свидетельствуют о том, что Писарев признавал силу пушкинского таланта, художественное наслаждение, доставляемое чтением поэта. В «Схоластике XIX века» он отмечал, что «сочинения Пушкина, Лермонтова и Гоголя знают почти наизусть лица, одаренные эстетическим чувством и сколько-нибудь развитые в литературном отношении...» (I, 97). В статье «Московские мыслители» (1862) он писал: «Пушкин остался великим русским поэтом, несмотря на сиплые крики булгаринской партии...» (1, 316). И далее: «...Карамзин,

---

[1] Щедрин Н. (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч. М.: ГИХЛ, 1937, т. 18, с. 234.
[2] Там же, с. 236.
[3] Там же, т. 19, с. 200.

Жуковский, Дмитриев и др. отжили для нас, и отжили так полно, так безнадежно, как, вероятно, никогда не отживут люди с действительным, сильным талантом, люди, подобные Шекспиру, Байрону, Сервантесу, Пушкину» (I, 304). «А что, если бы учитель,— спрашивал он в статье «Наша университетская наука»,— оставив в стороне теорию словесности и историю русской литературы, начал читать с учениками лучшие поэмы и прозаические сочинения Пушкина, потом прочитал бы им всего Гоголя, кроме «переписки с друзьями», потом Кольцова, потом Тургенева и Островского, потом лучшие критические статьи Белинского и Добролюбова, потом несколько народных былин и песен, несколько легенд и сказок? Как вы думаете? Ведь гимназисты считали бы класс русской словесности наслаждением для себя...» (II, 208). Чем же объяснить тогда резкую, несправедливую оценку Пушкина, которого сам Писарев считал великим поэтом, сильным талантом, стоящим в одном ряду с Шекспиром, Байроном и Сервантесом? Как мог он отвергнуть художника, в творчестве которого видел источник глубокого наслаждения?

Объясняется эта ошибочная позиция Писарева не столько, может быть, его *личным* отношением к поэзии Пушкина, сколько своеобразными условиями литературной борьбы шестидесятых годов, той функцией, которую пытались придать творчеству Пушкина литературные охранители, а также, конечно, и недостатками методологии самого Писарева.

Идеалистическая критика шестидесятых годов утверждала, что в русской литературе есть два направления — гоголевское и пушкинское, «дидактическое» и чисто художественное. Пушкина пытались превратить в жреца «чистого искусства». Его имя стремились использовать в качестве орудия борьбы против революционно-демократической литературы. Сам Писарев указывает на это обстоятельство: «...имя Пушкина сделалось знаменем неисправимых романтиков и литературных филистеров... Превознося кроткого и любвеобильного Пушкина, романтики и филистеры почти совершенно игнорируют Грибоедова и относятся почти враждебно к Гоголю» (III, 363). Вместо того чтобы разоблачить эту реакционную легенду, Писарев признал Пушкина *действительным знаменем идеалистической эстетики* и употребил все силы своего таланта на то, чтобы это знамя выставить в возможно более непривлекательном виде. «Вам

нравится Пушкин? — спрашивает он в «Реалистах».— Извольте, полюбуйтесь на вашего Пушкина» (III, 73).

Предваряя публикацию статьи о Пушкине, Писарев подчеркивал, что он сознательно отказывается от исторического подхода в анализе творчества поэта: «...я совершенно устраняю в вопросе о Пушкине историческую точку зрения. Я очень хорошо знаю, что «Евгений Онегин» гораздо лучше «Фелицы» Державина и что «Капитанская дочка» стоит во всех отношениях выше «Бедной Лизы» Карамзина. Я нисколько не обвиняю Пушкина в том, что он не был проникнут теми идеями, которые в его время не существовали или не могли быть ему доступны. Я задам себе и решу только один вопрос: следует ли нам читать Пушкина в настоящую минуту или же мы можем поставить его на полку, подобно тому как мы уже это сделали с Ломоносовым, Державиным, Карамзиным и Жуковским?» (III, 295). И он пытался доказать, что Пушкин был апологетом существующего строя и что никаких социальных противоречий, «страданий человечества» он не показал.

В статье «Пушкин и Белинский» Писарев разбирает только «Евгения Онегина» и лирику Пушкина, не касаясь ни его прозы, ни драматургии. Анализируя образы Онегина, Ленского и Татьяны, Писарев доказывал, что ни один из этих персонажей не отражает передовых стремлений русского общества. Поступки каждого из этих действующих лиц, весь строй их понятий, все их поведение изобличают их пустоту, мелочность и умственное убожество. Онегин — это тунеядец, который, кроме любовных историй да балов, ничем не интересуется. Ленский способен из-за совершенных пустяков решиться на дуэль. Татьяна в такой мере живет непосредственной импульсивной жизнью, что готова влюбиться с первого взгляда в незнакомого человека. Таким образом, первое обвинение, которое предъявляет Писарев Пушкину, заключается в том, что поэт избрал своими героями таких людей, которые не дают возможности затронуть большие проблемы общественного развития России.

Второе обвинение состоит в том, что роман «Евгений Онегин», который Белинским был назван «энциклопедией русской жизни», на самом деле не содержит в себе верной исторической картины своего времени. «...Вы найдете,— пишет Писарев,— описание многих мелких обычаев, но из этих крошечных кусочков,

годных только для записного антиквария, вы не извлечете почти ничего для физиологии или для патологии тогдашнего общества; вы решительно не узнаете, какими идеями или иллюзиями жило это общество; вы решительно не узнаете, что давало ему смысл и направление или что поддерживало в нем бессмыслицу и апатию. Исторической картины вы не увидите; вы увидите только коллекцию старинных костюмов и причесок, старинных прейскурантов и афиш, старинной мебели и старинных ужимок. Все это описано чрезвычайно живо и весело, но ведь этого мало...» (III, 360).

Роман не может быть назван исторически верной картиной еще потому, что в нем отсутствуют главные черты эпохи — в частности, гнет крепостного права. «...Основываясь на свидетельстве энциклопедии,— замечал Писарев,— мы имеем полное право умозаключать, что крепостное право доставляло весьма много пользы и удовольствия как помещикам, так и мужикам. Помещики имели возможность обнаруживать свое великодушие, мужики имели возможность учиться у них бескорыстию, служанки развивали в себе эстетическое чувство и способность нравственного самообладания; словом, все благоденствовали и взаимно совершенствовали друг друга» (III, 359).

И исходя из своего тезиса о «страданиях человечества» как главном объекте художника, Писарев заключает: «Весь «Евгений Онегин» — не что иное, как яркая и блестящая апофеоза самого безотрадного и самого бессмысленного status quo. Все картины этого романа нарисованы такими светлыми красками, вся грязь действительной жизни так старательно отодвинута в сторону, крупные нелепости наших общественных нравов описаны в таком величественном виде, крошечные погрешности осмеяны с таким невозмутимым добродушием, самому поэту живется так весело и дышится так легко,— что впечатлительный читатель непременно должен вообразить себя счастливым обитателем какой-то Аркадии, в которой с завтрашнего же дня непременно должен водвориться золотой век.

В самом деле, какие человеческие страдания Пушкин сумел подметить и счел необходимым воспеть? Во-первых — скуку или хандру; а во-вторых — несчастную любовь, а в-третьих... в-третьих... больше ничего, больше никаких страданий не оказалось в русском обществе двадцатых годов» (III, 357).

К тем же выводам пришел Писарев, анализируя лирику Пушкина. Он видит в поэте «легкомысленного версификатора, опутанного мелкими предрассудками, погруженного в созерцание мелких личных ощущений и совершенно не способного анализировать и понимать великие общественные и философские вопросы нашего века» (III, 415).

Литературно-политический смысл статей Писарева о Пушкине обозначен очень ясно. Пафосом убежденного демократа проникнуты слова Писарева о крепостном праве, о неверных нотках в стихах Пушкина, дающих основание видеть в нем защитника принципов «чистого искусства». Но для нас односторонность и несправедливость общей оценки Писаревым творчества Пушкина не подлежит сомнению. Ошибки эти проистекают, как мы уже указывали, из чрезмерно ригористического и рассудочного понимания «страданий человечества»; эти ошибки связаны с крупнейшим методологическим изъяном, который в статьях о Пушкине сказался очень определенно. Заключается этот изъян в том, что Писарев произвольно отождествил художественные образы с личностью автора. Из неверной посылки вытекают и неверные выводы. Известную роль сыграло и то, что Писареву в полном объеме политическая лирика Пушкина была неизвестна. Он не знал по-настоящему и всех обстоятельств жизни поэта — в те времена многое оставалось еще в тайниках архивов,— и ему казалось, что поэту живется весело и дышится легко. Все это вместе взятое и обусловило общий тон и характер писаревских статей о Пушкине.

Критикуя Пушкина, Писарев стремился опровергнуть и ту оценку, которую дал великому поэту Белинский. В полной мере отдавая дань уважения Белинскому, Писарев, однако, доказывал, что в Белинском боролись между собой «эстетик» и мыслитель и что преувеличенное мнение о роли Пушкина источником своим имеет «эстетические» предрассудки великого критика.

История со всей непреложностью доказала правоту Белинского и ошибочность позиций Писарева в оценке Пушкина.

Ни отождествление Пушкина с Онегиным, ни демонстративно ироническая интерпретация пушкинской лирики не могли доказать того, чего добивался Писарев. Важно отметить, что, при всех своих полемических преувеличениях, парадоксах, крайностях, Писарев даже

и в статье «Пушкин и Белинский» неоднократно подчеркивал художественную выразительность поэзии Пушкина. Он отмечает у него «звучность и плавность стиха», «яркие и блестящие описания». Мало того — в этот же период, перечисляя в «Реалистах» писателей, без которых невозможно обойтись «мыслящему работнику», он указывает на Шекспира, Грибоедова, Крылова, Пушкина и Гоголя.

Ко всему этому необходимо добавить, что в своей критике творчества Пушкина он не был одинок. Так, Добролюбов полагал, что, «натура неглубокая, но живая, легкая, увлекающаяся, и притом, вследствие недостатка прочного образования, увлекающаяся более внешностью, Пушкин не был вовсе похож на Байрона» [1]. О героях Пушкина Добролюбов говорил так же, как и впоследствии Писарев.

Для него Пушкин — историческое прошлое, пройденный этап русской культуры:

«Теперь для Пушкина настало потомство. Не те уже мы, каковы были четверть века тому назад.

Бесцельное направление исключительной художественности для нового поколения — уже прошедшее, имеющее только свою долю исторического значения» [2].

Писарев стремился доказать, что Пушкин — это прошлое и его творения утратили интерес для современности: «Место Пушкина — не на письменном столе современного работника, а в пыльном кабинете антиквария, рядом с заржавленными латами и с изломанными аркебузами» (III, 378). Добролюбов еще любуется Пушкиным, а Писарев уже считает это любование излишним и даже вредным. Но общие предпосылки у них в известной мере одинаковые: деятельность Пушкина принадлежит истории. И Писарев делает отсюда тот вывод, что попытки воскресить это прошлое и сделать его знаменем настоящего должны встретить резкий отпор.

Точка зрения Писарева на Пушкина, таким образом, в какой-то степени совпадала со взглядами Добролюбова. В шестидесятых годах на поэта смотрели как на блестящего стилиста, лишенного глубокого содержа-

---

[1] Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч. М.; Л.: ГИХЛ, 1934, т. 1, с. 235.

[2] Там же, с. 113.

ния[1]. Демократическая критика считала политические мотивы его поэзии внешней позой, а его самого — верноподданным царедворцем Николая I. Политический аспект писаревской оценки Пушкина не подлежит сомнению. В статье «Кукольная трагедия с букетом гражданской скорби» мы читаем «Пушкин был, без сомнения, человек очень умный, и стих его был очень легок, и образы очень картинны, но когда вы видите, что весь восьмой том сочинений Белинского посвящен оценке Пушкина, то вам становится обидно за Белинского и вам невольно приходит в голову, что эта честь слишком велика для Пушкина и что силам великого и серьезного критика негде развернуться в эстетическом разборе красивых произведений остроумного русского барина»[2].

Но, разумеется, Добролюбов при всем этом отдавал себе полный отчет в огромном значении творчества Пушкина для *истории* русской культуры и всячески подчеркивал его большую и прогрессивную роль в развитии русского просвещения. Ошибочность воззрений Писарева и сказалась в том, что, трактуя творчество великого поэта в пристрастных полемических тонах, он не мог подойти к крупнейшему явлению русской культуры с необходимой исторической объективностью.

При всех своих крайностях требование изображать «страдания человечества» было проникнуто революционными тенденциями. Оно ставило перед писателями и художниками задачу глубокого осмысления острейших социальных противоречий действительности. *Писарев выступал как сторонник критического реализма.*

В этой связи примечательно то, что Писарев устанавливал, какие жанры и какие внутренние коллизии способны раскрыть «физиологию» общества. Он считает знамением времени тот факт, что на первый план литературного развития выдвинулся *гражданский эпос,* «или, проще, романы, повести и рассказы. Роман втянул в себя всю область поэзии, а для лирики и для драмы остались только кое-какие крошечные уголки» (III, 110).

Объяснение этому факту Писарев видит в возраста-

---

[1] Ср. «Заметки нового поэта» в «Современнике»: «Литература *относительно мысли* сделала большой шаг вперед — со времени Пушкина... В литературе уже невозможны не только «Кавказские пленники», даже и «Дон-Жуаны» (Современник, 1861, сент., с. 81; курсив наш. — *Л. П.*).

[2] Писарев Д. И. Полн. собр. соч.: В 6-ти т., т. 4, с. 203.

нии социальных интересов и в том, что внимание читателей теперь привлекает не форма, а содержание. Жанры гражданского эпоса дают наибольший простор для обсуждения общественных проблем и поэтому оказываются самой полезной формой поэтического творчества.

Объектом «гражданского эпоса» являются *социальные* конфликты. Поэтому, отмечает Писарев, его героями могут быть лишь те люди, которые выражают общественные конфликты своего времени, борьбу разных социальных сил, а не личные особенности своего темперамента — «или рыцарь прошедшего, или рыцарь будущего» (III, 360), «а не сонная фигура праздношатающегося шалопая» (III, 361).

Поэтому, в частности, Писарев считал неудачным выбор в качестве героев Онегина и Обломова.

В рассуждениях Писарева о социальных противоречиях, о «страданиях человечества» как главном объекте художественного творчества заключено самое существенное в революционно-просветительной эстетике Писарева.

Ленин отмечал в качестве одной из характернейших черт просветительства — «расчистку пути» от феодальных пережитков: «„Просветители“ вовсе не ставили вопросов о характере пореформенного развития, ограничиваясь исключительно войной против остатков дореформенного строя, ограничиваясь отрицательной задачей расчистки пути для европейского развития России» [1].

«Отрицательное направление» Писарев не считал вечным и единственным направлением художественного творчества. Но он убежден был в том, что русскому обществу на данной стадии его развития оно может принести наибольшую пользу. И именно поэтому он с такой решительностью выступал против аполитичности и равнодушия в литературе.

Сторонников чистого искусства, которые отворачиваются «с самодовольным презрением от картин грязной нищеты и невольного порока» и отзываются «певучими нотами на трепетание влюбленного соловья, и на благоухание расцветающей розы, и на каждый грошовый вздох смазливой барышни...» (III, 91), Писарев сравнивал с приторной и отвратительной привязанностью «старой девки к кошкам, попугаям и моськам» (III, 91).

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 2, с. 541.

«Поэт — или великий боец мысли, бесстрашный и безукоризненный «рыцарь духа», как говорит Генрих Гейне, или же ничтожный паразит, потешающий других ничтожных паразитов мелкими фокусами бесплодного фиглярства. Середины нет. Поэт — или титан, потрясающий горы векового зла, или же козявка, копающаяся в цветочной пыли» (III, 95).

Всякая попытка идеализировать существующие отношения, всякая попытка сгладить социальные противоречия и увести читателя от проблем действительности в мир «абсолютной красоты» должна подвергаться решительному осуждению. Таков исходный пункт писаревских литературно-критических оценок.

Значит ли это, однако, что Писарев требовал от художника, чтобы в угоду предвзятой идее он подгонял факты действительности? Ни в какой степени. Он видел разницу между социальной направленностью творчества и дидактической тенденциозностью.

Писарев утверждал, что без активного отношения художника к действительности немыслимо никакое подлинное искусство. Он выступал против ложной объективности, маскирующей безразличие художника. «...Вполне объективный рассказ — показание свидетеля, записанное стенографом; вполне объективная музыка — шарманка; добиться этой объективности значит уничтожить в поэзии всякий патетический элемент и вместе с тем убить искусство...» (I, 200).

Но социальная направленность художника выражается не в том, что он «читает публике наставления и поучения», а в том, что он раскрывает сущность общественных процессов.

Писатель должен осмысливать жизнь, объяснять ее, должен активно к ней относиться, а здесь неизбежно и проявятся его социально-политические симпатии.

Выступая, с одной стороны, против объективизма, а с другой — против холодного дидактизма, Писарев считал, что искусство сможет выполнять свои общественные функции только в том случае, если оно будет *искусством реалистическим.* Под реализмом он понимал воспроизведение жизненной правды, передачу в созданиях художественного творчества типичных явлений социальной действительности. Романтизм, по его мнению,— продукт социального бессилия, он уводит сознание от насущных забот современности и поэтому играет реакционную роль.

«Романтизм,— пишет Писарев в статье «Идеализм Платона»,— возникает обыкновенно в эпоху бедствий и страданий, когда человеку нужно где-нибудь забыться, на чем-нибудь отвести душу...» (I, 88). Западный романтизм, утверждал он позднее, в начале нынешнего столетия сбил с толку и изуродовал по меньшей мере два поколения французов и немцев.

В одной из работ о Писареве[1] обращено внимание на то место, которое занимает в системе эстетических суждений критика вопрос о революционном романтизме. Автор утверждает, что вопрос о революционном романтизме особенно остро встал в революционно-демократической литературе и критике шестидесятых годов. Это был вопрос о преобразующей роли искусства, о его участии в революционной переделке жизни. В тот период было очень важно вооружить революционно-демократическую литературу новым творческим методом. «Эту задачу старались разрешить Чернышевский своим романом и Писарев своей теорией революционного романтизма. То и другое связано неразрывно, так как теория Писарева могла возникнуть только потому, что он сумел с позиций нового этапа революционно-демократической мысли осознать художественный опыт Чернышевского». Далее автор утверждает, что «первые годы деятельности Писарева идут под знаком борьбы за критический реализм, за «гоголевское направление» в литературе, которое он считает единственно возможным для данных общественных условий... Появление романа «Отцы и дети» не внесло ничего нового в отношение Писарева к романтизму, хотя Базаров был первый положительный герой, которого Писарев принял с восторгом». Отношение Писарева к романтизму претерпело серьезную эволюцию в связи с появлением романа Чернышевского «Что делать?». «Это произведение,— замечает Шишкина,— всей своей сущностью протестовало против доктринерской установки Писарева на «чистое отрицание» и ставило вопрос о пропаганде новых идей художественными образами. «Что делать?» уже нельзя было уложить в рамки критического реализма; здесь налицо были элементы нового романтического стиля». «Писареву нужно было преодолеть целый круг идей, связанных с материализмом Фейербаха,

---

[1] Шишкина А. Д. И. Писарев и вопросы революционной романтики. — Звезда, 1948, № 2, с. 161—167.

для того чтобы пересмотреть свой ошибочный взгляд на отношение сознания к жизни и на роль мечты и идеалов в жизни человека. Перелом во взглядах Писарева в этом вопросе начался с 1864 года, и можно сказать, что именно роман Чернышевского сыграл здесь решающую роль». «Устремленность к будущему, неразрывно связанная с ненавистью к уродливому настоящему,— вот содержание нового романтизма».

Само по себе указание на писаревскую трактовку революционной романтики у А. Шишкиной заслуживает всяческого внимания. Однако автор, как нам представляется, преувеличивает значение этой проблемы для Писарева. Вряд ли можно утверждать, что у него мы находим *теорию* революционного романтизма. Автор связывает, как это видно из предыдущего, вопрос о революционной романтике с тем впечатлением, которое произвел на Писарева роман «Что делать?». Это, в общем, справедливо. Следовало бы только подчеркнуть, что мысли Писарева о мечте, а стало быть, и о революционно-романтическом начале, тесно переплетаются с *социалистическими* убеждениями критика в целом. В известной статье «Промахи незрелой мысли», которая использована была Лениным в работе «Что делать?», имеются такие знаменательные строки: «Мечта какого-нибудь утописта, стремящегося пересоздать всю жизнь человеческих обществ, хватает вперед в такую даль, о которой мы не можем даже иметь никакого понятия. Осуществима ли, не осуществима ли мечта,— этого мы решительно не знаем. Видим мы только то, что эта мечта находится в величайшем разладе с тою действительностью, которая находится перед нашими глазами. Существование разлада не подлежит сомнению, но этот разлад все-таки нисколько не вреден и не опасен ни для самого мечтателя, ни для тех людей, на которых он старается подействовать... Если такой мечтатель, или, вернее, теоретик, действительно открыл великую и новую истину, тогда уже само собою разумеется, что разлад между *его* мечтою и нашею практикою не может принести нам, то есть людям вообще, ничего, кроме существенной пользы» (III, 148). Писарев говорит здесь об «утопистах» и «теоретиках». На условном языке того времени слово «теоретик» было синонимом революционера, социалиста. Так, в статье «Прогулка по садам российской словесности» Писарев говорит о 1863 годе — годе, когда реакция начала сви-

репствовать особенно яростно: «Для теоретиков этот год был невыносимо тяжел» (III, 253). Что под мечтателями — «утопистами» и «теоретиками» — Писарев разумел социалистов, доказывают его следующие слова: «Экономисты, например, очень не любят социалистов. Мы с читателями твердо знаем по «Русскому вестнику», что экономисты — люди почтенные, а социалисты — прощелыги и сумасброды. Но все-таки совершенно невозможно отрицать, что экономисты давным-давно обратились бы в стадо баранов и волов, пережевывающих старую жвачку Адама Смита, если бы социалисты своими предосудительными глупостями не заставляли их ежеминутно бросаться в полемику и отражать новые нападения новыми аргументами» (III, 149).

Высокая романтическая мечта о будущем, опирающаяся *на самую действительность* и стремящаяся предугадать ход жизни, ассоциировалась в сознании Писарева прежде всего с учением социалистов, с их борьбой за грядущее счастье человечества. Это лишний раз доказывает, насколько тесно переплетаются у Писарева проблемы искусства с вопросами социализма. Но из этого вряд ли можно сделать заключение, будто Писарев был сторонником сочетания реализма с революционной романтикой. Ссылки на романтическую устремленность Базарова или на писаревское восприятие романа «Что делать?» не могут убедить в этом. Ошибочно полагать, будто реализм — начало только критическое, а романтизм — начало утверждающее. Сила и значение Базарова и Рахметова для Писарева заключались прежде всего в их реалистичности, в их жизненной конкретности,— они служили ясным доказательством того, что *в жизни* народились новые явления, которые художнику удалось запечатлеть. В 1864 году в той же статье «Промахи незрелой мысли» Писарев опять почти текстуально повторяет свои слова о романтизме, сказанные им в «Идеализме Платона»: «...есть мечты совсем другого рода, мечты, расслабляющие человека, мечты, рождающиеся во время праздности и бессилия и поддерживающие своим влиянием ту праздность и то бессилие, среди которых они родились. Эти маниловские мечты о лавках на каменном мосту» (III, 149). «...Такие мечты я называю вредными и губительными во всех отношениях. Мечты первого рода можно сравнить с глотком хорошего вина, которое бодрит и подкрепляет человека во время утомительного труда.

Но последние мечты похожи на прием опиума, который доставляет человеку обаятельные видения и вместе с тем безвозвратно расстраивает всю нервную систему» (III, 150).

Характерно, что в статье «Прогулка по садам российской словесности» Писарев снова говорит о романтизме как об отжившем миросозерцании и об Аполлоне Григорьеве как об одном из самых законченных его представителей.

Этому «пассивному романтизму», как его позднее определял Горький, Писарев противопоставляет реализм — правдивое изображение типических явлений общественного бытия.

Для того чтобы правдиво отразить жизнь, реалистическое искусство должно воспроизводить типические, существенные стороны общественной действительности. Случайное, при всей своей внешней правдоподобности, дает поверхностное, иллюзорное представление о жизни, и поэтому оно не может быть объектом художественного творчества. Многое совершенно неправдоподобное, подчеркивал Писарев, случается иногда в действительности, но мы не поверим художнику, если он представит на своей картине эти случайности и исключения, именно потому, что исключительные положения не дают материала для типа, а только могут быть *до* некоторой степени объяснены случайным и странным стечением обстоятельств.

Признавая, что в основе литературного произведения лежит идея, выражающая субъективное отношение писателя к действительности, Писарев, однако, приходит к выводу, что зачастую воспроизведенная художником действительность опровергает «заблуждения ума» писателя. Та правда, которая объективно заключена в созданиях художественного творчества, нередко разрушает теоретические построения автора. Это произошло, по мнению Писарева, у Толстого и у Тургенева.

«Создавая Базарова,— говорит он,— Тургенев хотел разбить его в прах и вместо того отдал ему полную дань справедливого уважения... Тургенев не диалектик, не софист, он не может доказывать своими образами предвзятую идею, как бы эта идея ни казалась ему отвлеченно верна или практически полезна. Он прежде всего художник, человек бессознательно, невольно искренний; его образы живут своею жизнью; он любит их,

он увлекается ими, он привязывается к ним во время процесса творчества, и ему становится невозможным помыкать ими по своей прихоти и превращать картину жизни в аллегорию с нравственною целью и с добродетельною развязкою... натура художника берет свое, ломает теоретические загородки, торжествует над заблуждениями ума и своими инстинктами выкупает все — и неверность основной идеи, и односторонность развития, и устарелость понятий» (II, 48).

Противоречие, возникающее иногда между субъективными устремлениями писателя и тем объективным материалом, который заключен в его произведениях, Писаревым отмечено правильно. Об этом противоречии говорил Энгельс применительно к Бальзаку.

Но из правильной мысли Писарев делал иногда односторонний вывод, полагая, что бывают случаи, когда при анализе литературного творчества можно вообще не считаться с убеждениями писателя. Главным и основным является сама изображенная действительность, которая представляется чем-то вроде слепка, снятого с жизни и существующего помимо идейных убеждений художника.

«Приступая к разбору нового романа г. Достоевского,— пишет Писарев,— я заранее объявляю читателям, что мне нет никакого дела ни до личных убеждений автора, которые, быть может, идут вразрез с моими собственными убеждениями, ни до общего направления его деятельности, которому я, быть может, нисколько не сочувствую, ни даже до тех мыслей, которые автор старался, быть может, провести в своем произведении и которые могут казаться мне совершенно несостоятельными. Меня очень мало интересует вопрос о том, к какой партии и к какому оттенку принадлежит г. Достоевский... Я обращаю внимание только на те явления общественной жизни, которые изображены в его романе...» (IV, 316).

Здесь один из центральных вопросов методологии так называемой «реальной критики». Представление о том, что действительность, отраженная в художественном произведении, есть слепок с жизни, есть копия, сырой материал, уходит своими корнями в теорию познания естественнонаучного материализма. И не случайно, что Писарев в некоторых своих критических статьях ограничивался преимущественно психологическим анализом персонажей, которых он рассматривал как «ре-

альных» людей, существующих независимо от субъективного отношения к ним писателя.

При всем том, зачастую противореча себе, Писарев доказывал, что только глубокое содержание, только большая идейность сообщают произведению подлинную ценность.

Писарев с большой убедительностью показывал, как формализм, превращая художественную виртуозность в самоцель, одновременно эту самую виртуозность унижает.

В своей борьбе с эстетизмом Писарев иногда доходил до крайностей. Бросая вызов ревнителям «чистого» художества, он, сам блестящий стилист, отлично понимавший вкус и ценность слова, договаривался до того, что «реальный критик» может вовсе пренебрегать формой, поскольку она лишь пассивный передатчик содержания. Он сравнивал ее с телеграфом, передающим определенные известия (III, 110).

Конечно, сравнение не есть доказательство, но те сравнения, которые приводит Писарев для разъяснения своего взгляда на художественную форму, весьма показательны. Своими парадоксальными примерами он подчеркивал ту, в сущности, совершенно справедливую мысль, что форма самодовлеющей роли не играет. Но все же несомненно, что взаимоотношения между формой и содержанием гораздо сложнее, нежели это представлял себе Писарев.

Однако, поскольку Писарев имел дело с явлениями искусства, он давал и художественную квалификацию литературным произведениям.

Каков же тот критерий художественности, которым он руководствовался? Писарев считал, что подлинным мерилом качества литературного произведения может служить степень его жизненности. Критерий жизненности является для него определяющим при рассмотрении ценности созданий искусства. Чем естественнее, правдивее, жизненнее изображенная художником действительность, чем больше она соответствует подлинной реальности, тем выше произведение в художественном отношении. Художественность, по его мнению, основана на понимании человеческой души, на психологической верности и естественности, с которой поэт воспроизводит явления внутренней жизни.

Искусство имеет дело по преимуществу с миром «междучеловеческих отношений». Объектом художест-

венного творчества является человек со всеми его страстями, помыслами и действиями. Для того чтобы искусство было жизненным, оно должно прежде всего жизненно изображать человека и взаимоотношения людей. Условием этой жизненности является типичность литературного героя.

«Изучая общество, талантливый и умный романист выводит слабого, сильного, бесцветного человека и т. д. не для того, чтобы сказать читателю: «Вот посмотрите, господа, какие бывают люди!», а для того, чтобы сказать ему: «Вот посмотрите, как действуют на различных людей те условия жизни, те идеи и стремления, среди которых живете вы сами. Посмотрите, какие типы формируются под влиянием этих условий». Только тогда, когда романист доходит до таких размышлений, он является истинным художником, потому что только тогда он вполне овладевает своим предметом и переработывает его силою зиждущей мысли» (I, 213).

Художник достигает типичности литературного персонажа только в том случае, если он показывает своего героя как продукт определенных социальных отношений, причем показывает его в действии. «...Если романист приписывает одному из своих героев какое-нибудь качество, а между тем это качество не выражается в его действиях, то я, читатель, имею право заключить, что у автора не хватило сил вложить в образы то, что он выразил в отвлеченной фразе» (I, 204).

Вторым условием жизненности, то есть художественности, произведения искусства Писарев считал внутреннюю логическую целесообразность и последовательность образа.

Каждый поступок героя, каждое его слово и мысль должны быть мотивированы и оправданы, должны находиться в полном соответствии с его характером, сложившимся в определенной социальной среде.

Наконец, существеннейшим признаком эстетического качества произведения искусства Писарев считал отсутствие риторики, искренность, непосредственность, художественную простоту. Особенно эти качества необходимы, по его мнению, лирической поэзии. Чем неприготовленнее и добровольнее лирическая исповедь поэта, чем в ней меньше «прикрас и фиоритур», тем непосредственней и сильней впечатление, производимое ею на душу читателя. Искреннее чувство не нуждается в

риторических фигурах, они ему противны, «как противны молодой красавице белила, румяна, вставные зубы и накладные косы; искреннее чувство выражается просто, легко находит себе соответствующий образ в слове и непосредственно проходит в душу читателя и слушателя» [1].

В целом эстетический кодекс Писарева может быть сформулирован в следующем виде: процесс художественного творчества является процессом сознательным; это дает принципиальную возможность требовать от поэта осмысленного отношения к социальной действительности; эпоха острейших общественных противоречий выдвигает перед всяким истинным художником в качестве основной задачи необходимость изображения этих социальных противоречий, «страданий человечества», которые должны стать главным объектом художественного творчества; выполнение этой задачи мыслимо прежде всего средствами реалистического искусства; сила художественного реализма заключается именно в том, что он, зачастую даже вопреки субъективным намерениям писателя, дает реальное знание о мире; решающая роль в литературном произведении принадлежит содержанию; основным критерием художественности является критерий жизненности: жизненность произведения зависит от типичности выведенных персонажей. Обязательными условиями художественности являются внутренняя логическая последовательность в развертывании образа, отсутствие риторики и художественная простота.

3

Этими положениями в той или иной степени руководствовался Писарев и в своих конкретных суждениях о писателях. *Критические* элементы и реалистическая, *познавательная* ценность произведения были для него определяющим критерием. Огромное воспитательное значение художественного слова Писарев понимал отчетливо. Ему, «разрушителю» эстетики и «нигилисту», принадлежат следующие знаменательные слова: «...я отношусь с глубоким и совершенно искренним уважением к первоклассным поэтам всех веков и народов. За-

[1] Писарев Д. И. Полн. собр. соч.: В 6-ти т., доп. вып., с. 20.

дача реалистической критики в отношении ко всей массе литературных памятников, оставленных нам отжившими поколениями, состоит именно в том, чтобы выбрать из этой массы то, что может содействовать нашему умственному развитию, и объяснить, каким образом мы должны распоряжаться с этим отборным материалом. Такая обширная задача не по силам одному человеку, но я, с своей стороны, постараюсь все-таки со временем подвинуть это дело вперед, представляя моим читателям ряд критических статей о тех писателях, которых чтение я считаю необходимым для общего литературного образования каждого мыслящего человека» (III, 107).

Эти слова с полной ясностью доказывают, какое большое место в умственном развитии человечества отводил Писарев литературе. Осуществить обширную задачу критического исследования истории литературы Писареву не удалось, но и те отдельные статьи и высказывания, которые имеются у него, дают отчетливое представление о его литературных вкусах и вместе с тем представляют важный материал и для историко-литературного анализа.

Писарев умел рассматривать литературу в широкой исторической перспективе, однако при анализе явлений русской литературы он нередко изменял этому принципу. Русский классицизм XVIII века он интерпретировал в подчеркнуто полемических тонах; столь же полемично и враждебно относился он и к Карамзину, Жуковскому, Дмитриеву. Объяснялось это не только тем, что он Сумарокова или Хераскова ни во что не ставил. Дело заключалось в другом. Ему казалось, что, развенчивая канонизированные авторитеты, он тем самым подрывает устои «казенной эстетики» и разрушает «рутину и косность». Апологетическое отношение к этим авторитетам представлялось ему обязательным атрибутом «казенной эстетики», и принцип исторической объективности в этих условиях он заменял полемически заостренной трактовкой историко-литературных явлений.

В оценке современной русской литературы он руководствовался принципом социально-политической утилитарности.

Писарев оставил характеристики многих современных ему русских писателей. Он писал о Толстом, Гон-

чарове, Писемском, Островском, Тургеневе, Салтыкове-Щедрине, Слепцове, Лескове, Чернышевском, Клюшникове, Достоевском, Помяловском. Среди этого множества характеристик можно выделить *четыре* группы литературных явлений, если учесть тот принцип литературно-политического утилитаризма, которым руководствовался Писарев.

К первой группе относятся писатели враждебного лагеря, прежде всего авторы так называемых «антинигилистических» романов. Их Писарев преследовал с неутомимой яростью. Как известно, в шестидесятых годах антинигилистический роман был одной из форм борьбы против революционной демократии. «Кровавый пуф» В. Крестовского, «Некуда» Лескова (Стебницкого), «Марево» Клюшникова — таков далеко не полный перечень романов, в которых усиленно развенчивалась революционная молодежь и утверждались идеи монархической благонамеренности и религиозного благочестия. Одному из этих романов — «Мареву» Клюшникова — Писарев посвятил статью «Сердитое бессилие» (1865). Он сам подчеркивал, что разберет роман с чисто эстетической точки зрения. Это казалось Писареву тем более необходимым, что читающая публика «не только прочитала, но даже превознесла до небес» (III, 218) роман Клюшникова. Судить о том, как встретила публика роман, Писарев мог только по отзывам журналов. А для характеристики того, как встретила правая журналистика «Марево», показательно мнение «Библиотеки для чтения». Этот журнал писал: «...драма, разыгравшаяся в небольшом уголку нашего отечества и составляющая содержание романа, вследствие верно подмеченных и метко изображенных оттенков, получила общерусское значение» [1].

Статья Писарева была ответом «филистерской журналистике». Статья имела своей целью показать, насколько ничтожны были в эстетическом отношении те произведения, которые противопоставлял революционной демократии «антинигилистический лагерь». Говорить серьезно об идейной концепции романа Писарев не считал нужным по той простой причине, что это значило бы преувеличивать значение романов подобного рода. Он поставил перед собой иную цель: высмеять роман как один из показательных образцов филистер-

---

[1] Библиотека для чтения, 1864, апр. — май, с. 19.

ского «творчества», показать всю его художественную несостоятельность, все его «бессилие и скудоумие», всю его внутреннюю фальшь и литературную беспомощность [1]. Надо сказать, что эту свою задачу Писарев полностью решил.

Писарев показал, как смешон Клюшников в своих попытках превратить пятнадцатилетнего гимназиста Горобца в злонамеренного «нигилиста», как жалок он в стремлении своем изобразить в лице Бронского «демонического» искусителя и, особенно, какой конфуз приключился с автором, вознамерившимся нарисовать добродетельность помещика Русанова.

В статье «Наши усыпители» Писарев показал, что представляют собой «положительные герои» антинигилистических романов: «Все это — образы без лиц, воплощенные нравоучения, кроткие и улыбающиеся бесцветности, похожие до чрезвычайности на Здравосудов и Стародумов старых комедий» (IV, 255).

Писаревская борьба против реакционной беллетристики шестидесятых годов была продиктована защитой интересов революционной демократии. Она сыграла в высшей степени положительную роль, и его оценки «охранителей» прочно вошли в сознание последующих поколений революционеров. Важно отметить, что с писаревской оценкой литературных охранителей перекликается ленинское замечание о гонителях демократии. В статье «Еще один поход на демократию» Ленин писал:

«Больше всего места занимают у г. Щепетева очерки эмигрантского быта. Чтобы найти аналогию этим очеркам, следовало бы откопать «Русский Вестник» времен Каткова и взять оттуда романы с описанием благородных предводителей дворянства, благодушных и довольных мужичков, недовольных извергов, негодяев и чудовищ-революционеров» [2].

С нескрываемой враждебностью относился Писарев к поэтам — представителям «чистого искусства». Среди

---

[1] У Писарева были и другие соображения относительно необходимости перевести весь анализ в чисто эстетическую плоскость. В письме к Благосветлову он писал: «Статья о «Мареве» почти готова. Она написана чрезвычайно политично и наносит Клюшникову и Каткову коварнейшие удары с той стороны, с которой их не защитит никакая цензура... Я никогда еще не писал такой оскорбительной рецензии» (Рус. обозрение, 1893, июнь, с. 820).

[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 22, с. 87.

его работ нет ни одной, которая целиком была бы посвящена кому-либо из «чистых лириков». Если учесть общую направленность критической деятельности Писарева, трудно было бы и ждать специального интереса к творческой деятельности «эстетиков». Но отдельные характеристики и высказывания, разбросанные по разным статьям, рисуют, в общем, ясно отношение критика к школе «чистого искусства». Вопрос о ней Писарев ставил с большой политической остротой. Он всячески подчеркивал, что поэт, чуждающийся больших общественных вопросов и замыкающийся в тесный мир чисто эстетических интересов, делает самое искусство чрезвычайно ограниченным и ничтожным.

«Филистерская» поэзия, как и вся «филистерская» охранительная литература, была для Писарева выражением *реакционных* настроений в самом точном смысле слова. В ней он видел бессильную попытку остановить ход истории, ненависть к социальному прогрессу, вражду к будущему. Он говорит, что «трусливые и тупоумные ненавистники будущего» «стараются уверить себя и других, что будущее совсем не существует, что это все одна фантасмагория, что стоит только топнуть ногою и крикнуть: «аминь, аминь рассыпься!» для того, чтобы все это проклятое будущее исчезло без малейшего следа, и для того, чтобы скверные мальчишки, осмеливающиеся размышлять, тотчас превратились в милых попугаев, повторяющих заданные уроки» (III, 259).

Вторая группа характеристик касалась крупных писателей, которые, по мнению Писарева, отличались общественным индифферентизмом, пытались соблюсти нейтралитет в накаленной атмосфере идейно-политических боев. Отдавая должное художественному мастерству этих писателей, Писарев, однако, сурово и неприязненно оценивал их творчество в целом. Наиболее характерной фигурой среди писателей этого толка в писаревской портретной галерее можно считать Гончарова. Оценка Гончарова не была у Писарева одинаковой на всем протяжении его деятельности. В период сотрудничества в «Рассвете» он напечатал рецензию на «Фрегат „Паллада“» и большую статью об «Обломове» с весьма положительной оценкой творчества Гончарова. В рецензии он писал: «На книгу г. Гончарова должно смотреть не как на путешествие, но как на чисто худо-

жественное произведение»[1]. Вместо научного описания экзотических стран «читатель находит ряд картин, набросанных смелою кистью, поражающих своею свежестью, законченностью и оригинальностью... тонкая наблюдательность автора успела выбрать характеристические черты; творческий талант его соединил эти черты в одно целое, создал из них стройные живые образы»[2]. Так же положительно оценил Писарев и только что опубликованный роман Гончарова «Обломов». Подробно проанализировав главных героев романа — Обломова, Штольца и Ольгу Ильинскую, Писарев подчеркнул, что обломовщина отнюдь не чисто русское явление, а «общечеловеческое», и порождается оно самыми разнообразными причинами.

Суть самого Обломова он увидел в том, что герой романа стоит «на рубеже двух жизней: старорусской и европейской», и не в силах «шагнуть решительно из одной в другую». Общая оценка романа в высшей степени сочувственная: «Редкий роман обнаруживал в своем авторе такую силу анализа, такое полное и тонкое знание человеческой природы вообще и женской в особенности...»[3]

В эпической объективности Писарев видел определяющее свойство художественного дарования Гончарова.

Но если вначале эпическую объективность он рассматривал как положительное явление, то позднее, в разгар боев с либерально-охранительным лагерем и с теоретиками «чистого искусства», он на эту же особенность гончаровского таланта посмотрел совсем по-иному. «Постоянно спокойный, ничем не увлекающийся, романист наш развязно подходит к запутанным вопросам общественной и частной жизни своих героев и героинь; бесстрастно и беспристрастно осматривает он положение, отдавая себе и читателю самый ясный и подробный отчет в мелких его особенностях, становясь поочередно на точку зрения каждого из действующих лиц, не сочувствуя особенно сильно никому и понимая по-своему всех» (I, 198).

Обвинение Гончарова в объективизме, в социально-политическом индифферентизме определило и отношение к отдельным частностям его романов. Отдавая

---

[1] Писарев Д. И. Полн. собр. соч.: В 6-ти т., т. 1, с. 30.
[2] Там же.
[3] Там же, с. 184. 181.

должное его литературному мастерству, Писарев вместе с тем утверждал, что Гончаров лишен был способности охватывать социальные явления во всем их обобщенном значении: «...он чарует нас простотою своего языка и свежею полнотою своих картин; но если вы, по прочтении романа, захотите отдать себе отчет в том, что вы вместе с автором пережили, передумали и перечувствовали, то у вас в итоге получится очень немного. Гончаров открывает вам целый мир, но мир микроскопический; как вы приняли от глаза микроскоп, так этот мир исчез, и капля воды, на которую вы смотрели, представляется вам снова простою каплею» (I, 202). Этот «микроскопический анализ» Писарев связывает с тем, что Гончаров «холоден, его не волнуют и не возмущают крупные нелепости жизни...» (I, 203). Он не видит в Гончарове «ни глубокой мысли, ни искреннего чувства, ни прямодушных отношений к действительности...» (I, 230). Надо отметить, что в ранней статье об Обломове Писарев, в общем, правильно оценил значение этого образа. Теперь же он обвинял Гончарова и в том, что Обломов поставлен лишь в зависимость от своего неправильно сложившегося темперамента и что Штольц не удался писателю. В целом, сумев оценить художественное мастерство Гончарова, Писарев не понял огромной силы и значения его творчества.

Третьей — весьма многочисленной — группой в писаревской литературной галерее являются выдающиеся писатели, не принадлежавшие к лагерю революционной демократии, но сумевшие дать благодаря реалистической и критической направленности своего творчества большой и ценный материал для познания социальных процессов и для решения важных общественных проблем. Наиболее видное место в этой группе писателей занимают Тургенев, Писемский и Л. Толстой.

В статье «Писемский, Тургенев и Гончаров» Писарев признавал, что дорожит в первых двух писателях преимущественно их отрицательным и совершенно трезвым воззрением на явления жизни. В творчестве Писемского он считал преобладающей чертой этнографический, бытовой элемент, в творчестве Тургенева — силу психологического анализа. Оба они для него были крупнейшими представителями гоголевской школы, которая, по его мнению, сыграла наиболее плодотворную роль в истории русской литературы. Скептицизм он считал их величайшей заслугой перед обществом.

О повести Писемского «Тюфяк» он писал в статье «Стоячая вода»: «Эта повесть... очень проста по завязке и при этой простоте так глубоко и сильно захватывает материалы из живой действительности, что все серые и грязные стороны нашей жизни и нашего общества представляются разом воображению читателя» (I, 160).

Искусственность интересов, грубость семейных отношений, неестественность нравственных воззрений, подавление личности — вот что, по мнению Писарева, показал в «Тюфяке» и в других произведениях Писемский. Вначале Писарев полагал, что Писемский по жизненной полноте своих творений стоит выше Тургенева. Однако в дальнейшем именно Тургенев, а не Писемский приобрел особое, необычайно важное значение для Писарева. Писемский опубликовал реакционный роман «Взбаламученное море», охарактеризованный Писаревым как «позорное явление», и потерял свое значение для Писарева. Роман же Тургенева «Отцы и дети» стал для Писарева фактом огромной принципиальной важности.

Роман «Отцы и дети» был напечатан в февральской книжке «Русского вестника» за 1862 год. Сразу же после его появления в мартовских книжках напечатаны были статьи о романе: в «Современнике» — Антоновича «Асмодей нашего времени» и в «Русском слове» — Писарева «Базаров». «Современник» встретил роман резко враждебно. Антонович увидел в Базарове карикатуру на революционную молодежь и обвинил роман в антихудожественной тенденциозности.

«Отцы и дети» были причислены Антоновичем к циклу реакционно-охранительных романов. Тургенева он поставил в один ряд с сочинителем черносотенных пасквилей Аскоченским.

Совершенно по-иному взглянул на тургеневский роман Писарев. Он не отрицал недоверчивого и даже неприязненного отношения автора к главному герою. Но он увидел в романе такую силу художественной правды, столько пытливости, честности и искренности в самом подходе писателя к жизни, что картина получилась неотразимая в своей жизненной убедительности и Базаров, вместо того чтобы быть развенчанным, оказался изображенным во всем своем трагическом величии и благородстве.

Отметив безукоризненно хорошую отделку романа, Писарев заявил: «...все наше молодое поколение с своими стремлениями и идеями может узнать себя в действующих лицах этого романа. Я этим не хочу сказать, чтобы в романе Тургенева идеи и стремления молодого поколения отразились так, как понимает их само молодое поколение; к этим идеям и стремлениям Тургенев относится с своей, личной точки зрения, а старик и юноша почти никогда не сходятся между собою в убеждениях и симпатиях. Но если вы подойдете к зеркалу, которое, отражая предметы, изменяет немного их цвета, то вы узнаете свою физиономию, несмотря на погрешности зеркала» (II, 7).

«Он (Базаров.— *Л. П.*) — представитель нашего молодого поколения; в его личности сгруппированы те свойства, которые мелкими долями рассыпаны в массах; и образ этого человека ярко и отчетливо вырисовывается перед воображением читателя» (II, 8).

Писарев видел в нем реального героя, близкого себе по духу и настроениям.

Презрительное отношение к барам, холодное и скептическое отрицание устоев современного общества, трезвый взгляд на вещи, лишенный всяких черт сентиментальной мечтательности, культ естествознания и вместе с тем чувство одиночества, трагическое сознание отсутствия настоящего поля деятельности — вот что привлекало в Базарове Писарева. Базаров для него был революционером, обреченным из-за «враждебных обстоятельств» на бездействие.

В оценке «Отцов и детей» Писарев проявил прозорливость и смелость. Роман напечатан был в лейб-органе охранительной журналистики — «Русском вестнике». Критик не мог не почувствовать недоверия и опаски в самом отношении писателя к Базарову. И тем не менее Писарев со всей энергией провозгласил, что роман вовсе не является пасквилем на молодое поколение, что в Базарове воплощены важные и типические особенности демократической молодежи и что он заключает в себе огромную притягательную силу и обаяние. Писарев поставил Базарова в связь с Печориным и Рудиным. Печорин отличался сильной волей, но у него не было знаний, Рудин обладал знаниями, но лишен был воли. У Базарова есть и знание и воля. Тургеневский герой, по мнению критика, как бы сливал воедино черты, характерные и для Печорина и для Рудина. Тем самым

Базаров переставал быть чудовищем, неизвестно откуда возникшим, как это изображали охранители. Он становился естественным развитием и продолжением предшествовавших традиций русской культуры. Для Базаровых, утверждал критик, не наступила еще пора практического действия. Он поэтому ограничивает свою революционно-очистительную работу сферой мысли: «...там ничто не останавливает разрушительной критической работы; суеверия и авторитеты разбиваются вдребезги, и миросозерцание совершенно очищается от разных призрачных представлений» (II, 19). Статья об «Отцах и детях» становилась своеобразным страстным манифестом в защиту «новых людей» молодого поколения.

Через два года в статье «Реалисты» Писарев вернулся к образу Базарова. В этой работе он оттенил в своем любимом герое иные черты. Ю. Сорокин в комментариях к сочинениям Писарева (III, 517—520) считает, что изменения в оценке «Отцов и детей» выразились прежде всего в том, что теперь Писарев почти не касается вопроса о субъективном отношении Тургенева к Базарову. Это не совсем верно. В «Реалистах» мы встречаем весьма знаменательные строки. В своем романе Тургенев, по мнению Писарева, обращался к молодому поколению с вопросом: «Что вы за люди? Я вас не понимаю, я вам не могу и не умею сочувствовать» (III, 14). Это почти то же самое, что сказано об отношении Тургенева к молодому поколению в статье «Базаров». Правда, в «Реалистах» Писарев по-иному относится к базаровскому отрицанию искусства. Раньше эту черту он порицал, ныне он ее целиком приемлет. Но если говорить о главных и определяющих отличиях, то выразились они, по-моему, вот в чем. Раньше Базаров был для Писарева «цельной натурой» (II, 40). Теперь критик подчеркивает в нем трагический разлад. «Базаров с первой минуты своего появления,— пишет он,— приковал к себе все мои симпатии, и он продолжает быть моим любимцем даже теперь. Я долго не мог себе объяснить причину этой исключительной привязанности, но теперь я ее вполне понимаю. Ни один из подобных ему героев не находится в таком трагическом положении, в каком мы видим Базарова. Трагизм базаровского положения заключается в его полном уединении среди всех живых людей, которые его окружают» (III, 21). И раньше критик отмечал

одиночество Базарова, но тогда оно не привлекало такого внимания и не было такой определяющей чертой в характеристике персонажа. Почему? С этим связан новый мотив в трактовке Базарова. Раньше Писарев подчеркивал в своем любимце главным образом силу *отрицания*. Теперь он оттеняет в нем жажду любви и *мечту о будущем*.

«И странно и мучительно волнуются и борются в широкой груди Базарова ненависть и любовь, беспощадный, стальной и холодный, судорожно улыбающийся, демонический скептицизм и горячее, тоскливое, порою радостное и ликующее романтическое стремление вдаль, вдаль, но не прочь от земли, а вперед, в манящую, ласкающую, глубокую синеву необозримого лучезарного будущего» (III, 22—23). Любопытно, что тема душевного разлада Базарова, столь импонирующая Писареву теперь, перекликается с мыслями о Гейне. «Почитайте Гейне,— пишет он,— и вы поймете, вы увидите в образах эту ужасную смесь мучительных ощущений, которыми наградило всех мыслящих людей Европы наше общее историческое прошедшее» (III, 23).

Итак, образ Базарова необыкновенно расширяется в своей идейной сущности. В нем выражены разлад, муки и надежды всех мыслящих людей Европы. Напомним, что в это время, в 1864 году, Писаревым все сильнее овладевают идеи социализма. Базаров становится для критика не просто революционным отрицателем, каким он казался ему два года назад. Ныне тургеневский герой ассоциируется с «новыми людьми», которые верят в светлое будущее, в возможность социалистического переустройства общества. Демонический скептицизм для Писарева теперь уже не является единственно привлекательной стороной базаровского типа. Мало того — роман Чернышевского «Что делать?» доказал ему, что, рисуя прежде всего отчужденность Базарова от людей, его одиночество и скептическое отрицание, Тургенев обнаружил известную односторонность, недостаточное знакомство с новыми людьми. Поэтому *положительную* программу Базаровых он не сумел обрисовать. Иное дело Чернышевский: «Он знает не только то, как думают и рассуждают новые люди... но и то, как они чувствуют, как любят и уважают друг друга, как устраивают свою семейную и вседневную жизнь и как горячо стремятся к тому времени и к тому порядку

вещей, при которых можно было бы любить всех людей и доверчиво протягивать руку каждому» (IV, 12).

Таким образом, для Писарева Рахметов явился дальнейшим развитием базаровского типа, дальнейшим углублением и обогащением его сущности. Характерно, что идеи социализма заставили Писарева по-новому взглянуть на Базарова, понять и его силу и его слабость. Несмотря на это, для Писарева он остался спутником на всю жизнь.

Характерна в этом смысле переписка между Тургеневым и Писаревым о «Дыме» в 1867 году. Будучи в Петербурге по дороге за границу, Тургенев хотел установить личные связи с Писаревым, но повидаться с ним писателю не удалось. По совершенно понятным причинам особенно интересовало Тургенева мнение Писарева о «Дыме». Роман был опубликован совсем недавно, и пресса встретила его, в общем, неодобрительно.

Тургенев отлично помнил сочувственное отношение Писарева к его предшествующим произведениям и в особенности к «Отцам и детям», и ему крайне важно было узнать, что думает о новом его романе критик. В письме из Баден-Бадена от 10 мая 1867 года Тургенев писал:

«...Я пробыл в Петербурге так мало времени на возвратном пути из Москвы, что не успел повидаться с вами. Я сожалею об этом — потому что — по разрушении того, что французы называют первым льдом, мы бы, я уверен, если не сошлись бы — то поговорили бы откровенно. Я ценю ваш талант, уважаю ваш характер — и, не разделяя некоторых ваших убеждений, постарался бы изложить вам причину моего разногласия — не в надежде обратить вас — а с целью направить ваше внимание на некоторые последствия вашей деятельности...

Я себе на днях поставил вопрос, какое впечатление произвел «Дым» на вас и на ваш кружок — рассердились ли вы по поводу сцен у Губарева и эти сцены заслонили ли для вас смысл всей повести? По всем до меня доходящим известиям — «Дым» возбуждает чуть не ненависть и презрение ко мне в большинстве читателей; две, три статьи, которые мне удалось прочесть,— в том же духе... я наперед знаю, что не почувствую смущения, если б и вы отозвались неодобрительно, но

приму этот факт к сведению — ибо хотя я, с одной стороны, очень хорошо знаю, что всякий талант, как всякое дерево, знает только те плоды, которые ему приличествуют, однако, с другой стороны, я не делаю себе никаких иллюзий насчет моего таланта — моего дерева — и вижу в нем весьма обыкновенную, едва привитую, российскую яблоню. Во всяком случае, ваше мнение — если оно выскажется и мотивируется, будет для меня интересно» [1].

Писарев ответил Тургеневу очень прямым и откровенным письмом: «Сцены у Губарева меня нисколько не огорчают и не раздражают. Есть русская пословица: «дураков в алтаре бьют». Вы действуете по этой пословице, и я с своей стороны ничего не могу возразить против такого образа действий. Я сам глубоко ненавижу всех дураков вообще и особенно глубоко ненавижу тех дураков, которые прикидываются моими друзьями, единомышленниками и союзниками. Далее, я вижу и понимаю, что сцены у Губарева составляют эпизод, пришитый к повести на живую нитку, вероятно для того, чтобы автор, направивший всю силу своего удара направо, не потерял окончательно равновесия и не очутился в не свойственном ему обществе красных демократов... При всем том «Дым» меня решительно не удовлетворяет. Он представляется мне странным и зловещим комментарием к «Отцам и детям». У меня шевелится вопрос вроде знаменитого вопроса: «Каин, где брат твой Авель?» — Мне хочется спросить у вас: Иван Сергеевич, куда вы девали Базарова? — Вы смотрите на явления русской жизни глазами Литвинова, вы подводите итоги с его точки зрения, вы его делаете центром и героем романа, а ведь Литвинов — это тот самый друг Аркадий Николаевич, которого Базаров безуспешно просил не говорить красиво. Чтобы осмотреться и ориентироваться, вы становитесь на эту низкую и рыхлую муравьиную кочку, между тем как в вашем распоряжении находится настоящая каланча, которую вы же сами открыли и описали. Что же сделалось с этою каланчой? Куда она девалась? Почему ее нет по крайней мере в числе тех предметов, которые вы описываете с высоты муравьиной кочки? Неужели же вы думаете, что первый и последний Базаров действитель-

---

[1] Тургенев И. С. Собр. соч.: В 12-ти т. М.: Гослитиздат, 1953—1958, т. 12, с. 370—371.

но умер в 1859 году от пореза пальца? Или неужели же он с 1859 года успел переродиться в Биндасова? Если же он жив и здоров и остается самим собою, в чем не может быть никакого сомнения, то каким же образом это случилось, что вы его не заметили?.. А если вы его заметили и умышленно устранили его при подведении итогов, то, разумеется, вы сами... отняли у этих итогов всякое серьезное значение» (IV, 424—425).

Тургенев не согласился с аргументацией Писарева и в ответном своем письме остановился на упреках, которые были обращены к нему в связи с образом Базарова.

«Если б вы были короче со мной знакомы, вы бы, вероятно, не сочли нужным прибегнуть к оговоркам: в выраженьях вашего письма нет ничего «оскорбительного» — да и я оскорбляюсь весьма не легко: этим грехом я, кажется, не грешен. Я, напротив, очень рад вашему отзыву и готов установить с вами переписку — так как на личное свиданье близкой надежды не предвидится.

Вам «Дым» не нравится — так же как и почти всем русским читателям; ввиду такого единодушия я не могу не заподозрить достоинств своего детища: но ваши аргументы мне кажутся не совсем верными. Вы напоминаете мне о Базарове и взываете ко мне: «Каин, где брат твой Авель?» Но вы не сообразили того, что если Базаров и жив — в чем я не сомневаюсь,— то в литературном произведении упоминать о нем нельзя: отнестись к нему с критической точки — не следует, с другой — неудобно; да и наконец — ему теперь только можно *заявлять* себя — на то он Базаров; пока он себя не заявил, беседовать о нем или его устами — было бы совершенною прихотью — даже фальшью. «Каланча» эта, стало быть, не годится; ну а кочку я выбрал — помоему — не такую низкую, как вы полагаете. С высоты европейской цивилизации можно еще обозревать всю Россию. Вы находите, что *Потугин* (вы, вероятно, хотели *его* назвать, а не Литвинова) — тот же Аркадий; но тут я не могу не сказать, что ваше критическое чувство вам изменило: между этими двумя типами ничего нет общего — у Аркадия нет никаких убеждений — а Потугин умрет закоренелым и заклятым западником — и мои труды пропали даром, если не чувствуется в нем этот глухой и неугасимый огонь. Быть может, мне

одному это лицо дорого; но я радуюсь тому, что оно появилось, что его наповал ругают в самое время этого всеславянского опьянения, которому предаются именно теперь, у нас. Я радуюсь, что мне именно теперь удалось выставить слово «цивилизация» — на моем знамени — и пусть в него швыряют грязью со всех сторон. Si etiam omnes, ego non. А об Литвинове и говорить нечего... он дюжинный честный человек — и всё тут. Мне было бы очень легко ввести фразу вроде того — что «однако вот, мол, есть у нас теперь дельные и сильные работники, трудящиеся в тишине»,— но из уважения и к этим работникам и к этой тишине я предпочел обойтись без этой фразы; молодежи не нужно, чтобы ей мазнули медом по губам,— я по крайней мере так думаю» [1].

Ответ Тургенева в высшей степени характерен. Слова о том, что о Базарове упоминать в литературном произведении нельзя, по всей видимости, намекали на события 1866 года и на последовавший после каракозовского выстрела цензурный террор. Таким образом, Базарова Тургенев и теперь, спустя шесть лет по выходе «Отцов и детей», продолжал считать революционером. Но еще характернее другое: Тургенев прямо признается, что Базаровы в новых условиях ему плохо известны, и писать о них было бы «прихотью и фальшью». Вряд ли это объяснение могло убедить Писарева. «Дым» для него оказался лишенным серьезного значения потому, что при подведении итогов нет Базарова — одной из главных фигур русского общественного развития, по мнению Писарева.

Писарев собирался написать работу о «Дыме» и намерен был предложить ее Некрасову.

В письме от 6 июля 1867 года Некрасов по этому поводу писал ему: «Я только теперь прочел эту повесть и, находя художественную ее часть, безусловно, прелестною, думаю, что едва ли мы с вами сойдемся во взгляде на другую ее часть — полемическую, или, так сказать, политическую. Тронутые в ней вопросы так важны для русского человека, и тронуты они так решительно, что обязываться напечатать статью о «Дыме», не зная, в чем будет заключаться ее содержание... представляется для меня делом рискованным. Итак

---

[1] Тургенев И. С. Собр. соч.: В 12-ти т., т. 12, с. 376, 377.

если будете писать статью об этой повести, то не имейте в виду помещения ее в сборнике» [1].

Несмотря на этот почти недвусмысленный отказ Некрасова связать себя какими-либо обязательствами в отношении статьи о «Дыме», Писарев писал Некрасову 20 июля:

«Я получил недавно ваше письмо о «Дыме». Я до сих пор еще не принимался за эту работу и теперь, конечно, не примусь за нее до личного свидания с вами. Тогда мы переговорим с вами обстоятельно, увидим, сходимся ли мы или не сходимся, и затем я поступлю сообразно с результатами нашего совещания. А пока я буду заниматься статьями о Лео и Дидро» [2].

Работа о «Дыме» так и не была написана. Возможно, Писарев не сошелся в оценке романа с Некрасовым. Но факт таков, что новая книга Тургенева живо интересовала Писарева, и в своих суждениях он соотносил ее с «Отцами и детьми», а героев ее — прежде всего с любимым Базаровым.

Кто же был прав в оценке романа: Антонович ли, который считал «Отцов и детей» пасквилем и карикатурой, или Писарев, усмотревший в романе большую историческую правду? Некоторые основания для нападок на Тургенева Антонович, бесспорно, имел. Время было тяжелое, на революционную демократию обрушивались карательные меры, реакционный лагерь пустил в ход клевету, инсинуации. В этих условиях «Отцы и дети» могли тоже восприниматься как выступление против революционной молодежи. «Отечественные записки» так и оценивали роман. Журнал увидел в нем явление, аналогичное «Мареву» Клюшникова. Необходимо, однако, отметить, что сами охранители не слишком были довольны романом и даже Катков обвинял Тургенева в симпатиях к Базарову. Если брать всю полемику вокруг «Отцов и детей» в большой историко-литературной перспективе, надо будет признать, что Писарев оказался более дальновидным и более справедливым в оценке книги, чем Антонович. Он не отдал Тургенева филистерам и реакционерам, сумел оценить художественную силу романа и раскрыть его огромную и убеждающую жизненную правду.

---

[1] Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем, т. 11, с. 85—86.
[2] Бирж. ведомости, 1916, № 15945.

В анализе «Отцов и детей» Писарев обнаружил столько критического таланта, психологического чутья и художественного такта, что его статьи о романе до сих пор не утратили своего значения, в то время как статья Антоновича уже имеет лишь историко-литературный интерес[1].

В творчестве Л. Толстого Писарев очень рано сумел подметить силу психологического анализа, его способность раскрывать «диалектику души», как об этом говорил Чернышевский. Уже в статье о рассказе «Три смерти» (1859) Писарев отметил необычайную реалистическую жизненную верность в изображении действительности у Толстого. В дальнейшем Писарев посвятил Толстому две статьи — «Промахи незрелой мысли» (1864) и «Старое барство» (1868). Своей первоначальной высокой оценке толстовского таланта он остался верен и здесь.

В статье «Промахи незрелой мысли» он не ограничился подробным разбором образов Иртеньева и Нехлюдова, но и подчеркнул высокие художественные качества писателя: «В нынешнем году,— пишет он,— вышли сочинения Толстого в издании г. Стелловского. Я прочитал «Детство», «Отрочество», «Юность», «Утро помещика» и «Люцерн»... Меня изумили обилие, глубина, сила и свежесть мыслей. Мне пришло в голову, что критика наша молчала о Толстом или, еще того хуже, говорила о нем ласкательные пустячки единственно по своему признанному бессилию и скудоумию... до сих пор никто не подхватил, не разработал и не подвергнул тщательному анализу то сокровище наблюдений и мыслей, которое заключается в превосходных повестях этого писателя» (III, 140).

---

[1] Характерно, что передовой читатель воспринял Базарова в той революционно-героической интерпретации, которую дал Писарев. «Базаров произвел на меня, — пишет один из старых большевиков С. И. Мицкевич, — сильнейшее впечатление. Воспринят он был мною как герой-борец... Узнав о революционерах из «Нови», я заключил из этих слов, что и Базаров тоже принадлежит к революционной партии...» (Мицкевич С. И. На грани двух эпох. От народничества к марксизму М.: Соцэкгиз, 1937, с. 19—20).

К. А. Тимирязев считал Базарова «положительной», «героической» фигурой на бесцветном поле русских литературных типов, этой бесконечной вереницы нытиков или жуиров» (Тимирязев К. А. Соч., т. 8, с. 174).

В незаконченной статье «Старое барство» он писал, что, изображая быт и нравы русского барства времен Александра I в «Войне и мире», Толстой, возможно, даже сочувствует своим героям. «Но именно оттого, что автор потратил много времени, труда и любви на изучение и изображение эпохи и ее представителей, именно поэтому созданные им образы живут своею собственною жизнью, независимою от намерения автора, вступают сами в непосредственные отношения с читателями, говорят сами за себя и неудержимо ведут читателя к таким мыслям и заключениям, которых автор не имел в виду и которых он, быть может, даже не одобрил бы.

Это правда, бьющая живым ключом из самих фактов, эта правда, прорывающаяся помимо личных симпатий и убеждений рассказчика, особенно драгоценна по своей неотразимой убедительности» (IV, 370—371). Писарев показывает, какой глубокий художественный объективный материал дает Толстой для познания пустоты и ничтожности жизни феодально-аристократической верхушки общества.

И, наконец, к четвертой группе писателей, наиболее горячо встреченных Писаревым, относятся литературно-политические единомышленники, в творчестве которых Писарев видел художественное воплощение своих собственных мыслей и чувств. О Некрасове он писал: «Некрасова как поэта я уважаю за его горячее сочувствие к страданиям простого человека, за честное слово, которое он всегда готов замолвить за бедняка и угнетенного» (I, 196). В поэзии Некрасова он ценил глубокий, яркий и искренний демократизм.

Одна из наиболее горячих статей Писарева, исполненная редкого для него безоговорочного признания, посвящена роману Чернышевского «Что делать?». В своей оценке романа он противопоставляет себя всей русской критике того времени. Полнота и безоговорочность признания романа «Что делать?» Писаревым — факт в высокой мере знаменательный в русской критике шестидесятых годов. Роман встречен был и реакционными и либеральными кругами резко враждебно. Смелая и острая постановка вопроса о новых людях, о женском равноправии, о революции, о коммунизме не могла не вызвать живейшего отклика. Еще в ту пору, когда роман только появился на страницах «Современника», Фет в содружестве с Боткиным написал статью,

направленную против Чернышевского. Статья не была напечатана, но она во многих отношениях знаменательна. Прежде всего Фет и Боткин подчеркивали художественные неудачи романа: «Скудность изобретения, положительное отсутствие творчества, беспрестанные повторения, преднамеренное кривлянье самого дурного тону и ко всему этому беспощадная корявость языка превращают чтение романа в трудную, почти невыносимую работу» [1].

Но — самое главное — авторы считают, что роман ни в коем случае успеха иметь не будет, потому что в русской действительности нет почвы для социалистической пропаганды.

«Укажите хотя на один класс нашего народонаселения, в интересах которого могла бы быть желательна социальная революция...

Вот причины, по которым социализм, несмотря ни на какую свободу печати, никогда не осмелится у нас высказаться во всей своей цинической полноте, а будет, подобно улитке, по временам выставлять свои рожки-щупальца. Только раз, при самом своем разгаре, высказался он всесторонне в романе *«Что делать?»,* и только поэтому мы сочли своим долгом поговорить об этом произведении» [2].

«Библиотека для чтения» утверждала, что роман Чернышевского «вовсе даже не принадлежит к области поэтического творчества...» [3]. Журнал отказывался видеть в нем жизненную правду. «Отечественные записки» сосредоточили все внимание на Рахметове и подчеркнули «несостоятельность его идеалов» [4].

Писарев с полным основанием мог констатировать:

«Дружный ропот негодования пронесся во всей нашей журналистике, когда роман этот увидел свет» [5].

В противовес этому «дружному ропоту негодования» Писарев с сочувствием и без всяких оговорок приветствовал революционные и социалистические идеи романа и признал его высокие художественные достоинства. Почти единодушное враждебное отношение к роману

---

[1] Фет А. А. «Что делать? Из рассказов о новых людях». Роман Н. Г. Чернышевского. — Лит. наследство, № 25—26, 1936, с. 489.

[2] Там же, с. 531.

[3] Библиотека для чтения, 1864, апр. — май, с. 15.

[4] Отеч. зап., 1863, ноябрь — дек., с. 112.

[5] Писарев Д. И. Избр. соч.: В 2-х т., т. 2, с. 384.

Писарев объяснял тем, что никогда еще революционная мысль не заявляла себя на русской почве так решительно и прямо, никогда еще не представлялась она так наглядно и ясно. «Поэтому всех, кого кормит и греет рутина, роман г. Чернышевского приводит в неописанную ярость... И, конечно, они правы: роман глумится над их эстетикой... не скрывает своего презрения к своим судьям. Но все это не составляет и сотой доли прегрешений романа; главное в том, что он мог сделаться знаменем ненавистного им направления, указать ему ближайшие цели и вокруг них и для них собрать все живое и молодое» (IV, 8).

Писарев подчеркивал, что все симпатии автора лежат, безусловно, на стороне будущего; симпатии эти отдаются безраздельно тем задаткам будущего, которые замечаются уже в настоящем. Во имя этого будущего, заключал критик, «он борется со всяким безобразием и преследует иронией и сарказмом все, что бременит землю и коптит небо» (IV, 9).

Роман Чернышевского заставил Писарева пересмотреть вопрос о роли и значении положительного героя в русской литературе. В статье «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова» Писарев со всей категоричностью утверждал, что Инсаров не удался Тургеневу не случайно; это не частная неудача писателя, возможная у всякого. Причина коренится в самих принципах современного передового искусства. Тургенев вознамерился создать героическую фигуру, ему надоели пигмеи, но в жизни материала писатель не нашел, и он создал выдуманную фигуру, в которой нет ничего целостно-человеческого (I, 270—271). Почему так получилось? На это Писарев отвечал почти афористически: «Кто в России сходил с дороги чистого отрицания, тот падал» (I, 271). В статье о романе «Что делать?» Писарев снова вернулся к образу Инсарова и повторил свое прежнее утверждение, что он был неудачной попыткой создать образ «нового человека», то есть положительного героя современности. Базаров явился очень ярким представителем нового типа. Но у Тургенева не хватило материала, для того чтобы разносторонне обрисовать его. Роман Чернышевского знаменателен для Писарева и тем, что «новый тип» в нем «вырос и выяснился до той определенности красоты, до которой он возвышается в великолепных фигурах Лопухова, Кирсанова и Рахметова» (IV, 12).

Чернышевский убедил Писарева, что в искусстве возможно не только «чистое отрицание», что писатель может выразить в полноценных образах свои положительные идеалы, если симпатии художника принадлежат будущему, то есть если он проникся верой в социалистическое переустройство общества.

В сущности, со статьи Писарева и началась та линия восприятия романа как выдающегося произведения русской литературы, которая нашла свое выражение в марксистско-ленинской критике.

4

Обзор критических высказываний Писарева с полной ясностью свидетельствует, насколько неверна концепция, сводящая всю его эстетику только к «разрушению искусства». Принцип социально-политической утилитарности литературы не имел у Писарева узкого, ограниченного и догматического характера. Если не считать ошибок в оценке Пушкина и Щедрина, Писарев умел распознавать друзей и врагов. Он достаточно широко и гибко понимал требование «полезности», которое фигурирует в качестве одного из основных положений «теории реализма». В числе «полезных» писателей у него были Тургенев, Достоевский, Толстой, Помяловский, Некрасов, Слепцов, Чернышевский, Данте, Шекспир, Гете, Шиллер, Гейне, Беранже, Гюго, Диккенс.

Показательны в этом смысле писаревские оценки западной литературы.

Что считал он наиболее ценным в западноевропейском литературном наследии?

Античная древность, несмотря на то что Писарев посвятил ей даже свою студенческую диссертацию, не возбуждала у него особого внимания. Он полагал, что в древности форма преобладала над мыслью: для патрициев Греции и Рима литература была, по его мнению, художественной забавой: «Самая простота греков так богата украшениями, что для нас она кажется напыщенностью» (II, 210). Из всех античных писателей он отдавал предпочтение Гомеру и Тациту. Только их действительно стоит читать в подлиннике. «Все остальные писатели древности не произвели ничего такого, чего бы мы не могли найти у современных

народов в более совершенной и сознательной форме» (II, 210).

Средневековой лирике Писарев придавал большое историческое прогрессивное значение. Роль ее состояла в том, что она содействовала пробуждению личности, подрывала устои аскетического миросозерцания и подготовила идеологические основы для будущего расцвета европейской цивилизации.

К корифеям «современных народов», создателям великих реалистических традиций, Писарев относился как к духовным вождям масс. Настоящий поэт — это «титан, потрясающий горы векового зла». К числу титанов, «величайших умов человечества», он относил Шекспира, Сервантеса, Данте, Байрона, Гете и Гейне. «...Можно быть реалистом,— писал он,— с любовью изучая Шекспира и Гейне как гениальных и великих людей» (III, 62). Историческую заслугу Сервантеса он видел в том, что своим Дон-Кихотом он похоронил рыцарские романы, как одно из последних наследий средневековой жизни. В просветителях XVIII века — Вольтере, Дидро и Гольбахе он ценил силу их отрицания, «страстную цельность» и последовательность всего их душевного строя». «Эти люди не знали никаких колебаний и не чувствовали никогда ни малейшей жалости или нежности к тому, что они отрицали и разрушали» (IV, 223). Он отмечал в них силу, воодушевление и резкую определенность понятий.

Подчеркивая, напротив, «разорванность» и мучительные сомнения Байрона, он называл его вместе с тем «настоящим титаном», «бурной и вулканической натурой».

В ряду первоклассных гениев человечества он называл Шиллера и Гете. Шиллер для него — вдохновенный защитник лучших прав и лучших инстинктов человеческой природы, честный боец своего времени, гениальный мыслитель и поэт.

Несколько сложнее было отношение Писарева к Гете. Он порицал в нем стремление угождать филистерским вкусам немецкого бюргера. Но он все же называл Гете «титаном умственного мира» (III, 99) и подчеркивал, что в деятельности «тайного советника и кавалера фон Гете» заключена была огромная электризующая сила, которая в высшей степени обладала способностью возбуждать умственную энергию. «Гете велик именно только в той сфере, в которой он действовал с

полным и естественным воодушевлением, не стесняясь никакими житейскими расчетами, и этот Гете, великий Гете, совершенно подходит под мое определение поэта и с полною справедливостью может быть назван «полезным» поэтом...» (III, 97).

Помимо «титанов» вроде Шекспира, Байрона и Гете, с большим сочувствием отзывался Писарев о Беранже, Барбье, Леопарди, Шелли. Он их квалифицирует как двигателей общественного сознания. «Эти люди были поэтами текущей минуты; они будили в людях ощущение и сознание настоятельных потребностей современной гражданской жизни; они любили живых людей и возились постоянно с их действительными глупостями и страданиями» (III, 97).

Из «новейших писателей», творчество которых дает материалы для суждения о «современном развитии европейской мысли», Писарев выделял Жорж Санд, Виктора Гюго, Диккенса и Теккерея. Ценил он и творчество Эркмана и Шатриана; их роману «История одного крестьянина в 1789 году» он посвятил специальную статью. Но совершенно особое место в критических высказываниях Писарева занял Генрих Гейне. Гейне был любимым поэтом Писарева. С именем Гейне Писарев в известной мере связывал тот умственный перелом, который произошел в нем в 1860 году. «В 1860 году,— писал Писарев в статье «Промахи незрелой мысли»,— в моем развитии произошел довольно крутой поворот. Гейне сделался моим любимым поэтом, а в сочинениях Гейне мне всего больше стали нравиться самые резкие ноты его смеха. От Гейне понятен переход к Молешотту и вообще к естествознанию, а далее идет уже прямая дорога к последовательному реализму и к строжайшей утилитарности» (III, 139). Писареву принадлежат многие переводы из Гейне [1]. Творчеству великого поэта Писарев посвятил несколько рецензий и большую специальную статью «Генрих Гейне». Подробно говорит он и о нем в таких работах, как «Реалисты», «Посмотрим!» и др.

О Гейне Писарев писал в разные периоды своего идейного развития. В соответствии с общей эволюцией Писарева менялись и его оценки творчества Гейне. Наиболее показательно в этом смысле сопоставление оценки, которая содержится в «Реалистах», с более

[1] Шестидесятые годы, с. 146—151.

поздней оценкой в статье «Генрих Гейне». В «Реалистах», написанных в 1864 году, противоречия и колебания Гейне он приемлет целиком и целиком оправдывает.

Писарев особенно подчеркивает в «Реалистах», что *целостное приятие* Гейне — обязательный методологический принцип для всякого, кто хочет понять поэта. «Если вы развинтите Гейне на части и будете рассматривать каждый кусочек отдельно, то, разумеется, вы получите много великолепных алмазов и большую кучу негоднейших черепков, перемешанных с глиною и с грязью. Тогда вы скажете, что алмазы надо сохранить и оправить в золото, а всю кучу примеси спустить в помойную яму. И таким приговором вы докажете, несомненно, что, читая Гейне, вы смотрели в книгу и видели фигу» (III, 101).

Слова об алмазах и примеси должны были оттенить ту мысль, что говорить о положительном и отрицательном, о прогрессивном и «ретроградном», о полезном и вредном у Гейне нельзя. Его поэзию надо принимать целиком и полностью. Как это бывало с Писаревым и в других случаях, в статье «Генрих Гейне», написанной в 1867 году, он, по существу, полемизировал с тем самым методологическим принципом, который он провозгласил в «Реалистах». Он пишет: «Читатель простит мне мое длинное и утомительное введение, когда узнает, что я намерен говорить о Гейне, обращая при этом особенное внимание на слабые стороны его поэзии... Чем больше пользы может принести нашему умственному развитию чтение Гейне, тем сильнее надо стараться о том, чтобы к массе этой пользы не примешивалась ни одна частица вреда» (IV, 200).

Если в 1864 году Писарев протестовал против того, чтобы отделять «алмазы от примесей», то в 1867 году он именно на этом и настаивает и, в сущности, предпринимает свою работу для того, чтобы эти примеси показать как можно отчетливей. Только отделив алмазы от примесей, только разобравшись в положительных и отрицательных сторонах поэзии Гейне, читатель получит от чтения Гейне действительную пользу. Эта перемена точки зрения находит свое объяснение в общей эволюции Писарева. Если в 1864 году политический дилетантизм Гейне, его колебания в какой-то мере импонировали Писареву, то в 1867 году стремление Писарева к целостному революционному и социалистическо-

му мировоззрению не могло не привести к пересмотру вопроса о непоследовательности, о колебаниях и противоречиях Гейне.

В статье «Генрих Гейне» Писарев сумел понять Гейне не только как своеобразную и яркую поэтическую индивидуальность, но и как знаменательное явление мировой истории. С большой точностью и глубиной отметил Писарев противоречия Гейне — его боевую революционную храбрость и вместе с тем скептическую издевку над «пепельно-серым костюмом равенства», его романтический пафос и уничтожающую иронию, прихотливые изгибы его мысли, всю причудливую и странную игру его художественной фантазии.

Особо остановился Писарев на политическом дилетантизме Гейне. Критикуя этот дилетантизм, он связал его с главной чертой мировоззрения Гейне — с отсутствием цельности и последовательности, с разорванностью сознания. Самую же эту разорванность сознания Писарев рассматривал не как индивидуальные свойства поэта, а как порождение определенной исторической эпохи. Предшественники Гейне — французские революционные просветители — были людьми цельными и монолитными. Они верили в могущество разума и были убеждены в спасительной силе политического переворота. Но французская революция обманула чрезмерные надежды, которые на нее возлагались. Новые социальные противоречия, еще более мучительные, еще более тягостные, пришли на смену старым. Лишь в учении социалистов намечен выход из этих противоречий. Но Гейне жил в ту переходную эпоху, когда на Западе старые верования оказывались изжитыми, а новое учение еще не завоевало умы. Результатом этой переходной эпохи и явились противоречия творчества Гейне, тот мировой разрыв, который прошел «по сердцу поэта». Трагедия Гейне — это трагедия целого поколения лучших людей первой половины XIX века.

Высказывания Писарева о Гейне со всей убедительностью свидетельствуют о том, как широко и правильно, в общем, понимал он большие литературные явления, если им не руководили временные полемические пристрастия. Чувство историзма, умение подойти к писателю с точки зрения большой исторической перспективы — вот в чем заключается сила писаревской статьи о Гейне.

Неутомимо борясь против реакционеров, он умел отделять субъективные политические взгляды писателя от объективной жизненной правды, заключенной в произведениях больших мастеров слова. Писарев вовсе не игнорировал художественной ценности литературного произведения. Но он, если можно так выразиться, решал этот вопрос для себя как некое предварительное условие, которое дает право говорить о жизненной правде писателя.

Суждение об эстетических достоинствах присутствовало в любом его критическом анализе как обязательное и предварительное условие, без чего для него немыслимо говорить всерьез о социальных явлениях, затронутых писателем. И если не считать отдельных ошибок, критические работы Писарева свидетельствуют о тонком эстетическом чутье. Оценки Тургенева, Чернышевского, Толстого, Гейне наглядно подтверждают это.

В критических работах Писарева нашла свое отчетливое выражение *эстетика революционного просветительства*.

Глава четвертая
ЧЕРТЫ МАСТЕРСТВА

1

Силой воздействия на читателя Писарев обязан был не только прогрессивности своих идей, но и своему блестящему мастерству.

Литературной стороне своих работ Писарев уделял самое пристальное внимание. Он всегда отдавал себе отчет в том, какими средствами в *данной* ситуации следует пользоваться, чтобы достигнуть наиболее эффективных результатов. В статье «Реалисты» он упрекал Антоновича в неумелом подходе к «Отцам и детям» Тургенева. В сложной обстановке, подчеркивал он, «требовалось очень много осторожности, хладнокровия и технической ловкости; надо было отказаться от всяких стремлений к пафосу и к полемической декламации. Надо было уяснить себе свою собственную мысль во всех ее мельчайших подробностях и затем изложить ее в полной ясности самыми холодными, бес-

страстными и, пожалуй, даже бесцветными словами» (III, 15).

Антоновича постигла, по его мнению, неудача потому, что он пренебрег этим требованием.

В письме к Благосветлову критик писал по поводу статьи «Школа и жизнь»: «Эту статью надо продумать основательно и написать блистательно... Имея все материалы под руками, я сам как можно лучше обдумаю и распланирую этот сюжет» [1].

В письме к Тургеневу Писарев обронил знаменательные слова: «...я нахожу, что об вас надо писать хорошо и увлекательно или совсем не писать» (IV, 424). Писарев старался писать увлекательно обо всем, за что бы он ни брался.

В своей популяризаторской работе он руководствовался целой системой литературных принципов, довольно тщательно и подробно разработанных им.

Писарев прошел отличную школу публицистического мастерства. Он опирался на разносторонний опыт своих великих предшественников и современников — Белинского, Чернышевского, Добролюбова, которых считал наиболее выдающимися представителями «реализма», то есть того течения, к которому причислял и самого себя. Большое значение имел для него не только с точки зрения идейной, но и в плане чисто литературном Герцен.

Важную роль в выработке литературного стиля Писарева сыграл Генрих Гейне. На всем протяжении своей деятельности Писарев неизменно возвращался к великому немецкому поэту. В «Русском слове» Писарев дебютировал переводом поэмы «Атта Тролль». Знакомство с Гейне он считал поворотным пунктом в своем умственном развитии, естественной ступенью к материализму и к «последовательному реализму». Позднее Писарев мог по-разному относиться к Гейне. В 1864 году в «Реалистах», как указывалось, он требовал целостного приятия творчества Гейне. «...Этого писателя,— утверждал он,— каждый истинный сын XIX века должен любить совсем особенною, нежною, исключительною, почти болезненною любовью» (III, 99). «...Он всех ближе к нам по времени и по всему складу своих чувств и понятий» (III, 100). Писарев требовал, чтобы Гейне принимали целиком, со всей его

[1] Рус. обозрение, 1893, март, с. 363.

непоследовательностью и противоречиями. В 1867 году в статье, специально посвященной поэту, Писарев, напротив, критиковал политический дилетантизм Гейне, отчетливо отделяя слабые стороны его поэзии от того великого и прогрессивного, что было в его творчестве. Но как бы ни относился к Гейне Писарев, одно у него оставалось неизменным: преклонение перед художественным совершенством произведений поэта, перед «удивительным блеском внешней формы, неистощимым богатством картин, прелестью тонкого юмора и неожиданною силою отдельных сарказмов» (IV, 231—232).

В поэтической системе Гейне Писареву были особенно близки сарказм, уничтожающий смех, гневное отрицание, жгучее остроумие, в которых критик видел надежное средство истребления окружающих глупостей и подлостей (IV, 204).

Разве не напомнят читателю отдельные страницы в «Нашей университетской науке» соответствующие места в «Путешествии по Гарцу»? Чтобы обрисовать бессмыслицу гимназического схоластического и бессистемного образования, Писарев прибегает к приему сатирической детализации: «...логарифмы и конусы, усеченные пирамиды и неусеченные параллелепипеды перекрещиваются с гекзаметрами «Одиссеи» и асклепиадовскими размерами Горация; рычаги всех трех родов, ареометры, динамометры, гальванические батареи приходят в столкновение с Навуходоносором, Митридатом, Готфридом Бульонским и нескончаемыми рядами цифр, составляющих неизбежное хронологическое украшение слишком известных исторических произведений гг. Смарагдова, Зуева и Устрялова» (II, 128).

В «Путешествии по Гарцу» Гейне прибегает к этому приему сатирической детализации с парадоксальным сближением самых разнородных явлений: Геттинген «был переполнен педелями, пуделями, диссертациями... прачками, компендиумами, жареными голубями, гвельфскими орденами, церемониальными каретами, головками для трубок, гофратами, юстицратами, релегационсратами, профессорами и всякими чудесами» [1].

А разве портреты писаревских профессоров не напоминают обобщенную характеристику Геттингена: «...жители Геттингена делятся на студентов, профессоров,

---

[1] Гейне Г. Собр. соч.: В 10-ти т. М.; Л.: Гослитиздат, 1956—1959, т. 4, с. 8.

филистеров и скотов, каковые четыре сословия, однако, далеко не строго различаются между собою» [1].

Писареву был близок не только уничтожающий смех Гейне в борьбе с подлостью и глупостью. Близка ему была и другая особенность гейневской манеры — сочетание иронии и сарказма с лиризмом.

Писарев нередко прибегал к поэтическим образам Гейне, применял их к русским условиям, развивал и расширял их сатирическое звучание. Статья «Московские мыслители» открывается ссылкой на Гейне, который в одном из своих стихотворений говорил, что мир может предстать молодой красавицей или брокенской ведьмой, судя по тому, через какие очки на него взглянуть — через выпуклые или через вогнутые. В дальнейшем изложении Писарев широко развертывает гейневскую метафору применительно к условиям русской духовной жизни.

В статье «Генрих Гейне» в основу всей концепции творчества поэта положена замечательная его метафора. Писарев цитирует слова Гейне из «Путевых картин». Говоря о разорванности своего творчества, Гейне восклицал: «Ах, любезный читатель, если ты вздумаешь горевать об этой разорванности, пожалей лучше, что самый мир разорван из конца в конец. Ведь сердце поэта — центр мира; как же не быть ему в настоящее время разорванным? Кто хвалится своим сердцем, что оно осталось у него цело, тот только доказывает, что у него прозаическое, оторванное от всего мира сердце. По моему же сердцу прошел большой мировой разрыв, и в этом я вижу доказательство, что судьба почтила меня высокою милостью в сравнении с другими и сочла достойным поэтического мученичества» (IV, 222). Этот, по выражению Писарева, «смелый поэтический образ» сердца, по которому прошел большой мировой разрыв, стал ключом к пониманию и оценке всей деятельности поэта.

Можно было бы привести и другие факты и стилистические сближения, свидетельствующие о том, насколько родственны были Писареву образы, мотивы, поэтические средства Гейне.

Но из этого вовсе не следует, что Писарев подражал немецкому поэту.

---

[1] Гейне Г. Собр. соч.: В 10-ти т. М.; Л.: Гослитиздат, 1956—1959, т. 4, с. 9.

Не говоря уже о том, что по роду своей деятельности это были разные писатели, мы читаем у Писарева следующие слова:

«Гейне можно и должно изучать, но подражать ему нет, во-первых, никакой надобности, а во-вторых, никакой возможности» (III, 102).

Перед Писаревым стояли свои задачи, и, используя опыт великих мастеров, в том числе и Гейне, он выработал собственную литературную манеру.

2

Забота о литературной художественной стороне не была для Писарева самоцелью. Как и у всякого настоящего писателя, весь комплекс приемов, навыков «технической ловкости» в основе своей имел некие общие предпосылки, некую общую концепцию, в свете которой только и можно понять все частные элементы художественной выразительности.

Каковы эти исходные принципы?

Писарев был прежде всего революционным просветителем. Все его думы и заботы, все его стремления и интересы сосредоточивались на современной действительности, на первоочередных, с его точки зрения, потребностях русской жизни, которая подлежит радикальным преобразованиям. Он изменил ученой карьере ради журналистики только потому, что она приобщала его к потребностям живой жизни. Реальная действительность, живая современность, жгучие и неотложные потребности и интересы сегодняшнего дня — вот исходный пункт всей критической и публицистической деятельности Писарева, о чем бы он ни писал, какую бы даже далекую от современности тему он ни затрагивал.

В коренных преобразованиях жизни просветитель Писарев отводил решающую роль слову, убеждению, мысли. Надо разговаривать с самыми широкими массами читателей, надо сделать идею доступной как можно более широкому кругу людей. В статьях об «Отцах и детях», внушал он Антоновичу, «надо было... говорить со всем русским обществом, а не с личностью Тургенева...» (III, 14). Это обязывает не только к максимальной ясности, это требует и другого важного умения. Необходимо высказать идею как можно рельефней, как

можно более смело, выпукло и броско, довести ее до ее жизненных оснований и применений. В работе об Аполлонии Тианском он подчеркивал, что проповедь античного мыслителя не могла увлечь за собою сердца народа потому, что была слишком холодна и замкнута, слишком спокойна и бесстрастна и мудрость его никогда не опускалась до «малых сих». Писарев стремился писать так, чтобы любимые его идеи завладели читателем, увлекли за собой и разум и сердце его. Отсюда их горячая темпераментность, лиризм, эмоциональная окрашенность его статей, отчетливо выраженное в них субъективное начало.

Любимые идеи можно нести в массы, лишь преодолев рутину прежних представлений, сопротивление современных ретроградов; иными словами, эти идеи можно сделать достоянием «малых сих» лишь в борьбе, в полемике, лишь выставив в смешном и отталкивающем свете носителей ветхозаветной старины. Именно поэтому нет почти ни одной работы Писарева, которая не окрашена была бы в полемические тона, и именно поэтому их отличает боевой задор, дерзкий сарказм, памфлетная острота.

В этой связи нельзя не отметить еще одной особенности. В статьях Писарева всегда подразумевается самый тесный и самый очевидный контакт с читателем, глубочайшее взаимное доверие, которое существует между критиком и его аудиторией. Автор как бы молчаливо исходит из обязательной предпосылки, что читатель верит его слову, его искренности, его авторитету.

И вот в статье «Женские типы» появляется место поистине удивительное. Анализируя героев романов и повестей Тургенева, критик заявляет:

«О Зинаиде Засекиной (из повести «Первая любовь») не скажу ни слова. Я ее характера не понимаю» (I, 266).

Каждый отлично сознает, насколько опасно такое заявление. Если критик не понимает художественного образа, какое право он имеет претендовать на роль наставника и руководителя читателя? Но, во-первых, это место показательно для той искренности, которая всегда присутствует в любой работе Писарева. А во-вторых, оно могло возникнуть только потому, что Писарев был убежден: его суждения в глазах читателя имеют

такой неоспоримый вес, что из этих слов будут сделаны нужные выводы — уж если критик не понял образа Засекиной, стало быть это действительно неудача писателя.

Этот внутренне предполагаемый контакт между критиком и читателем выразился еще в одном приеме, который часто применял Писарев: говорить о себе, о людях своего лагеря словами своих противников.

Об одном из столпов русской охранительной журналистики — «Русском вестнике» — Писарев пишет, что он стоит на положительной почве и крепко упирается в нее ногами: «А мы — что такое? Мы — фантазеры, верхогляды, говоруны... Так куда же нам бороться с „Русским вестником“?» (I, 278). С удовольствием отмечая, какими бранными эпитетами награждают друг друга журналы либерально-консервативного лагеря, Писарев добавлял: «И все это говорит не озорник, не теоретик, не нигилист!» (III, 255). А в статье «Мыслящий пролетариат» он писал, что его и его единомышленников постоянно старались очернить и заклеймить разными ругательными именами: «...их называли свистунами, нигилистами, мальчишками...» (IV, 7).

Писарев безбоязненно пользовался бранными кличками своих врагов, потому что был убежден в сочувствии своей аудитории и знал, что эта брань не может повредить его престижу, а, напротив, способна лишь скомпрометировать самих охранителей.

Как я уже говорил, Писарев всегда учитывал особенности момента, своеобразие темы, характер аудитории, к которой он обращался, внутреннюю цель и задание работы, и в зависимости от этого менялась интонация статьи, даже лексика ее. Но отмеченные выше соображения были теми общими исходными принципами, которые лежали в основе литературной манеры Писарева.

Это можно видеть прежде всего в литературно-критических выступлениях Писарева.

3

Традиционным типом критической статьи, который с особым блеском развил Белинский, была работа, сочетавшая критический анализ текущей литературы с широким и развернутым историко-литературным обзо-

ром. Этот обзор подводил к оценке современных литературных явлений, составлял для них фон и позволял установить место той или иной книги в литературном развитии России. У Писарева таких статей почти не было. Книгу или творчество, которые его заинтересовали, он соотносил не с историей литературы, *а с живой современностью,* с умственными и социальными потребностями времени. Настоящее художественное произведение для него — явление живой жизни, оно само по себе есть свидетельство времени, выражение потребностей и настроений общества; художественные образы становятся как бы частицами самой жизни.

Значит ли это, что критика Писарева была критикой «по поводу», что художественное произведение служило для него лишь предлогом для размышлений о жизни? Отнюдь нет. Мастерство Писарева в том и состояло, что он умел глубоко проникать в самую сердцевину произведения, во внутренний мир, созданный художником, и извлекать из него важные и поучительные уроки и выводы. Вот перед нами статья «Базаров». Начинается она общей художественной оценкой нового романа Тургенева. Затем идет подробный анализ главных героев книги, замечательный своей психологической убедительностью. В ходе этого критического изложения сюжета романа разговор о книге становится как бы *самостоятельным повествованием о жизни,* о ее противоречиях, о задачах мыслящих людей России.

В этом переключении книги в жизненный план важную роль играют два приема. Во-первых, Писарев употребляет то, что можно было бы назвать расширением биографии героя. Писарев как бы домысливает за писателя. Герой представляется в такой мере жизненным, что критик от себя добавляет черты персонажа, которых у самого писателя нет, но которые вполне возможны.

«Базаров — сын бедного уездного лекаря; Тургенев ничего не говорит об его студенческой жизни, но надо полагать, что то была жизнь бедная, трудовая, тяжелая; отец Базарова говорит о своем сыне, что он у них отроду лишней копейки не взял; по правде сказать, многого и нельзя было бы взять даже при величайшем желании, следовательно, если старик Базаров говорит это в похвалу сыну, то это значит, что Евгений Васильевич содержал себя в университете собственными

трудами, перебивался копеечными уроками и в то же время находил возможность дельно готовить себя к будущей деятельности» (II, 9).

Этот прием не так прост и безобиден, как может показаться. Дополнить биографию героя новыми чертами и деталями критик может только в том случае, если он проникся отличным пониманием внутренней сути персонажа, если его домысел не покажется субъективным произволом. Прибегая к этому приему, Писарев как бы подчеркивал глубокую жизненность, типичность персонажа, его широкое общее значение.

Второй прием, которым пользовался Писарев,— это формулировка общих нравственных выводов, которые вытекают из самого сюжета книги и способны придать произведению литературы непосредственную жизненную актуальность. Рассуждая о характерных чертах Базарова, он пишет:

«Люди очень умные поступают иначе; они понимают, что быть честным очень выгодно и что всякое преступление, начиная от простой лжи и кончая смертоубийством, опасно и, следовательно, неудобно. Поэтому очень умные люди могут быть честны по расчету и действовать начистоту там, где люди ограниченные будут вилять и метать петли... Карьеры, пробитые собственною головою, всегда прочнее и шире карьер, проложенных низкими поклонами или заступничеством важного дядюшки» (II, 10).

Подробное выяснение *жизненной основы* произведения, с одной стороны, а с другой — установление той *роли,* которую произведение сможет сыграть, то воздействие, которое оно сможет оказать на самую жизнь,— вот чему подчинены у Писарева приемы критического анализа.

4

Если в анализе настоящих произведений искусства Писарев доказывал их глубокую жизненность в большом и малом — и это являлось с его точки зрения и художественной их оценкой,— то когда он писал о бесталанной реакционной беллетристике, он прежде всего убеждал читателя в том, что она не имеет ничего общего с жизнью, что в ней нет самой элементарной истины, что поступки героя, ситуации, характеры лишены прав-

доподобия и представляют собой плод авторского произвола. И здесь характерна тональность писаревских обличительных статей, направленных против этой реакционной беллетристики. Он писал о ней без возмущения и негодования, ибо такой тон дал бы основание полагать, будто речь идет о чем-то серьезном и угрожающем. Он писал о ней в тоне презрительной издевки.

Писарев был блестящим мастером сатирической публицистики. Он владел в совершенстве всеми ее оттенками — от скрытой иронии и до бичующего сарказма. В полемических целях он прибегал к *ироническому комментарию,* призванному показать, что перед нами не литература, а анекдотический пустоцвет. Показательна в этом смысле его статья «Сердитое бессилие», посвященная антинигилистическому роману Клюшникова «Марево». Писарев подчеркивает, что этот роман даже не карикатура, а нечто вроде каракулей пятилетнего ребенка. Наиболее колоритные сцены и эпизоды он сопровождает издевательским комментарием. Вот один пример. На балу у местного предводителя дворянства в маленьком провинциальном городке разыгрывается сцена, которая должна, по мысли писателя, разоблачить гимназиста Колю, олицетворяющего собой сбившееся с пути молодое поколение. В скобках — комментарий Писарева.

«— Ах! — крикнула одна дама, замотавшись. Русанов подхватил ее, думая, что с нею обморок. Она глядела через плечо; весь зад платья, оторванный от лифа, спустился и открыл белые юбки. (После такого события даме, по-видимому, следовало бы бежать в уборную и поправлять расстроенный туалет. В действительности так всегда и бывает, но в романе г. Клюшникова так случиться не может, потому что тогда трудно было бы понять, зачем рассказан эпизод о разорванном платье. Дама остается в зале, и начинается поучительная сцена, клонящаяся к посрамлению каких-то представителей злого начала.)

— Извините,— бормотал сконфуженный Коля (пятнадцатилетний гимназист, рано развращенный влиянием злых элементов.)

— Медвежонок! (Дама продолжает показывать танцующему обществу свои белые юбки, единственно для того, чтобы поругаться с развращенным мальчиш-

кой, который при этом случае должен обнаружить перед смущенными читателями всю гнусность и закоснелость заблуждающейся молодежи.)

Тот проворчал что-то и пошел было. (Но она все-таки не пошла в уборную.)

— Что такое? — сказала та, подняв носик.

— Я говорю: вольно ж вам такие шлейфы отращивать, что ходить нельзя.

— Да как вы смеете? дерзкий мальчишка! (Да уведите же вы ее, ради бога, в уборную и вразумите ее там, что в порядочном обществе дамы не ругаются за случайную неосторожность. Наступивши ей на платье, Коля сконфузился и сказал: «извините!» Чего же ей еще от него хочется? Называя его медвежонком, она сама напрашивается на дерзость.)

— А вы синица долгохвостая! (Ну вот, раздразнила ребенка, он и обругал ее.)» (III, 221—222).

В таком тоне передает Писарев другие эпизоды. Зачем он это делает? Писарев так определил свой замысел:

«Если вы прочтете сцену без внимания, то вы не увидите в ней ничего особенного: гимназист оторвал платье, поругался с почтенными людьми, убежал из комнаты — все это вещи возможные, нисколько не нарушающие законов природы. Но прочтите ту же сцену со вниманием, и вы увидите в ней поразительную бестолковщину. Все действующие лица — какие-то куколки на пружинках; все говорят совсем не то, что они могут и должны говорить по своему положению и характеру; ответы не вяжутся с вопросами; каждый городит свою собственную чепуху, и вы никак не можете понять, какая побудительная причина выталкивает из него столь неожиданные и неправдоподобные звуки» (III, 229).

Как мы заметили, и в этом случае Писарев переводит повествование в чисто житейский план. Это позволяет ему показать всю бессмыслицу книги. Если она так бестолкова в элементарных частностях, можно ли ее считать всерьез свидетельством каких-то значительных общественных явлений?

Иногда, впрочем, Писарев, когда речь заходила о реакционной литературе, прибегал и к другим приемам. Он обнажал логическую и нравственную несостоятельность позиции писателя, с презрением отбрасывая

всякие софизмы и увертки, показывая истинный лик и истинный смысл его поведения, и подводил читателя к некоему общему выводу, уничтожающему по своей резкой определенности.

В статье «Прогулка по садам российской словесности», касаясь самых разнообразных проявлений литературно-политического консерватизма, Писарев затронул эпизод с антинигилистическим романом Стебницкого (Лескова) «Некуда». Известно, что роман вызвал возмущение литературной общественности и потому, что в действующих лицах многие усмотрели карикатуру на живых и реальных людей. Лесков оправдывался тем, что это сходство чисто *внешнее*. С убийственной силой Писарев доказал несостоятельность позиции писателя.

«Заметьте, во-первых, что он постоянно говорит о *внешнем*, о чисто внешнем сходстве и что он ни разу не употребляет слова *«случайное* сходство», того единственного слова, которое сразу могло бы совершенно оправдать его». «...Представьте себе следующую штуку: г. Стебницкий записывает ваши приметы, особенности вашего костюма и вашей походки, ваши привычки, ваши поговорки; он изучает вас во всех подробностях и потом создает в своем романе отъявленного мошенника, который всеми *внешними* признаками похож на вас как две капли воды. А между тем вы — честнейший человек и провинились только тем, что пустили к себе в дом этого подслушивающего и подсматривающего господина» (III, 261).

Слова о «подслушивающем и подсматривающем господине» содержали намек на реальные события: Лесков в доме писательницы Евг. Тур встречался с некоторыми людьми, которых он затем изобразил в романе. Но здесь даже не это важно. Сказанные как будто вскользь слова о подслушивающем и подсматривающем господине превращали автора в полицейского осведомителя. Я оставляю в стороне вопрос, в какой мере был справедлив литературный приговор Писарева. Мне хотелось только показать, какими разнообразными средствами пользовался он в литературной борьбе и какие неотразимые удары наносил он противникам демократической литературы.

В лучших своих статьях Писарев умел мастерски извлекать из ситуации или образа всю их сатирическую

«энергию», все их возможности до конца. Блестящим примером такого развертывания внутренних потенций сатирического образа может служить статья «Московские мыслители», посвященная критическому отделу «Русского вестника» Каткова. Прежде всего системой прозрачных намеков автор дает понять читателю, что развить всю аргументацию в полемике с журналом, который находится под покровительством властей, он не может. Любопытно присмотреться, какими тонкими и бьющими без промаха приемами достигает этого критик. Он говорит, что, сражаясь с «Русским вестником», он находился бы в самом невыгодном положении. Журнал может развернуть во всем блеске свое исповедание веры. «А я? Что бы я ответил на все эти золотые речи? Я чувствую, что у меня оборвался бы голос при первых моих попытках оправдаться или защищаться» (I, 278).

Итак, у критика *оборвался* бы голос при первых попытках защитить свои взгляды. Но Писарев не довольствуется намеком. Он расширяет и уточняет его: «Повторяю вам, у меня оборвут голос в ту самую минутку, когда я попробую основательно возражать мнениям «Русского вестника» (I, 278).

В первом случае Писарев говорит, что у него *оборвался* бы голос. Но это можно понять по-разному. Голос может оборваться и от недостатка аргументов и от страха. Но когда наряду с «оборвался» Писарев вводит глагол *оборвут,* все становится ясным. Противнику «Русского вестника» закроют рот, его насильственно заставят замолчать — вот почему он не может по-настоящему полемизировать с казенным журналом.

Так возникает тема полицейских нравов и полицейского журнала, приспособленного к этим нравам. Тема эта развивается и наполняется новым содержанием.

Писарев воспользовался цитатой из статейки Каткова, в которой «Русский вестник» неосторожно обнажил свою истинную суть, свои цели и свой нравственный кодекс:

«Мы не откажемся также,— писал журнал,— от своей доли полицейских обязанностей в литературе и постараемся помогать добрым людям в изловлении беспутных бродяг и воришек; но будем заниматься этим *искусством не для искусства*, а в интересе дела и чести» [1].

---

[1] Рус. вестник, 1861, янв., с. 483—484.

Это глуповатое в своей откровенности, опрометчивое заявление «Русского вестника», ополчившегося против революционной журналистики, было использовано Писаревым с беспощадным сарказмом. Опираясь на слова Каткова, он создал образ литературного жандарма, «хожалого». Писарев иронически заявил о полном своем сочувствии журналу: «...великие истины понятны и доступны каждому, начиная от развитого деятеля науки и кончая простым, бедным тружеником; ловить беспутных бродяг и воришек из любви к искусству не согласится не только редактор «Русского вестника», но даже и простой хожалый; даже и тот понимает, что этим искусством надо заниматься в интересе дела, т. е. чтобы получать казенный паек и жалование, или в интересе чести, т. е. чтобы дослужиться до унтер-офицерских нашивок» (I, 279—280).

Сближая «Русский вестник» с рядовым полицейским, Писарев отдает городовому все нравственные преимущества: «...бедный хожалый, не привыкший группировать явления и сортировать их по существенным признакам, никогда не дерзнул бы подумать, что между ним и редактором ученого журнала есть так много общего» (I, 280).

Без единого бранного слова Писарев создает емкое сатирическое обобщение, убийственный образ, превращает «Русский вестник» в литературную охранку, а в его нравах и приемах подчеркивает характерные признаки полицейского учреждения. Слова о «деле» и «чести» применены Писаревым для того, чтобы ярче обрисовать продажность катковского журнала.

5

Среди работ Писарева примечателен жанр портрета. Критик рисует своего героя во весь рост, создает многогранный и разносторонний образ писателя или общественного деятеля. Для своих портретов он избирал такие фигуры, которые олицетворяли широкие и знаменательные исторические явления. Таков портрет Гейне: в нем Писарев увидел воплощение целой полосы мировой истории, целого поколения людей. В гораздо меньших масштабах, но и в данном случае выражением целого комплекса умонастроений были для Писарева Киреевский и Аполлон Григорьев. Киреевского Писарев

назвал русским Дон-Кихотом. Статья Писарева о нем под таким названием — это скорее психологический этюд. Писарев рисует образ человека, который не удовлетворен жизнью, ищет идеала и, не находя его в действительности, живет в воображаемом мире несбыточных иллюзий. Но и в этом психологическом этюде прорываются памфлетные элементы: «...Киреевский был плохой мыслитель,— он боялся мысли; Киреевский никуда не подвинул русское самосознание... его статьи никогда не производили впечатления... пользы Киреевский не принес никакой, и если последующие поколения по какому-нибудь чуду запомнят его имя, то они пожалеют только о печальных заблуждениях этого даровитого человека» (I, 321).

В конце статьи Писарев дает обобщающую образную характеристику Киреевскому и славянофильству в целом, основанную, как это часто у него было, на литературных реминисценциях.

Славянофильство есть русское донкихотство, а Киреевский его паладин. Он «сделался рыцарем печального образа, подобно незабвенному Дон-Кихоту, любовнику несравненной Дульцинеи Тобозской» (I, 337).

В статье «Русский Дон-Кихот» перед Писаревым стояли психологические задачи, памфлетный элемент присутствовал в ней в самой незначительной степени. В других портретах этот элемент был выражен ярко и отчетливо.

Памфлетными красками обрисованы славянофилы в статье «Прогулка по садам российской словесности». Писарев высмеивает их пышную фразеологию, их ребяческую восторженность, их необузданный идеализм, их приверженность отжившему, их тоскливое сознание своей ненужности и своего поражения. Делается это в тоне презрительной иронии. Он цитирует отрывок из воспоминаний Аполлона Григорьева, где речь идет о «пророческих речах» на попойках в кругу «Москвитянина», о том, как пламенно верили единомышленники Григорьева в свое дело, как сознательно шли они тогда «к великой и честной цели». Эти риторические восклицания Писарев сопровождает холодной, скептической фразой:

«Ну-с! И благополучно вы изволили дойти? И к чему же вас привело ваше сознательное хождение к великой и честной цели?» (III, 257).

В этом обескураживающем вопросе отразилась ненависть Писарева ко всякой риторике вообще, и в особенности к риторике славянофилов с их идеями, которые, по его мнению, действовали на народ, как опиум или гашиш.

С замечательным мастерством нарисована Писаревым целая галерея сатирических портретов в очень своеобразной статье «Наша университетская наука». Статья эта по своему внутреннему заданию носит научно-методический характер. В ней ставится вопрос об устарелых принципах преподавания, о необходимости связи высшей и средней школы с реальными потребностями России. Но все эти соображения вынесены в конец статьи в качестве выводов, в большей же части она развита как автобиография, как повествование о школьных и университетских годах автора, о товарищах, окружавших его, о профессорах и наставниках. Это тоже характерная для Писарева особенность — стремление внести в свои публицистические работы личный, субъективный, автобиографический элемент, вести разговор с читателем от своего имени.

Даже в пределах одной статьи Писарев варьирует приемы, создает разные типы сатирического портрета. Вот перед нами профессор истории Касторский, которого Писарев изобразил под именем Креозотова. В его обрисовке использованы приемы гротеска, преувеличения, шаржа. Правда, следует сказать, что, по-видимому, прототип дал для этого все основания. Касторский был известен своей бесцветностью и бездарностью. Над Креозотовым, отмечал Писарев, смеялись в университете все — от профессоров до сторожа, который снимал с него в сенях шубу или пальто. «Служебное усердие сопровождало Креозотова на лекцию и вместе с ним садилось на кафедру; профессорский пафос его был разнообразен, как сама природа; он кряхтел от душевного напряжения, он изнывал и становился певучим, когда герои его страдали или сходили в могилу; он откидывался на спинку кресла, уводил рот в сторону и придавал своей красной физиономии шаловливое выражение, когда его героини спотыкались на пути добродетели и когда, таким образом, игривый эротический анекдот прерывал собою величественное течение исторической жизни» (II, 138).

Любопытно, как Писарев обыгрывает внешние черты, лекторскую манеру Креозотова, повторяя одну и ту

же деталь. Писарев отмечает, что ученая деятельность профессора закончилась после того, как он опубликовал какое-то сочинение по славянской мифологии; выпустив его в свет, Креозотов «весь ушел в свои синие тетрадки и все свои духовные силы посвятил *кряхтению* и мимическому искусству» (II, 138). Но вот Креозотов стал читать курс истории древней географии: «Что это такое было — этого я и выразить не в состоянии. Тут уже не было ни героических смертей, ни эротических грехов, ни мимического искусства. Осталось одно кряхтение» (II, 139).

От всей профессорской учености осталось одно кряхтение! Так заключительным штрихом Писарев завершает портрет этого курьезного представителя официальной науки, у которого была одна всепоглощающая цель — выслуга «в пенсион полного оклада жалованья» (II, 138).

Полон ядовитой иронии портрет приват-доцента Кавыляева (под этим именем выведен Н. Д. Астафьев): «Он молод летами, но велик своими достоинствами. Уступая Креозотову в эрудиции и мимической виртуозности, он далеко превосходит его утомительностью лекций» (II, 143). Если Креозотов в изображении Писарева просто анекдотичен, то презрительное отношение к Кавыляеву находит свое объяснение в характере его научной деятельности. «Руководителем Кавыляева был историк реформации Мерль д'Обинье... На этот раз все было одинаково хорошо. Достоинство выбора соответствовало достоинству изложения. Минуя множество замечательных европейских историков, наш приват-доцент отыскал себе родственную душу в райке исторической литературы. Этот Мерль д'Обинье оказался протестантским пиетистом и мистиком» (II, 144). Реакционная суть и вульгарное убожество деятельности Кавыляева подчеркнуто в метафоре — «раек исторической литературы», то есть задворки науки.

Сложнее обрисован профессор Иронианский, в лице которого Писарев изобразил историка М. М. Стасюлевича. Вначале он дан даже с симпатией. Но тут же, однако, накладывается штрих, настораживающий читателя: в Иронианском заметно профессорское щегольство, умственная кокетливость, постоянное усилие говорить остроумно и изображать цивилизованного европейца, «трактующего» как равный с равными с генерала-

ми и министрами ученого мира. Предостережение реализуется в дальнейшем изложении. Писарев прибегает к очень характерной детали. Ради щегольства Иронианский называл Маколея *Мэкаулей.* Дальше оказывается, что профессор для своих «блестящих лекций» пользовался чужими источниками: «Павлиньи перья взяты напрокат, да еще без спросу» (II, 147). Так повержен еще один кумир академического Олимпа. И, наконец, профессор Телицын (под этой фамилией выведен историк русской литературы М. И. Сухомлинов), в котором Писарев видит много хорошего, большие знания, любовь к студентам. Но это — либеральный фразер. Он любит заканчивать свои лекции фиоритурами, которые не изливаются из глубины души, а заготовлены хладнокровно заранее, в расчете на театральный эффект. «Театральность» этих фиоритур подчеркнута у Писарева таким сравнением. Разве станете вы, говорит он, упрекать слезливого человека, который, отправляясь на чьи-либо похороны и находясь при выезде из своей квартиры в самом *веселом* расположении духа, все же набьет карманы своего сюртука носовыми платками? Будь он в самом отличном настроении, он знает, что все равно расплачется.

Однажды Телицын закончил лекцию словами Беранже: «невежество — рабство, знание — свобода». Эффект вышел оглушительный. «...А все отчего? — заключает Писарев.— Оттого, что в сюртуке Телицына лежали носовые платки» (II, 148).

Каков же общий смысл имела вся эта галерея сатирических портретов? Образность в художественной литературе и в публицистике выполняет различные функции. Когда мы говорим о литературных особенностях Писарева, о его мастерстве, это вовсе не значит, что в его лице мы имеем некое подобие Тургенева, Гончарова или Писемского. Художественные средства у романиста и публициста могут быть иногда одинаковыми по своему существу — и тот и другой может пользоваться всеми изобразительными средствами языка, и у того и другого могут быть элементы портретной живописи и т. д. Но в характере использования этих средств будет существенное различие. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что публициста в этом случае отличает *осознанность логического, идейного задания.* «Идея прежде всего»,— восклицал Писарев. Все средства об-

разности используются публицистом как иллюстрация к заданному тезису; самостоятельного, самодовлеющего значения они не имеют. Они нужны ему для того, чтобы сделать идею доходчивей, зримей, рельефней. Конечно, у художника в этом плане дело обстоит по-иному и гораздо сложнее.

Итак, для чего же понадобилась Писареву эта серия портретов?

Сам он ответил на этот вопрос весьма отчетливо. Заканчивая характеристику Иронианского, который заимствовал ученость из чужих рук и ухитрился перепутать медные колонны с железными статуями, Писарев заключает: «...эти жрецы науки, тайно переводящие с французского и неудачно переводящие с немецкого, взирают с высоты величия на литераторов и журналистов, как на дилетантов, не способных удовлетворить серьезным умственным требованиям общества» (II, 147).

Иронианские третировали Чернышевского, Писарева, Добролюбова, Белинского, они именовали их журнальными рыцарями, верхоглядами, «свистунами». Писарев показал, что же на самом деле представляли собой дипломированные жрецы академической официальной науки. И второй вывод сформулирован еще шире и отчетливей: «Находите ли вы, что обновление России будет совершаться быстро и радикально, если десятки тысяч Телицыных будут рассеяны на всех поприщах нашей общественной деятельности?» (II, 150).

Разумеется, уже в самой постановке вопроса заключен был ответ. Креозотовы, Кавыляевы, Иронианские и Телицыны потому заслуживают презрительной насмешки, что они не нужны России и не способны участвовать в быстром и радикальном обновлении страны.

Так Писарев добивается слияния образного раскрытия жизни с отчетливо сформулированным логическим ее анализом.

Эта черта ярко видна и в тех случаях, когда Писарев прибегает к обобщенному сатирическому портрету. В «Нашей университетской науке» речь шла о конкретных лицах. Но у Писарева были и не персонифицированные, обобщенные сатирические портреты. Таков образ «проницательного читателя» из романа «Что делать?». Писарев вслед за Чернышевским рисует в нем олицетворение рутины, реакции, интеллектуального застоя.

Замечателен в статье «Подрастающая гуманность» блестящий портрет либерала.

Анализ повести Слепцова «Трудное время» предварен язвительной характеристикой либерала. Либерализм — это либо сознательное шарлатанство, сознательный обман, опошление больших и значительных идей, либо самообман. И в том и в другом случае он достоин осмеяния и презрения. «Во всех наших городах и почти во всех наших селах уже томятся, изнывают, лепечут, грациозничают и миндальничают тысячи тщедушных субъектов, в которых все почтенные европейские либералы, от графа Росселя до Юлиана Шмидта, будут принуждены узнать своих младших братцев, еще робких и неопытных, но уже способных выводить *тоненьким дискантом некоторые модуляции общелиберального мяуканья*» (курсив наш. — *Л. П.*) (IV, 50). Вся мера презрения к опытным мастерам либерального обмана, понаторевшим в «школе балансирования, мистификаторства и самоуверенного переливания из пустого в порожнее» (IV, 50), выражена в таком сравнении: главная обязанность либерала, как известно, состоит в том, чтобы заявлять о своей безграничной преданности великим идеям, «которые возбуждают в нем почти такие же чувства, какие *персидская ромашка возбуждает в клопе*» (курсив наш. — *Л. П.*) (IV, 50). Что же касается простосердечных либеральных простаков, то они не замечают, что их усилиями «знамя великих идей водружается над кучей сора» (IV, 51).

Для того чтобы еще рельефней подчеркнуть противоречие между великими идеями и «неистребимыми поползновениями... мелкой душонки» (IV, 51) либерала, Писарев сравнивает его со смиренной коровой, которую вздумали украсить хорошим кавалерийским седлом. Вся система сравнений, которыми пользуется Писарев, создает отталкивающий и смехотворный образ ничтожного существа, которое силится играть непосильную и не свойственную ему роль.

6

Писареву в высокой степени претила всякая риторика, пышнословие, высокопарная декламация. Помимо индивидуальных особенностей критика, его личных вкусов и пристрастий, это находит свое объяснение в *отри-*

цательном направлении его деятельности, в том, что он видел свою задачу в расчистке почвы от всякого хлама. Пафосу он предпочитал сарказм, иронию, насмешку. Значит ли это, что Писареву совершенно чужда была патетика, открытое выражение чувства, повышенно эмоциональный стиль? Отнюдь нет. Но пользовался он им редко и только в тех случаях, когда выражал свои социальные *идеалы*. Так было в его статье «Мыслящий пролетариат»: анализ романа «Что делать?» превратился, по существу, в своеобразную исповедь «нового человека». Ее нельзя назвать критическим разбором в строгом смысле слова. Даже по своей интонации она никак не подходит к этому жанру. Статья написана в эмоционально-экспрессивном, патетическом тоне. Субъективная окрашенность, обычно присущая статьям Писарева, здесь перерастает в подчеркнуто выраженную лирическую исповедь, автобиографический характер которой очевиден. Вот, например, как Писарев говорит об эгоизме «новых людей». Этот эгоизм уже выступает как выражение революционного самопожертвования. Автор пишет, что молодость сохраняется в том человеке, который отдал всего себя любимой идее: «Кому удалось это сделать, о том нечего жалеть, *если даже молодость его* прошла в суровом труде, вдали от *дорогих и близких людей* (курсив наш. — *Л. П.*), без наслаждений, без объятий любимой женщины» (IV, 19). Автобиографический характер этого лирического отступления не подлежит сомнению.

С большой и сдержанной внутренней энергией рисует Писарев портрет революционера — человека подвижнической жизни и трагической судьбы. «Доля их кажется большинству незавидной, но они не могли бы по натуре своей переменить ее. Из них вышли люди, которым досталась слава геройских страданий, гонений неутомимой, ненасытной ненависти» (IV, 7—8).

В статье «Реалисты» Писарев с подъемом писал *о титанах любви*, о вождях народных масс.

В памфлете о Шедо-Ферроти Писарев соединял острый и открытый сарказм с патетической проповедью революции. Он говорил о мнимом либерализме Александра II: «Нет того квартального надзирателя, нет того цензора, нет того академика, нет даже того великого князя, который не считал бы себя умеренным либералом и сторонником мирного прогресса» (II, 120).

Но этот либерализм, который одинаково присущ квартальному надзирателю и великому князю (заметьте, как повышает Писарев чиновный ценз либерализма), уже достаточно показал себя. С открытым возмущением развенчивает Писарев миролюбие этих либералов, их истинные и кровавые подвиги. Обо всем этом он говорит уже не в тоне насмешки, а гневно, с горечью и негодованием. И столь же открыто звучит революционный вывод в конце памфлета. Речь его приобретает характер высокой *ораторской* патетики.

«Посмотрите, русские люди, что делается вокруг нас, и подумайте, можем ли мы дольше терпеть насилие, прикрывающееся устарелою фирмою божественного права. Посмотрите, где наша литература, где народное образование, где все добрые начинания общества и молодежи. Придравшись к двум-трем случайным пожарам, правительство все проглотило; оно будет глотать все: деньги, идеи, людей, будет глотать до тех пор, пока масса проглоченного не разорвет это безобразное чудовище» (II, 125—126).

7

Писарев стремился разнообразить жанровые формы публицистических произведений, напряженно искал новые средства художественного выражения. Характерна в этом смысле сатирическая миниатюра, направленная против Каткова. Она была опубликована в «Русском обозрении» [1] в виде письма, адресованного Благосветлову из крепости. На самом деле это не письмо, а законченное художественное произведение, которое, по-видимому, должно было быть под заглавием «Катковиада» напечатано в «Русском слове». Однако ни в журнале, ни в Собрании сочинений оно не было помещено [2].

Суть вещи состояла в следующем. Газета Каткова «Московские ведомости» в одном из своих выступлений выразила крайнее огорчение и недовольство тем, что правительство субсидирует газету «Голос», выступаю-

---

[1] Рус. обозрение, 1893, дек., с. 932—935.

[2] См. об этом: «Две статьи Д. И. Писарева» — публикация Ф. Ф. Кузнецова в кн.: Из истории русской журналистики. М.: Изд-во МГУ, 1959, с. 222—231.

щую против реакционной журналистики. Писареву это дало прекрасную возможность снова напомнить читателю о продажности и лакейском рвении Каткова, недвусмысленнно требовавшего вознаграждения за все свое усердие.

«...Мы не желали бы,— писали «Московские ведомости»,— чтобы направления, противные и враждебные нашему, получали ход через правительственную поддержку и чтобы мы подвергались поруганию на счет русского Государственного казначейства»[1]. По этому поводу Писарев восклицал: «Этот величественный стон «Московских ведомостей», это краткое повествование о выдержанных страданиях, эта мужественная готовность выносить удары судьбы и людей, но только не русского Государственного казначейства,— поражают меня так глубоко, что я считаю своею священною обязанностью обратиться немедленно ко всем поэтам русской земли, известным и неизвестным, с убедительною просьбой превратить вышеописанные слова «Московских ведомостей» в героическую поэму, заключающую в себе значительное количество песен или рапсодий. Будущая поэма, под заглавием «Катковиада», должна быть написана по следующему плану, который дали сами же „Московские ведомости“»[2].

И дальше идет «наметка» тридцати семи рапсодий.

Лейтмотивом звучат в них жалобы на черную неблагодарность государственного казначейства, причинившего Каткову такие страдания. Вот некоторые из «рапсодий»:

«...Рапсодия 21-я.— «Московские ведомости» подвергаются поруганию на счет русского Государственного казначейства.

Рапсодия 23-я.— «Московские ведомости» страдают.

Рапсодия 26-я.— Русское Государственное казначейство на признание «Московских ведомостей» не обращает никакого внимания.

Рапсодия 27-я.— «Московские ведомости» оплакивают заблуждение русского Государственного казначейства.

Рапсодия 28-я.— Неблагодарные соотечественники смеются над «Московскими ведомостями».

---

[1] Рус. обозрение, 1893, дек., с. 933.
[2] Там же.

Рапсодия 35-я.— «Московские ведомости» страдают за сценою.

Рапсодия 36-я.— Русское Государственное казначейство коснеет в своих заблуждениях.

Рапсодия 37-я.— «Московские ведомости» предаются забвению» [1].

«Но кто же, кто возьмется за это великое предприятие,— спрашивает критик,— и кто достоин сделаться его бессмертным исполнителем?» Иронически характеризуя возможных авторов «Катковиады», Писарев упоминает одного из охранителей, который утверждал, что «нигилист уважает корову, как дальнюю родственницу...» [2]

«При сем удобном случае,— замечал Писарев,— я напомню читателю, что Чичиков, в разговоре с генералом Бетрищевым, уже давно описал самыми яркими красками, каким образом *дальние родственницы нигилистов* просят себе поощрения. «Высунет,— говорил Чичиков,— морду и мычит: на, мол, погладь, погладь!» — Надо иметь в груди каменное сердце, чтобы устоять против столь убедительного и трогательного приглашения. Отчего же, в самом деле, и не погладить?» [3]

Сравнение Каткова с коровой, которая просит себе поощрения, выражало всю меру презрения к подобострастию реакционной прессы. Что касается жанровых особенностей «Катковиады», то они показательны для стремления Писарева испытать свои силы в том жанре, который мы сейчас назвали бы «маленьким фельетоном».

8

Мы говорили выше о жанрах критической статьи, памфлета, прокламации, сатирического портрета, «маленького фельетона» у Писарева. Необходимо к этому добавить обширную разновидность его литературной работы — популяризацию научных знаний. Этому виду литературной деятельности Писарев придавал поистине огромное значение. Он мечтал о том времени, когда художественная литература и наука сольются в единое

---

[1] Рус. обозрение, 1893, лек., с. 934—935.
[2] Там же, с. 935.
[3] Там же.

целое. Это именно в связи с работой популяризатора им сказаны были очень ответственные и значительные слова: «Популяризатор непременно должен быть художником слова...» (III, 131).

Он не раз возвращался к вопросу о том, каким требованиям должна отвечать подлинная высокохудожественная популяризация. Работы этого рода должны читаться с увлечением, они требуют высокого и отшлифованного мастерства, честности, глубоких знаний, понимания всей ответственности перед читателем и перед наукой. Можно преподнести научные знания весело, остроумно, живо, можно прибегать к различным приемам литературной занимательности, но ни под каким видом нельзя допускать ни малейшего посягательства на то, что составляет жизнь и смысл идеи, которую надо донести до читателя без искажений и утаек. Иначе автору грозит опасность превратиться в литературного промышленника и унизить науку до проституции. Писарев не уставал повторять: для художника, для ученого, для публициста, для фельетониста существует одно великое и общее правило — «идея прежде всего» (III, 133). Кто забывает это правило, тот превращается в презренного паразита. Таков исходный пункт писаревских представлений о долге популяризатора.

К этим общим предпосылкам он добавлял две главные особенности, которые отличают популярное изложение от чисто научного. Популярное изложение не допускает в течении мысли той быстроты, которая уместна в чисто научном изложении, то есть популяризация требует подробного, неторопливого, обстоятельного рассказа. И второе: популярное изложение должно избегать всякой отвлеченности и подкрепляться «осязательными фактами» и «частными примерами» (III, 134). Иными словами, Писарев заботился о доходчивости, о доступности, о наглядности популярного изложения.

Этим требованиям работа самого Писарева отвечала в высокой степени. В живой и увлекательной форме, с чрезвычайной подробностью он рассказывал широкому читателю о самых различных областях науки и в особенности о новейших течениях в естествознании. Среди работ Писарева, посвященных естествознанию, особняком стоит статья «Пчелы» (1862). Описывая все действительные элементы пчелиной жизни, Писарев в подтексте все время ведет разговор о человеческом обществе, об его неустройстве и противоречиях. Достига-

ется это использованием метафор, сравнений, почерпнутых из *человеческого* обихода. Рабочие пчелы — это «жалкие парии, не чувствующие своего унижения», «это пролетарии, задавленные существующим порядком вещей» (II, 101). Трутней Писарев называет *ториями* и *лордами*. Пчелиную матку он отождествляет с Людовиком XIV. Как и он, королева может сказать про себя: «Государство — это я». В улье господствует принцип: «одни работают, другие едят и плодятся» (II, 104). Для того чтобы совсем не оставалось сомнения в том, что именно имеет в виду Писарев, он сравнивает нетерпимость к соседям и изолированность каждого улья с раздробленностью немецких королевств и княжеств и т. д. Рассказ о странности пчелиного устройства, противоречащего разуму, становится рассказом о неразумии людского неустройства.

Писарев говорит о трех пчелиных «сословиях» — матках, трутнях и рабочих пчелах. Во главе всего улья стоит матка; за царицей следуют трутни, или самцы; их челюсти «особенно крепки и покрыты зазубринами, вследствие чего они отличаются прожорливостью... эти трутни не работают, не носят при себе оружия, много едят, оплодотворяют по очереди царицу и кроме этого не знают ни забот, ни обязанностей» (II, 100). И, наконец, рабочие пчелы — «это пролетарии, задавленные существующим порядком вещей, закабаленные в безвыходное рабство, кружащиеся в колесе и потерявшие всякое сознание лучшего положения» (II, 101).

Ненормальный, нелепый порядок вещей поддерживается темнотой, которая скрывает от рабочих пчел грязь и бедность их повседневной жизни. Но стоит только лучу света ворваться в улей, как там начинают происходить беспорядки.

И Писарев с ядовитой иронией констатирует: «...мрак необходим для спокойствия и коллективного благоденствия улья...» (II, 104). Однако это спокойствие недолговечно и непрочно. Недостаточность средств к существованию порождает острые столкновения: «...пролетарии, встревоженные увяданием цветов, также начинают собираться в кучки и толковать...» (II, 119).

Цензура изуродовала конец статьи. Найти автограф не удалось. Вероятнее всего, изъяты были страницы, изображающие возмущение пролетариев против несправедливости и угнетения.

«Пчелы» поражают не столько искусством иносказаний, сколько *дерзкой смелостью,* с какой Писарев сам же открыто расшифровывал подлинный смысл своих аллюзий. Но и не в этом подлинное мастерство замечательной статьи. Оно проявилось в том, что Писарев применил сложный и тонкий прием, который можно было бы назвать двойной оценкой явлений. Жизнь пчел Писарев рассматривает с точки зрения *человеческой,* с точки зрения элементарного человеческого здравого смысла. Это дает неожиданный результат. Вопреки традиционному мнению апологетов status quo, видевших в устройстве пчелиного улья образец мудрой гармонии, жизнь пчел по *человеческим* понятиям представляется цепью самых очевидных нелепиц. Так получается, если идти от человека к пчеле. Писарев этим не ограничивается. Он идет дальше, но теперь уже от пчелы к человеку. И результат получается еще более разительным. Жизнь пчел носит стихийный, роевой, бессознательный характер. Они не понимают всей степени зла и не отвечают за него. В какой же мере возрастает неразумность и бессмыслица общественного устройства, если люди, одаренные, в отличие от пчел, сознанием и волей, в сущности повторяют у себя все то нелепое, безрассудное, пагубное, что с такой очевидностью проявляется в пчелином улье. Этот «двойной ход» придает особую обличительную остроту памфлету. Если посмотреть на классовое общество с точки зрения элементарного здравого смысла, оно обнаруживает потрясающую неразумность и бессмыслицу. Таков вывод статьи.

Та же просветительская идея звучит в статьях на исторические темы. Писарев здесь прибегал к тому же приему сатирического «остранения», которым он пользовался в памфлетах.

Вот характерное место из статьи «Популяризаторы отрицательных доктрин»: «Людовик XIV в продолжение пятидесяти лет с лишком делал все, что ему было угодно. Хотел тратить миллионы на постройку версальских дворцов — и тратил; хотел вести бестолковые войны — и вел; хотел опустошать в своем собственном королевстве целые области, населенные мирными и трудолюбивыми протестантами,— и опустошал. Словом, запрету не было ни в чем... Дело короля состояло в том, чтобы выдумывать затеи и требовать денег; это значило, что король заботится о своей славе, поощряет промышлен-

ность и кормит бедняков, доставляя им возможность строить фонтанчики и павильончики, плести кружева, делать огромные парики и вышивать золотом атласные жилеты и бархатные кафтаны» (IV, 140).

Это, конечно, не исторический взгляд на вещи. Во времена Людовика XIV Франция была одной из величайших держав мира, и деяния короля не были просто глупой прихотью. Но Писарев был просветителем, и самый стиль и манера его исторических повествований обусловлены этим обстоятельством. Писареву важно было подчеркнуть не столько закономерность в историческом развитии, сколько бессмыслицу, неразумность тиранического единовластия, которое противоречит разуму и природе человека. Отсюда иронический характер рассказа о делах французского короля. Отсюда и подбор снижающих деталей, придающих особый колорит всему изложению.

9

Писарев очень тщательно продумывал построение своих статей, их композицию. В лучших работах его мы видим, как умело и гармонично он распределяет материал, соблюдая внутреннее равновесие частей, с какой неуклонной последовательностью он ведет читателя к конечному выводу, как с разных сторон он подводит его к центральной идее статьи. В ряде работ вначале формулируется главный тезис, а затем он раскрывается на конкретных примерах (см. «Подрастающая гуманность»). В некоторых статьях вначале даются некие частные наблюдения, которые затем сводятся к общему явлению большого исторического масштаба. Так построена статья «Генрих Гейне». Программная работа «Реалисты» открывается общим, еще не раскрытым тезисом о зарождении в России нового направления — «реализма». Затем на ряде литературных и жизненных примеров и иллюстраций постепенно конкретизируется начальный тезис и в качестве заключительных выводов намечается программа действий реалистов в современных условиях. Работа состоит из тридцати четырех небольших глав. Каждая глава имеет как бы самостоятельный сюжет, и вместе с тем она представляет собой звено в последовательном раскрытии общей идеи «реализма».

По-разному строил Писарев и свои полемические работы. Иногда он шел по следам своих противников, иронически комментируя их художественные произведения или критические выступления («Сердитое бессилие», «Московские мыслители», «Прогулка по садам российской словесности»). Иногда он стремился создать обобщенные образы реакционеров-ретроградов. Характерно построение статьи «Наши усыпители». По жанру своему она представляет собой фельетон, направленный против реакционной журналистики. Ее цель состояла в том, чтобы развенчать, высмеять идеологию консерватизма, доказать ничтожество, пошлость, неприглядность ретроградных взглядов. Носители охранительного направления названы «усыпителями» в противовес «отрицателям», которые стремятся пробудить общество, привлечь внимание к порокам и недостаткам, подлежащим искоренению. Статья состоит из трех главных положений. Соответственно этому она разбита на три главы. В первой нарисован портрет «усыпителя», который пренебрегает истиной, убаюкивая людей, питая их иллюзиями, рисуя все в ложном розовом свете. Во второй раскрыта роль консервативной печати, которая создает некий духовный комфорт «усыпляемому» — благодушествующему обывателю. Третья глава посвящена роли поэзии в этом процессе духовного «усыпления». Но здесь статья приобретает несколько неожиданное направление. Оказывается, истинная поэзия, истинная литература не может служить «усыплению», не может воспеть «усыпленного» обывателя, не может служить охранительным целям. Почему? Потому что она не в состоянии создать положительного героя реакционного лагеря: слишком ничтожен и неприглядем материал для этого. Сделать из филистера настоящего героя немыслимо, доказывает автор, он может служить лишь сатирической мишенью. Вот почему попытки реакционных писателей сконструировать такого героя, противопоставить его Базарову и Рахметову, обречены на неудачу. В очень острых и лапидарных формулах дает Писарев конечный вывод фельетона:

«Во-первых, сытая, одетая и грамотная толпа отстаивает то, что дает ей доход. Разве это не чичиковщина?

Во-вторых, та же толпа соображает очень основательно, что преклоняться перед существующим фактом

гораздо безопаснее, чем гоняться за неосуществленными идеями. А это разве не молчалинство?

В-третьих, та же толпа повинуется силе привычки и считает хорошим то, к чему она присмотрелась. В этой третьей причине проглядывают очевидно умственные свойства помещицы Коробочки.

Итак, Чичиков, Молчалин и Коробочка — вот те ингредиенты, из которых романисты, вдохновленные «Московскими ведомостями», старались построить героя, долженствующего победить и уничтожить Базарова и Рахметова» (IV, 260). Каждому здравомыслящему читателю становилось ясно, что из Чичикова, Молчалина и Коробочки сделать героев никак нельзя.

10

В своей революционно-просветительской деятельности Писарев применял самые разнообразные средства художественной выразительности. Он считал, что самые трудные вопросы следует излагать *простым, легким, изящным языком*. Секретом этой легкости, изящества и простоты он сам владел в совершенстве. Наукообразной тяжеловесности, высокопарной напыщенной риторике он противопоставлял иной стиль — живой, насмешливый, темпераментный. В его языке почти не было архаических слов и устарелых оборотов, он избегал чрезмерно усложненных конструкций. Он старался говорить со всем русским обществом и стремился к тому, чтобы его идеи проникали как можно глубже в самые широкие слои читателя. Он вел непринужденный разговор с читателем, подробно растолковывал ему самые сложные вопросы философии и науки. Тайна этой доступности состояла в том, что сложные вопросы он сводил к простым *житейским отношениям*. Он широко пользовался просторечием. Указывая на вопиющие контрасты и противоречия русской жизни, Писарев добавляет: «Вот тут и вертись, как знаешь» (III, 9). Желая подчеркнуть невозможность вернуть старые порядки во Франции и восстановить феодальные привилегии, Писарев восклицает: «...шалишь! Об этом не осмеливалась заикнуться» (IV, 217) даже реакционная палата Людовика XVIII.

В большинстве статей его всегда заметен был личный тон. Изложение велось от своего имени, это прида-

вало интимный характер его беседам с читателем. В полемике своей он старался выставить в смешном виде враждебную *идею,* не прибегая к бранным словам и не «касаясь личностей». Лишь изредка ему изменял вкус, и тогда в текст вторгались бранные слова, вроде «разнокалиберная сволочь» или «тупоумный идиот».

Подробное и обстоятельное изложение идеи Писарев любил замыкать острым афоризмом, который в концентрированном виде выражал главную суть дела. «...У Печориных есть воля без знания, у Рудиных — знание без воли; у Базаровых есть и знание и воля, мысль и дело сливаются в одно твердое целое» (II, 21). «...Мы бедны, потому что глупы, и мы глупы, потому что бедны. Змея кусает свой хвост и изображает собою эмблему вечности, из которой нет выхода» (III, 9). «Слова и иллюзии гибнут — факты остаются» [1] — этот афоризм дожил до наших дней и вошел в наш речевой обиход.

Лучшие работы Писарева ценны для нас не только своим идейным содержанием, но и высоким публицистическим мастерством.

* * *

Писарев предстает перед нами крупной, яркой и сложной фигурой. Он был менее последовательным мыслителем, чем Чернышевский. Но при всех своих заблуждениях он принадлежит к славной плеяде великих шестидесятников.

В статье «От какого наследства мы отказываемся?» Ленин отметил три черты просветителей шестидесятых годов: горячую вражду к крепостному праву и *всем его* порождениям в экономической, социальной и юридической области; горячую защиту просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни; отстаивание интересов народных масс, главным образом крестьян [2].

Ленин подчеркнул, далее, у просветителей исторический оптимизм, бодрость духа, беспощадную вражду к остаткам старины. Все эти признаки ярко и точно характеризуют и мировоззрение Писарева.

---

[1] Писарев Д. И. Полн. собр. соч.: В 6-ти т., т. 1, с. 397.
[2] См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 2, с. 519.

К этому следует присоединить некоторые дополнительные свойства, присущие ему: признание приоритета индустриального развития по сравнению с развитием аграрным; усиленную пропаганду естественных наук, стремление соединить социализм с естествознанием; акцентирование внимания на том, что самим «работникам» предстоит решить основные вопросы общественного переустройства жизни; утверждение необходимости внести в стихийное движение масс сознательное начало.

Во всей своей деятельности, в своих напряженных и пытливых исканиях путей разрешения вопроса о «голодных и раздетых», в борьбе за свободу и счастье родины и всего человечества Писарев отразил тот сложный переломный этап развития мировой революционной мысли, когда социализм из утопии становился наукой, когда буржуазно-демократическая революционность изживала себя, а освободительное движение пролетариата еще не развернулось в полную силу. В России этот процесс протекал в условиях полуфеодальной страны, в обстановке жестокой самодержавной тирании. Всем этим объяснялись многие противоречия, свойственные Писареву. Ему пришлось пережить немало тяжкого и горестного. Но его мировоззрение проникнуто духом активности и оптимизма. В статье «Генрих Гейне» он писал, что разорванность сознания, внутренний трагический разлад возникли у Гейне и Байрона под влиянием разочарования в спасительной силе голого политического переворота. Гейне и Байрон не видели новой руководящей идеи, способной заменить старую веру. Эта новая руководящая идея — социализм. У людей, которыми овладели идеи социализма, уже нет былой разорванности. «На наших глазах,— пишет он,— живут и действуют снова цельные люди, идущие вперед очень твердыми шагами, к очень определенной цели. В Прудоне, в Луи Блане, в Лассале нет уже никаких следов байроновской или гейневской разорванности» (IV, 223).

Конечно, социализм Писарева носил утопический характер. Он не знал Маркса, и борьба за будущее воплощалась в его представлениях в Прудоне, Луи Блане и Лассале. Но сознание величия и достижимости светлой цели сообщало его творчеству яркую оптимистическую окраску.

Деятельность Писарева и при жизни его и после смерти неизменно возбуждала горячую и напряженную

идейную борьбу. Всегда ему сопутствовали поклонение и вражда. Его противники — от Страхова и Николая Соловьева и до А. Волынского и Ив. Иванова — всеми силами старались представить его бесшабашным нигилистом, которому ничто не было дорого. Царские власти преследовали его при жизни и всячески препятствовали распространению его сочинений.

В сущности, не было ни одного выступления Писарева, которое так или иначе не вызвало бы цензурного вмешательства.

После смерти критика цензурные репрессии не прекратились. В 1872 году IV и VII части его Собрания сочинений были запрещены.

В лице Писарева правительственные сферы видели одного из *идейных вдохновителей освободительного движения.* В периоды наиболее острых революционных выступлений внимание властей неизменно обращалось к Писареву. После выстрела Каракозова в 1866 году министр внутренних дел Валуев прямо называл Писарева в числе тех, кто способствовал распространению коммунистических и материалистических учений.

То же произошло и после 1 марта 1881 года. Среди литераторов, которые-де повинны были в убийстве Александра II, на одном из первых мест фигурировал Писарев.

У царского правительства были все данные для того, чтобы усматривать в Писареве одного из талантливейших проповедников революции, материализма и социализма. Влияние его на молодежь было огромным. Это зафиксировано во множестве исторических свидетельств. Одним из любопытных документов такого рода может служить анонимное письмо семнадцатилетнего гимназиста к Ф. М. Достоевскому, написанное спустя десять лет после смерти Писарева. Оставшийся неизвестным корреспондент рассказывает писателю, как одно время он увлекся Писаревым и социализмом и стал ревностнейшим проповедником оуэнизма, сенсимонизма и нигилизма. Но потом под влиянием благонамеренного отца и главным образом под воздействием «Дневника писателя» Достоевского вернулся на стезю политического благонравия. Но, видимо, освобождение от плена писаревских идей было весьма непрочным, и автор в постскриптуме обращается к Достоевскому поистине с мольбой о помощи:

«Как бы я хотел узнать ваше мнение о Писареве, который *имеет громадное влияние на молодое поколение*. Это я знаю по опыту.

От лица всех товарищей моих прошу вас: уделите в вашем дивном «Дневнике» место для изложения ваших взглядов на Писарева, Чернышевского и их подражателей и последователей. Этим вы принесете нам великую пользу...» [1]

Вместе с Белинским, Чернышевским, Добролюбовым и Герценом Писарев входит в число выдающихся предшественников революционной социал-демократии. Этим объясняется то, что Писарева высоко ценил Ленин.

Его высказывание о мечте Ленин с сочувствием цитирует в книге «Что делать?». Конспектируя «Метафизику» Аристотеля, Ленин снова возвращается к имени Писарева: «...нелепо отрицать роль фантазии и в самой строгой науке: ср. Писарев о мечте полезной, как толчке *к* работе, и о мечтательности пустой» [2].

По свидетельству Крупской, Писарев принадлежал к числу *любимых революционных писателей* Ленина. В «Воспоминаниях о Ленине» она пишет: «Писарева Владимир Ильич в свое время много читал и любил» [3]. «...Он мне заявил,— говорит Крупская,— что сам зачитывался Писаревым, расхваливая смелость его мысли. В шушенском альбоме Владимира Ильича среди карточек любимых им революционных деятелей и писателей была фотография и Писарева» [4].

Писарев является предшественником марксизма не только в социально-политических своих воззрениях, но и в своей эстетике.

Разумеется, к сильным сторонам его эстетического наследия не могут быть отнесены парадоксальные крайности «разрушения эстетики». Нам теперь в полной мере ясны ошибки и заблуждения Писарева — его отрицание целых отраслей художественной деятельности человечества, его неправильная трактовка творчества Пушкина и Щедрина. Но его стремление решить

---

[1] Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР. № 29925. CCXIб. XIб. 15.

[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 330.

[3] Ленин о культуре и искусстве. М.: Искусство, 1956, с. 505.

[4] Правда, 1935, № 273, с. 3.

вопросы искусства с точки зрения интересов народных масс, его борьба против идеализма и мистики в вопросах искусства, писаревская идея связи искусства с освободительными идеями века, его неустанная и последовательная борьба за такую литературу, которая раскрывала бы острейшие противоречия социальной действительности и звала бы к преобразованию жизни, его борьба за реализм в искусстве — сыграли большую и, несомненно, прогрессивную роль.

В Писареве наша социалистическая современность ценит выдающегося деятеля русской культуры и русской революции, для которого борьба против самодержавной тирании была одновременно борьбой за расцвет родины, за ее свободу, благосостояние и счастье.

СОДЕРЖАНИЕ

М. Храпченко. Литературное наследие и его ценности 3

ГЕРЦЕН-БЕЛЛЕТРИСТ. 7

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО И. С. НИКИТИНА 56

Д. И. ПИСАРЕВ. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Глава первая. Жизненный путь 114

Глава вторая. Вопросы революции и социализма . . 146

Глава третья. Эстетика и литературная критика. . . 241

Глава четвертая. Черты мастерства 298

Плоткин Л.

П 39 О русской литературе: А. И. Герцен; И. С. Никитин; Д. И. Писарев/Предисл. М. Храпченко. — Л.: Худож. лит., 1986. — 336 с.

Книга известного советского литературоведа Льва Абрамовича Плоткина (1906—1978) содержит работы, посвященные русской классической литературе, создававшиеся автором в 40—60-е годы и сохранившие свое значение в современном литературоведческом процессе. Исследования, содержащиеся в настоящем издании, адресованы преподавателям литературы в школе и вузе, а также широкому читателю, интересующемуся историей русской литературы и критики.

П $\frac{4603010201-064}{028(01)-86}$ 208-86 ББК 83.3Р1

Лев Абрамович Плоткин

О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

А. И. ГЕРЦЕН

*

И. С. НИКИТИН

*

Д. И. ПИСАРЕВ

Редактор Т. Мельникова
Художественный редактор Р. Чумаков
Технический редактор Н. Литвина
Корректор Л. Никульшина

ИБ № 4505

Сдано в набор 18.09.85. Подписано в печать 12.05.86. М-27515. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 17,64. Усл. кр.-отт. 17,64. Уч.-изд. л. 18,82. Тираж 10 000 экз. Изд. № ЛIX-125. Заказ № 757. Цена 1 руб. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186. Ленинград, Д-186, Невский пр., 28. Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29

В 1985 году
в издательстве
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

вышли книги:

Лихачев Д. «Слово о полку Игореве» и культура его времени

Майков В. Литературная критика

Щербина В. Ленин и вопросы литературы